



Карл Аймермахер

ВОЗЗРЕНИЯ  
И  
ПОНИМАНИЯ

Попытки  
понять  
аспекты  
русской  
культуры  
умом



---

Ассоциация исследователей российского общества  
АИРО-XXI



---

## Международный совет издательских программ и научных проектов АИРО

- Геннадий БОРДЮГОВ    Руководитель  
    Андрей МАКАРОВ    Генеральный директор  
    Сергей ЩЕРБИНА    Арт-директор
- Карл АЙМЕРМАХЕР    Рурский университет в Бохуме  
    Петр АКУЛЬШИН    Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина  
    Дмитрий АНДРЕЕВ    МГУ имени М.В. Ломоносова  
    Дитрих БАЙРАУ    Тюбингенский университет  
    Дьердь БЕБЕШИ    Печский университет
- Владимир БЕРЕЛОВИЧ    Высшая школа по социальным наукам, Париж  
    Харуки ВАДА    Фонд японских историков
- Ирина ВАРСКАЯ-ЧЕЧЕЛЬ    Интернет-журнал «Гэфтер»  
    Людмила ГАТАГОВА    Институт российской истории РАН  
    Пол ГОБЛ    Фонд Потомак  
    Габриэла ГОРЦКА    Центр «Восток–Запад» Кассельского университета  
    Андреа ГРАЦИОЗИ    Университет Неаполя  
    Никита ДЕДКОВ    Центр развития информационного общества (РИО-Центр)  
    Роберт ДЭВИС    Бирмингемский университет  
    Алан КАСАЕВ    РИА «Новости»  
    Стивен КОЭН    Принстонский, Нью-Йоркский университеты
- Андрей КУЗНЕЦОВ    Нижегородский государственный университет  
    им. Н.И. Лобачевского  
    Джон МОРИСОН    Лидский университет  
    Игорь НАРСКИЙ    Южно-Уральский государственный университет  
    Норман НЕЙМАРК    Стэнфордский университет  
    Дональд РЕЙЛИ    Университет Северной Каролины на Чапел Хилл
- Александр РЫБАКОВ    Международный центр торговли (Москва)  
    Борис СОКОЛОВ    Русский ПЕН-центр  
    Такеси ТОМИТА    Сейкей университет, Токио
- Татьяна ФИЛИППОВА    Институт востоковедения РАН и Институт российской истории  
    Марк ЮНГЕ    Рурский университет в Бохуме

---

Карл Аймермахер

ВОЗЗРЕНИЯ  
И  
ПОНИМАНИЯ

Попытки  
понять аспекты русской культуры  
умом

Москва  
2018

---

*Книга  
издана благодаря поддержке и содействию  
крупного немецкого мецената Удо ван Метерена,  
а также участию  
Геннадия Бордюгова, Владимира Воловникова,  
Татьяны и Игоря Горяевых, Андрея Макарова  
и Сергея Щербины.*

Перевод с немецкого:  
Эмилия Артемьева, Даниил Бордюгов, Аркадий Перлов, Сергей Ромашко

Дизайн и вёрстка: Сергей Щербина

На первой странице обложки – работа Карла Аймермахера и Гизелы Рифф «От поколения к поколению», 2016 г.

### **Аймермахер Карл**

Воззрения и понимания. Попытки понять аспекты русской культуры умом. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 308 с. с иллюстрациями. – ISBN 978-5-91022-388-6.

Автор предлагает читателям проследить его путь постижения русской культуры и вживания в нее. Проблемы современного литературоведения, семиотики, искусства и политики, анализируемые в книге, позволяют понять цели и основные принципы исследовательской деятельности автора, его позицию как ученого и художника.

В приложении к книге публикуются посвященные Карлу Аймермахеру короткие эссе его давних друзей и коллег. То, что эта дружба сохраняется так долго (для многих – более 40 лет!), совсем не удивительно: профессор обладает замечательной особенностью притягивать к себе людей навсегда.

---

# СОДЕРЖАНИЕ

НЕМЕЦ С РУССКОЙ ДУШОЙ.	
Вместо Предисловия.....	7
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ .....	10
Раздел I	
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ	
Все ярко, пестро, нестройно... ..	17
Семиотика и филология: к вопросу о междисциплинарности .....	33
Проблемы анализа текста. Формализм, структурализм и семиотический подход .....	43
Творчество в науке и искусстве. К вопросу о знаках в различных семиотических системах .....	69
Quo vadis? Размышления о ситуации в литературоведении .....	77
Раздел II	
ПОПЫТКИ ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БОХУМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ГЕРМАНИЯ) И В РГГУ (МОСКВА)	
Из выступления на открытии Института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана, 22 ноября 1993 г. ....	87
Институту имени Лотмана – десять лет .....	91
Из выступления на открытии Института европейских культур при РГГУ. 27 сентября 1996 г. ....	97

Приветствие Институту европейских культур РГГУ. 26 октября 2005 г.....	100
Выступление по случаю двадцатилетия Института европейских культур (ВШЕК). 2015 г.....	102
<b>Раздел III</b>	
<b>МОЕ КРЕДО В ИСКУССТВЕ</b>	
Взаимоотношения искусства и политики: Из опыта исследователя и художника (исповедь) .....	111
<b>Раздел IV</b>	
<b>ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКО-СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ</b>	
К реконструкции культурных формаций. Советская система и национальные государства .....	121
Смена парадигмы в российской культуре. Переориентация между распадом и новым формированием (1987–1997).....	134
Партийное управление культурой и формы ее самоорганизации (1953–1964/65) Предисловие к серии документальных сборников.....	155
Историческое мышление и доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС .....	179
Шесть лет перестройки в области культуры – предыстория и ход событий .....	195
Одновременность неодновременного. Немецкий взгляд на культурные взаимоотношения России и Германии в XX веке .....	214
<b>Раздел V</b>	
<b>БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ .....</b>	
От русского языка к диалогу с Россией .....	221
Берлин, август 1961-го.....	248
<b>Раздел VI</b>	
<b>БИОБИБЛИОГРАФИЯ.....</b>	
	253



---

# Немец с русской душой

## *Вместо Предисловия*

Зарубежные русисты делятся на две неравные группы, одна из которых включает в себя их подавляющее большинство, а другая – несопоставимо меньшее число отдельных исследователей разных направлений. Эти группы различаются друг от друга вовсе не по критериям профессионализма, объективности, конъюнктурной – и в своих странах, и в России – востребованности или признанности коллегами-россиянами. Речь о другом.

Те, кто входит в первую группу, так и остаются переводчиками с языка русской культуры на язык своей родной культуры. Пусть талантливыми, безукоризненными, виртуозными, но всё же переводчиками, весь пафос гуманитарного труда которых сводится к решению одной-единственной задачи – поиску оптимальных и максимально адекватных соответствий смыслов, образом, знаков, столь разнящихся и столь уникальных, индивидуальных для каждой культуры. Это вполне достойная и необходимая деятельность, и хотелось бы, чтобы таких переводчиков становилось всё больше и больше – особенно на фоне неожиданного впадения мировой политики в какую-то совсем уж дремучую архаику.

Но воистину уникальна вторая группа, объединяющая буквально штучное меньшинство русистов, которые – в отличие от первой группы – забывают о том, что они – толмачи, не переводят, а просто живут в изучаемой культуре как в своей собственной – родной, исконной, определяющей и формирующей идентичность. К такому меньшинству относится и Карл Аймермахер.

Подобное заключение можно сделать хотя бы уже потому, что на протяжении вот уже нескольких десятилетий он неутомимо, без усталости, с завидным упрямством и педантизмом – как обладатель хрестоматийных качеств своего народа – открывает для себя мир русской культуры. Да, разумеется, открывает не только для себя одного, но и для своей аудитории – в этом смысле тяжкая

ноша переводчика никуда не делась. Но эта ноша не мешает Карлу Аймермахеру видеть свое главное творческое предназначение в другом – в том, чтобы прежде всего не переводить, а именно жить внутри пространства русской культуры.

В этом смысле название настоящей книги выглядит несколько провокационным: автор как бы бросает интеллектуальный вызов Фёдору Тютчеву, заявляя о намерении постигать русскую культуру всё же умом, однако с самых первых страниц – с эпиграфа из Гоголя – наглядно демонстрирует: «понять» и «верить» должны быть не противопоставлениями друг другу, но дополнениями друг друга. Да, не по-тютчевски, но и не наперекор гениальному русскому мыслителю. Во всяком случае, без «верить» Карл Аймермахер вряд ли вслед за Гоголем пытался бы докопаться до ответа на вопрос: до каких пределов простираются возможности человеческого познания.

Еще одним доказательством того, что автор прежде всего именно живет в русской культуре, а уже только потом переводит ее, являются его изыскания в области семиотики. Семиотика – интригующая область междисциплинарного гуманитарного знания. На излете минувшего века – после ярких и нетривиальных интеллектуальных интервенций великого Умберто Эко – она стала модной, но это обстоятельство лишь усугубило ее энигматичность и недоступность для упрощенного понимания. Семиотика тоталитарна, поскольку фактически утверждает превосходство надуманного фантома над породившей его реальностью, означающего над означаемым, но вместе с тем она онтологична, поскольку «материализация» знаков и их «одушевление» требуют от производящего эти операции полного погружения в создаваемые им миры. А значит – выхода за пределы сугубо рационального знания.

Карл Аймермахер предлагает собственную дорожную карту, на которой прочерчен именно такой путь – в те миры, где один лишь рассудочный взгляд не будет исчерпывающим. Обращаясь к современному литературоведению с эпическим вопросом «камо грядеши?», он тут же дает и собственный ответ, точнее – совет: уделять приоритетное внимание механизмам понимания, в том числе с точки зрения «чувствительности». Иными словами, эта дорожная карта Карла Аймермахера – не что иное, как попытка довольно цельного практического опыта личного вживания в культуру, в данном случае – культуру русскую. О чем-то подобном более 130 лет назад грезил в своем трактате «О понимании»

Василий Розанов – мыслитель хотя и эклектичный, но вместе с тем пронзительно остро чувствующий и воспринимавший русскую действительность. Случайно ли такое совпадение призывов – Василия Розанова и Карла Аймермахера?

Очень по-русски звучит и ключевой посыл представленной в сборнике авторской «исповеди», в которой разбирается один из вечных вопросов – о том, как искусство соотносится – и как должно соотноситься – с политикой. Карл Аймермахер высказывает здесь мысли, на которые вряд ли отважился бы просто «переводчик культур»: о необходимости «доставления» гуманитарного знания мощным этическим компонентом, который способно произвести лишь искусство, об ассоциативных аналогиях и их роли в обретении понимания там, где молчит исторический источник, толкуемый традиционным образом, о том, как грамотно выстроить своего рода мнемолатрию, то есть культ памяти, который не просто имеет право на существование, но крайне востребован, причем именно сейчас, в начале нового столетия.

Порой складывается впечатление, что Карл Аймермахер живет русской культурой и порождаемыми ею смыслами не как исследователь, преднамеренно погружающийся в изучаемый мир, дабы лучше его понять и объяснить, а если получится, то и где-то подправить, а как естественный ее носитель, как обладатель души, порожденной именно этой культурой. Немец с русской душой. Западный русист, не пытающийся перевести непереводимое, но изучающий другую культурную реальность из нее самой, на языке ее собственных кодов.

Карлу Аймермахеру – 80 лет. И на этот замечательный юбилей хочется пожелать ему – без преувеличения, патриарху современной западной русистики – новых творческих свершений, чтобы они, как и его прежние работы, помогали нам лучше понимать свою родную культуру, все ее оттенки и детали, с такой дотошностью выписываемые и объясняемые «из Германии туманной» нашим другом – Карлом Аймермахером.

*Геннадий БОРДЮГОВ*

---

## К русскому изданию

У меня никогда не было намерения по собственной воле обращаться к своим возможным русским читателям. Однако сейчас я все-таки это делаю. Очевидно, что в этом – хотим мы того или нет – состоит парадокс нашей жизни и нашей профессии. У нас появляются стремления и желания, которые не сбываются или приводят нас совсем не в том направлении, которое мы наметили. Я, например, никогда не хотел защищать ни кандидатскую, ни докторскую диссертацию, но получилось по-другому. Затем я стал университетским преподавателем (что тоже не было моей целью), причем по специальности «литературоведение». Это парадоксально, поскольку все годы учебы я имел дело прежде всего с вопросами языкознания. И кто бы мог подумать, что когда-нибудь вместо классических проблем филологии я стану всё больше времени уделять вопросам теории познания. То же самое касается и искусства. Ни разу в жизни я не мог себе представить, что однажды – в новой «жизни» – я начну изучать искусство, а потом и сам займусь художественной деятельностью.

Но и в ходе моей научной деятельности имелось большое количество объектов исследования, которыми я ни в коем случае не стал бы заниматься, а впоследствии всё равно делал это, зачастую весьма интенсивно. Так, я с большим уважением (и даже страхом) относился к русской (славянской) глагольной системе, в то время как более простая область, скажем, морфологии прилагательных давалась мне легче. Тем не менее моя диссертация была посвящена проблемам русского глагола. Заметную тревогу я испытывал от необозримости литературных объединений начиная с конца XIX века в России / Советском Союзе (1895–1932). В дальнейшем же я изучал в первую очередь литературные объединения 1920-х годов с точки зрения их общественных концепций и культурно-политической актуальности. Примерно так обстояли дела и с целым комплексом проблем русско-немецких отношений в XX веке: этот обширный проект я поддержал, взяв на себя по просьбе

Льва Копелева руководство исследованиями. К счастью, в том числе благодаря сотрудничеству с Геннадием Бордюговым и многими немецкими и русскими историками, эти масштабные начинания удалось осуществить.

Помимо этих скорее ненамеренных, но в конечном итоге успешно проведенных научных работ, были и многие другие, к которым я подходил без предварительных опасений и с большим интересом. В частности, мне бы хотелось назвать системные инициативы, направленные на то, чтобы совместить научные достижения ГДР и ФРГ после воссоединения Германии. Сюда же входят и изменения, вызванные перестройкой. Особый интерес представляли возможности научного сотрудничества между университетами и аспирантами Восточной и Западной Европы.

В ходе составления данного сборника у меня была свобода при выборе текстов и структуры. Для меня было важно продемонстрировать основные области моих интересов в наглядной подборке материалов.

Моей научной карьере присущи нестандартные черты, совсем не характерные для слависта. В данном сборнике содержатся статьи, в которых представлены основные принципы моей исследовательской деятельности и моей позиции ученого и художника. Постараюсь коротко пояснить, в чем состоят их особенности.

В университете я получил образование историка и классического филолога. Однако вопрос об истинной цели и смысле образования в то время никто всерьез не обсуждал. Учеба шла так, как повелось, хотя уже и без открытой идеологической индоктринации. Занятия базировались на критическом подходе к имевшемуся материалу, чтобы студенты могли на должном уровне передавать усвоенную информацию как надежно проверенный продукт осмысления. Когда в 1964 году я начал проводить самостоятельные семинары, мне показалось, что одного этого метода недостаточно для учебного процесса. Я пытался найти обоснование цели моих занятий, то есть приемлемый ответ на вопрос, для чего студенты могут использовать полученные знания и как они могут дальше их развивать.

Этот в сущности банальный вопрос не имеет решающего значения во время прослушивания учебных курсов. Впрочем, он требовал ответа точно так же, как и другой вопрос: почему до выпускных экзаменов приходилось осваивать столько предметов, несмотря на то что, как правило, их основы не имеют прямой практической пользы для большинства профессий?

Несложно было понять, что эти вопросы вписывались в более широкий контекст. Во-первых, как я убедился впоследствии, они были связаны с кризисом гуманитарных наук. Во-вторых, происходившее в то время постепенное возвращение некоторых дисциплин к фундаментальным принципам других (в том числе естественнонаучных) областей провоцировало дискуссию об основах и статусе гуманитарных наук. На этом фоне возникал вопрос об эмпирическом уровне научного познания в целом.

Таким образом, не позднее 1960-х годов в гуманитарных науках начался процесс переопределения их границ, исследовательских подходов и обсуждение их методологических основ. При таких обстоятельствах казалось логичным, что, с одной стороны, научно-теоретические проблемы стали концентрироваться на методах получения знаний как таковых, а с другой – язык, литература, искусство, кинематограф, музыка и философия стали рассматриваться в рамках реструктурированных культурных процессов при новых условиях исследования. Последствием стало осознанное, систематическое включение культурных феноменов в историографическую и социально-политическую картину.

Из такой широкой проблематики естественным образом вытекала необходимость использовать междисциплинарный подход для изучения комплексных явлений. Это привело к кардинальной смене парадигмы в динамике развития всех разделов филологии начиная с 1960-х годов. Теория систем, структурализм, теория моделей и семиотика открыли для моего поколения новые возможности решения межпредметных вопросов. За счет этого на новый уровень вышли и культурологические исследования.

Многие из упомянутых здесь эпистемологических проблем (метаязык, теория моделей, теория знаков...) с этого времени многократно становились объектом моих собственных трудов.

Часто применяемый при анализе междисциплинарный подход позволил не только рассматривать ограниченные аспекты литературных и художественно-изобразительных произведений, но и постоянно обращаться к значению вышестоящих антропологических принципов. Не меньший интерес представляло сопоставление смежных культурных и общеисторических этапов развития.

В качестве примера можно было бы назвать соотношение исторического и мифологического мышления и историографии, а также их положение при различных условиях общественно-культурной жизни. Схожим вопросом была роль исторического знания и мифов в создании национальной идентичности, то есть исполь-

зование народного самосознания для политической борьбы в пропагандистских целях. Еще один случай – проблема возникновения, осуществления и трансформации революционных идей в теории и практике, как это происходило в случае коммунистической общественной модели (у Маркса и Энгельса, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева), включая ее создание, изменения, извращения, корректировки, а также попытки фундаментального реформирования во время перестройки.

Центральное место при этом занимал вопрос о динамичном взаимодействии политики, культуры (литературы, искусства, кино, музыки, театра...), образовательной системы и науки как сложном чередовании различных областей человеческой жизни (ср. также задачи, стоявшие при основании Института русской и советской культуры имени Лотмана в Рурском университете в Бохуме и Института европейских культур в московском РГГУ).

Некоторые ключевые статьи, освещающие эту проблематику, я добавил в этот сборник в качестве примеров. Остальные тексты можно найти в перечне моих публикаций.

В заключение считаю своим долгом от всего сердца поблагодарить Ассоциацию исследователей российского общества и ее руководителя Геннадия Бордюгова за поддержку, оказанную при издании этой книги. Кроме того, я очень признателен переводчикам сборника.

*Карл АЙМЕРМАХЕР*

---

# I

## Основные предпосылки научных исследований в области культуры



---

## Все ярко, пестро, нестройно\* ...

...Все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется из этого потопа; ни один крик не выговорится ясно.

*Н.В. Гоголь. Сорочинская ярмарка*

Эта цитата из повести Гоголя «Сорочинская ярмарка» представляет собой описание пестрой сумятицы ярмарочного дня в его обычной беспорядочности, в которой знаки теряют свои контуры и словно сливаются друг с другом. Вместо того чтобы сохранять дискретность, они растворяются в не поддающемся рациональному осмыслению хаосу и превращаются в подобие жизненного континуума.

Если рассматривать этот фрагмент изолированно, то подобная интерпретация не подлежит сомнению. Однако на фоне всей повести и других элементов повествования его характер и функция в свете ряда коннотаций предполагают более дифференцированный подход.

Это тривиальная констатация элементарного филологического постулата: тексты нельзя читать, будто они не обладают глубиной, будто у них есть только поверхностная структура, нельзя читать части текста изолированно, односторонне, в одном измерении. То есть так, как обычно делают, быстро пробегая текст взглядом и доверяясь «надежным сведениям»: лишь последние сомнения в правильности высказываний дают возможность их фальсификации и тем самым действительно углубленного понимания. Сомнения же опираются, в свою очередь, на вопросы, не имеющие однозначного ответа. В отношении гоголевского текста один из подобных вопросов мог бы звучать так: не хотел ли Гоголь этим описанием выразить свое специфическое видение мира как не выраженной в эксплицитном виде теории о взаимобратимости знака и незнака, хаоса и упорядоченности или постоянной

---

\* Из: Знак. Текст. Культура. – М., 2001. С. 13–40.

трансформации упорядоченного состояния в неупорядоченное и наоборот, т. е. нераздельном, обоюдном взаимопроникновении порядка и беспорядка как подлинном отражении жизни, культуры и человеческого бытия? Если скрытое в вопросе утверждение обосновано, то текст передает его в такой форме, которая противоречит нашим определяемым метаязыковыми структурами представлениям о мире или же культуре, и это потому, что искусство ближе к жизни, чем теория относительно 'жизни', 'мира', которую мы пытаемся вывести из произведений литературы, искусства или явлений культуры.

Это хорошо согласуется с убеждением Гоголя, согласно которому *литературные* миры, несмотря на то что они опираются на сложную систему конвенций, *выражают жизнь*. Жизнь сама является выражением высшего божественного порядка, повинующегося собственным законам и потому не доступного сомнениям. Только дьявол способен, влияя на человека, на время «нарушить» или «изменить» этот порядок жизни.

Возвращение одного и того же было в этой системе мышления основополагающим принципом, защищающим от вторжения иного, отличного от вариации... В этом мире не было принципиальных изменений, никакого движения, никакого нового знания, никакого развития.

Глядя на нас, культурологов, специалистов по семиотике – или как нас еще назвать – Гоголь мог бы воскликнуть: «Черт побери, нет для вас ни бога, ни мира. Все, чем вы занимаетесь, – чертовщина, сатанинские козни. Вы хотите упорядочить мир, чтобы лучше его понять, но чем больше порядка вы, как вам кажется, находите, тем больше неизвестности перед вами будет открываться. Иначе говоря: вам никогда не удастся ни познать, ни понять мир до конца». Нечто в этом роде мог бы сказать Гоголь, который не только выразил в художественной форме семиотические трансформации в пограничной области между порядком и беспорядком, культурой и хаосом, но и был озабочен вместе с этим, пусть и в скрытой форме, вопросом о «месте» человека в мире и возможностях человеческого познания, т. е. о пределах познавательных возможностей человека.

\* \* \*

Попытаемся сперва *приблизиться* к феномену познания, культуры и эволюции, не претендуя ни в коей мере на то, чтобы сразу постичь все, что касается наиболее сокровенных оснований мира.

Ведь может оказаться, что уже *первых шагов в понимании* природы этих сложных феноменов – «познание», «культура», «эволюция» – будет *достаточно*, чтобы получить общее представление об их характере. Тем более, что нам известно: еще ни одному человеку не удалось преодолеть границы познаваемого. Однако, несмотря ни на что, даже зная это, каждый из нас испытывает действие неиссякающей силы, толкающей нас на новые и новые попытки прорваться в сферу окончательного познания. Оказывается, что безуспешные опыты предыдущих столетий игнорировать ограниченность наших познавательных возможностей, как ни странно, не могут удержать нас от того, чтобы вновь попытаться достичь недостижимого. Совершенно очевидно, что чужой опыт не может быть просто позаимствован, чтобы обеспечить нам мудрую скромность, состоящую в признании ограниченных возможностей человеческого знания.

Volens nolens нам придется смириться с тем, что знание с течением времени не просто аккумулируется, чтобы – сгущенное в понимание – всего лишь передаваться от поколения к поколению, чтобы в конце концов вылиться во всеобъясняющую теорию (подобную самодостаточному мировому духу Гегеля, который в зените своего самосознания занят только собой). Скорее дело обстоит таким образом, что каждый – как это ни горько – сначала должен все же пройти мучительную процедуру самостоятельной проверки уже полученных другими познаний, прежде чем сможет опираться на них. Поступательное наращивание знаний, к которому мы стремимся, постоянно сопровождается, таким образом, сбоями, потерями и необходимостью то и дело начинать процесс сначала. Одновременно эти новые попытки страдают от того, что их сопровождает опасение, что поставленной цели никогда не удастся достигнуть.

Чужой опыт чаще всего легковесен: несмотря на уже упомянутое отрезвляющее осознание сизифова характера этого занятия, каждый заново начинает познавательную деятельность с непосредственно наблюдаемых поверхностных деталей, проникает в глубинную структуру их связей, обзревает целостные структуры сложных систем, чтобы от них снова вернуться к единичным явлениям. И все это ради одной цели: обрести возможность *судить обо всем на достаточных основаниях*. Мы поддаемся этому стремлению, хотя и сознаем, что в действительности никогда не сможем постичь целое, и тем самым понимаем относительность *достаточных оснований*.

Николай Гоголь понимал это так же хорошо, как и Вальтер Кох, выразивший это во множестве своих работ, которые теперь опубликованы отдельной книгой (*Koch W. Origins of Semiotics: Sign Evolution, Systematics and Behaviour / Ed. by W. Nöth. – Berlin; New York, 1994*). Оба прибегают – каждый по-своему – к драматическим эффектам. Николай Гоголь попытался наглядно представить феномен (в конечном итоге) непостижимого через введение в мир, кажущийся совершенно нормальным, хаоса, в то время как Вальтер Кох пытается достичь того же самого через изображение становящегося все более дифференцированным и сложным порядка, в котором все-таки всегда сохраняется остаточное присутствие хаоса. И если Гоголь помещает в центр своего литературного изображения художественно сублимированный мотив вечного возвращения, то Вальтер Кох подчеркивает в своих систематических попытках объяснения возникновение сходного из противоположности различий.

Этот подход, близкий по своим целям интенциональной направленности, однако очень различный в способе реализации, подход, заключающийся в стремлении выявить рационально мотивированное стремление к познанию, при этом, как я полагаю, обещающий ничуть не более, чем многие другие сходные попытки. И поскольку никто из нас, вступающих на этот путь, не в состоянии предугадать результат подобных вылазок, то никто не сможет воспрепятствовать нам вновь и вновь приниматься – якобы с чистого листа – за эти попытки...

Вот и я присоединяюсь – несмотря на все уже сказанное – к изначально бесперспективной борьбе за полное познание.

Впрочем, делаю я это с одной задней мыслью: несмотря на понимание ограниченности человеческого познания, я в то же время всегда хотел знать, что является подлинной мотивацией, целью моей научной деятельности, и как можно достичь всего этого с достаточно спокойной совестью, несмотря на всю непредсказуемость, открытость, ненадежность, искусственность. Слепо заимствовать что-либо у других мне было тяжело, зато легко было вступать в спор с другими (хотя это и не всегда отражено в тщательно составленных сносках). Поэтому я чувствую себя не столько наследником в цепочке действий сходной направленности, сколько человеком, строящим свой мир, свои убеждения и свою решимость в дискуссии с чужим опытом, чужими убеждениями и моделями, объясняющими мир (включая его «остаток хаоса», как это называет В. Кох). Возникающий в конце концов

по самостоятельно разработанным рецептам «собственный мир» представляет собой некий порядок, в котором я ориентируюсь, который дает мне возможность обосновывать нормы деятельности, которым я могу свободно руководствоваться и которым я могу пользоваться для решения практических задач.

С течением лет я пришел к убеждению, что и то, как мы понимаем сущность культуры, а также более ограниченные культурные процессы, т. е. явления такого масштаба, системные связи которых не удается охватить одним взглядом, явно определяется теми же предпосылками, что и понимание текста, а также ограниченные познавательные способности человека. Да и как иначе интерпретировать культуру, если не понимать ее, по крайней мере гипотетически, как единое целое и – исходя из этого – придавать ее частям некий «смысл», или, наоборот, если, опираясь на гипотетический «смысл» одной из ее частей, например одной из эпох, т. е. определенного, хронологически ограниченного временного отрезка, делать заключения о «смысле» культуры в целом? Представление о целом, хотим мы того или нет, как правило, складывается из представлений о его составляющих, о множестве их частных смыслов.

На первый взгляд эта мысль, высказанная в подобной абстрактной форме, – прописная истина. Но на практике, прежде всего в практике научного исследования, важно то, каким образом может быть выявлена взаимосвязь части и целого, каким образом мы интерпретируем (т. е. снабжаем «смыслом») культуру как таковую или ее отдельные области или хронологические отрезки.

Понимание культуры при таком подходе оказывается сходным с интерпретацией текста, при этом молчаливо опускается то обстоятельство, что у культуры, в отличие от текста, нет столь ясно обозначенных границ. Сходная аналогия имеет место и при не обсуждаемых эксплицитно гипотезах о познаваемости мира: просто поступают так, словно мир – это *текст*, который как бы обладает теми же свойствами, что и тексты в обычном смысле слова, и смыслообразующие механизмы у него сходные.

Если же при этом молчаливо подразумевается, что наше понимание мира, культуры и текстов является неким аналогом нашего сознания, то становится ясно, насколько универсальна и вместе с тем проблематична эта самая прописная истина. Тем самым мы снова возвращаемся к Гоголю и остаточному хаосу Коха.

Из сказанного с еще большей ясностью, чем прежде, следует, что все, именуемое нами культурой, ее сущностью, ее образом

бытия, ее развитием и даже ее смыслом, – не более как гипотеза, опирающаяся на другие гипотезы, гипотеза, следующая из интерпретации суммированных данных о ее частях, подобно тому как смысл текста художественных произведений выводится из смыслообразующих связей многократных семантических трансформаций.

Интересно при этом то, что мы можем делать подобные высказывания не только относительно таких «больших систем», как «культура» или принципы ее развития, но и относительно других не менее важных проблемных областей, которые на основе своих свойств являются существенными компонентами культуры и в то же время обладают в отношении текстов очень специфическим статусом. Я имею при этом в виду как глобальные интерпретации мира, известные нам по мифу, так и научные реконструкции в образе теорий. Оба этих способа обращения с «миром» принадлежат к числу наиболее фундаментальных форм, в которых человеческое сознание добывает и накапливает знания.

\* \* \*

Вернемся еще на короткое время к нашей исходной мысли.

Всякое высказывание о культуре основано – подобно всякому текстуальному процессу смыслообразования – на избранных предварительных положениях, методах познания и целевых установках, а также – как уже упоминалось – на понимании и интерпретации взаимосвязи части и целого. Подобно «высказыванию о смысле» некоторого текста всякое высказывание о культуре как таковой или одной из ее эпох представляет собой не что иное, как результат многократно повторенной многоходовой интерпретации, направленной на ее компоненты и их взаимодействие. Существенно то, что смысл текста (т. е. представление некоторого идеологического целого) оформляется лишь в зависимости от того, опознаются ли, и если да, то каким образом, его составляющие, как они формируются и трансформируются. Существенно при этом также и то, на фоне каких иных, т. е. внетекстовых знаков и знаковых систем, тексты конденсируются в соответствующие специфические познавательные модели. Само собой разумеется, что в подобном процессе понимания в добавление к каждому субъективному по своему происхождению познавательному интересу существенную роль играют коллективно обусловленные ментальные, психические и социально-психологические установки восприятия, влияние которых также оказывает воздействие на

постоянно меняющуюся комбинацию интерпретационных параметров.

Логическое обобщение относительно целого сосуществует с потенциально открытым диапазоном вариаций исследовательских и интерпретационных параметров, с которыми мы имеем дело в первую очередь при систематическом детальном анализе. Комбинация проникновения в свойства целого и его частей, их «диалогические отношения», а также взаимодействие аналитических и синтетических методов познания и создают основу всякой интерпретации. На основании структурного сходства направленных (по крайней мере в тенденции) на цельность моделирующих мир знаковых систем различной степени сложности можно предположить, что свойства отдельных подвергнутых изучению знаковых формаций (например, текстов) действительны и для таких больших систем, как культура. Действуя по аналогии, мы вполне можем заключить, что сходные структурные и функциональные механизмы характеризуют и наше сознание. Если это предположение окажется вероятным, значит, мы не обязательно должны обзрывать и понимать весь массив культуры, чтобы быть в состоянии высказываться о ней. Достаточно обследовать ее фрагмент, чтобы далее экстраполировать и проецировать полученные знания на весь массив (например, культуру), создавая еще поддающуюся фальсификации гипотезу. Хотя культура, несмотря на известные методы изучения, не поддается аналитическому разложению вплоть до последних составляющих и потому не поддается и окончательному пониманию, все же возможно – подобно тому, как это происходит с текстами – ухватить ее существенные черты, опираясь на распознаваемые, по крайней мере до определенной степени, структурные принципы и интерактивные механизмы. Если принять такой подход, это значит, что мы можем считать себя свободными от гнетущего требования конструировать безусловно полные гиперсистемы культуры, будь то в их развитии *ab ovo* или *ad infinitum*, чтобы отваживаться на высказывания о феномене «культура» и его интерактивных отношениях с человеком. В конце концов, это могло бы послужить для нас и средством определенной психической разгрузки, даже если мы тем самым нисколько не приблизимся к решению коренной проблемы.

И если Гоголь по этому поводу сказал бы: к чему эти терзания при том, что возможное знание не выходит за пределы здесь и сейчас человеческой жизни, то Кох мог бы ему ответить: как бы

там ни было, давайте, несмотря ни на что, с упорством и рвением Сизифа искать философский камень. Аймермахер же задался бы по поводу всего этого вопросом: не берем ли мы на себя слишком много? Не походим ли мы на муравьев, которым в определенное время дана возможность лишь поддерживать функционирование своего муравейника? Но поскольку наша жизнь, наша культура, наши стремления явно чрезвычайно трудно понять, на все это есть наверняка много – и очень разнообразных – ответов, как и вопросов, которые могут за ними последовать...

\* \* \*

Как бы мы ни понимали упомянутые минимальные и глобальные связи текстов или культуры, в каждом случае, будь то «малые» или «большие системы», мы имеем дело с относительно сложными структурами, которые и сами по себе, и в их взаимодействии оставляют при анализе и интерпретации множество не поддающихся однозначной интерпретации зон, что проявляется в ненадежности попыток интерпретации. При всей структурированности исследуемых объектов попытки интерпретации опираются в основном на разные – в зависимости от выбора – параметры истолкования. Впрочем, не исключено, что неопределенность интерпретации «сложных ситуаций» вполне связана и с онтологическими особенностями изучаемых объектов, так что структурная неоднозначность приводит к семантическим наложениям, смысловая двойственность которых взаимодействует с обладающими тенденцией к целостности структурами. Можно предположить наличие и других факторов, влияющих на интерпретацию. В своей совокупности они в разной степени прямо и косвенно влияют на познавательные свойства высказываний, их степень адекватности и, тем самым, на их достоверность. Наблюдения, гипотезы, аналогии, разнонаправленные интерполяции результатов интерпретации знаков и многое другое образуют при истолковании текстов и культурных формаций конгломерат факторов неопределенности, на основании которого в конечном итоге и делаются заключения общего характера.

Чтобы конкретизировать возникающую при этом методологическую проблематику, необходимо кратко остановиться по крайней мере на трех подобных факторах неопределенности.

- До сих пор нет ясности в вопросе о том, каким образом из многообразия культурных явлений, т. е. имеющегося в наличии «сырого материала», вычленяется то, что и составляет, собственно



говоря, объект исследования. Дело в том, как из противоречивых отношений тождественного, сходного и различного, повторяющегося и уникального в культуре, из последовательности наложений и модификаций могут быть вычленены, экстраполированы и определены на основании аналогии фрагменты или части, так что полученные при этом результаты исследования будут сравнимы и могут быть сведены в единое целое.

- Другим фактором, выделяющим объект изучения из массива, в котором он находится, являются особенности исследовательской концепции с присущими ей специфическими исходными положениями и целевыми установками. Речь идет о том, что герменевтический, психологический, социально-критический, социологический, марксистский, филологический, формалистский, структуралистский, семиотический, деконструктивистский или иной взгляд на один и тот же художественный текст, на развитие одного и того же жанра или же историю литературы или культуры подмечает, выделяет, систематизирует, интерпретирует в каждом случае нечто свое, обобщая полученные знания или даже превращая их в основания некоторой теории в соответствии с особенностями, налагаемыми базовой концепцией.

- Следующий фактор связан с «языковым» оформлением изучаемого объекта. Дело в том, что реализация установки на строгое изучение объекта с помощью эксплицитного понятийного аппарата предполагает создание адекватного метаязыка. Избираемые при этом параметры изучения неизбежно ведут к «манипуляции»: «естественность» изучаемого материала превращается тем самым в «искусственный» предмет исследования, теряющий при этом часть своих специфических свойств.

Качественные характеристики обобщающих высказываний, зависящие от многих факторов, обусловленные систематикой исследовательской деятельности, не адекватные исследуемому предмету и потому не совсем однозначные, оказываются, конечно же, неудовлетворительными, даже если мы и сознаем, что это следствие неизбежного противоречия между дискретностью языка и его претензией на полноту отображения, касается ли это текстов или культуры и сознания. Так что приходится с неудовлетворением констатировать, что, несмотря на всю систематичность исследований и стремление к однозначности высказываний, множество взаимодействующих методов познания обязательно приводит к росту числа как неоднозначных отношений между частью и целым, так и их интерпретаций. И качество, и открытость

текстуальных/культурных связей (формаций), т. е. отношения между частью и целым, решающим образом определяют, могут ли полученные знания быть, при всей их относительности, подвергнуты оптимизации либо будут способствовать возникновению мифов (см. далее).

Как бы мы ни оценивали соотношение объекта исследования и исследовательского инструментария, они как раз и являются нашими «костылями» в познавательной деятельности, существенно изменяющими ради систематичности свойства текстов, культурных формаций или культуры вообще с присущими им пересечениями (а порой и противоречивостью), размытостью, нестабильностью и т. п., заставляя их каждый раз появляться в особом, далеко не всегда «естественном» свете.

Этот трезвый взгляд хотя и помогает нам, с разного рода оговорок и осторожностью, исследовать процессы в когнитивной области, представляемые как «черный ящик», в том числе – в определенной степени – и исторически, однако в конечном итоге такой подход блокирует полное выявление идеологической (а тем самым и семантической) субстанции культуры с ее специфическими и универсальными механизмами развития.

Неизбежно односторонний характер нашего исследовательского инструментария, проявляющийся в том числе и в элементарных структурах наших исследовательских параметров и применяемый к изучению сложных семиотических трансформаций, наиболее ясно свидетельствует о нашем смущении перед лицом столь сложных систем, как сознание и культура.

\* \* \*

Вопрос, возникающий в связи с охарактеризованными подобным образом «нестабильными» объектами исследования, заключается в том, как могут быть устроены научные модели, чтобы справляться с постоянным изменением культурных явлений. Ведь они в самом деле обладают процессуальным статусом, который никогда не достигает завершения и потому никогда не может быть предметом наблюдения в полном объеме, в котором поэтому всегда остается не интерпретируемый «шумовой остаток», так что любое так называемое достоверное знание всегда может быть поставлено под сомнение.

Но каким бы сложным ни оказывался наш объект изучения – «познание», «текст», «культура», – человеческая изобретательность находит все новые способы, позволяющие компенсировать

недостатки одних познавательных «костылей» с помощью других, сходным образом устроенных «костылей». С помощью подобных «костылей» можно, как показывает опыт, преодолеть лишь ограниченный отрезок пути. После этого требуется найти новые, и так до бесконечности. Иначе не бывает. В этом слабость любой формы познания, но в этом же и ее преимущество. Поскольку всегда представляется более уместным реагировать на открытые, противоречиво развивающиеся системы/формации, каковыми являются культурные системы, исследовательскими методами, которые невозможно считать исключительно логическими, внутренне абсолютно непротиворечивыми и полностью поддающимися экспликации. Неполная рационализируемость объектов исследования явно требует поэтому определенной непрозрачности и открытости сложного исследовательского инструментария, чтобы не быть односторонним и неадекватным. Это можно считать слабостью научных исследований в области культуры, но в то же время это и определенное преимущество, которым гуманитарные дисциплины обладают перед так называемыми точными естественными науками. Латентная нестабильность культурных объектов исследования, как и частичная неадекватность методов их изучения, является одной из важнейших предпосылок (целенаправленного или игрового) изменения (модификации, трансформации, развития) культуры (знака, языка, текста) и сопровождающих их на метаязыковом уровне теорий. Таким образом, недостаток оказывается, если подойти к нему с другой стороны, преимуществом.

Насколько эта точка зрения существенна, показывают следующие рассуждения, которые до определенной степени могут сыграть конструктивную роль в познавательных процессах: экстраполяция конститутивных и функциональных особенностей текстов с целью прояснения особенностей культуры и сознания – т. е. перенос знаний, полученных на фрагменте системы, на систему в целом – позволяет, по аналогии с соотношением *langue* (грамматики) и *parole* (ее употребления в речи), сформировать две сферы, чтобы рассматривать, анализировать и, возможно, развивать культуру, с одной стороны, с точки зрения универсальных принципов, характеризующих ее структуру, функциональные особенности и закономерности развития (*langue*) и, с другой стороны, в ее конкретной реализации в ситуациях знаковой коммуникации.

Различение таких сфер, как упорядоченность и неупорядоченность, упорядоченность и частичная упорядоченность, облига-

торность и факультативность, инвариантность и вариантность, в принципе не является чем-то новым. Однако это позволяет, именно в силу сходных структур и функциональных механизмов, более ясно акцентировать некоторые ситуации в сфере циклично повторяющихся глубинных структур развития культуры, ситуации, имеющие отношение к уже упомянутым концепциям Гоголя и Коха, а также Аймермахера, один из которых (а именно Гоголь) исходит из положения «Мир таков, каков он есть, он не будет развиваться», другой (т. е. Кох) – из того, что «Мир и вместе с ним культура эволюционируют», а третий полагает: «Культура уже достаточно развита, дело только за тем, чтобы как можно полнее ею овладеть».

\* \* \*

Поскольку речь не идет здесь о том, чтобы защищать позицию Гоголя или Коха (да и кто сказал, что я адекватно понял и изложил их), я бы хотел по крайней мере кратко изложить собственные взгляды.

Происшедшее уже тысячи лет назад формирование человеческой культуры оставляет – если я правильно понимаю – очень немного пространства для изменения. Похоже, что уже давно достигнутый уровень культурного развития подлежит лишь сохранению. Нам остается поэтому не только постоянно работать над освоением достижений великих культур прошлого и того принципиально нового, что было прибавлено к ним в ходе истории, сохранять их живыми, но и анализировать и комбинировать их таким образом, чтобы в процессе исторического развития возникли действительно новые ходы мысли и формы культуры. Последней радикальной попыткой фундаментального изменения нашей культуры в этом столетии можно считать критическое рассмотрение основ отдельных областей культуры и их новое обоснование европейским авангардом, а в науке – изменение нашей картины мира под влиянием квантовой теории. Сюда же относятся также общая и дескриптивная семиотика XIX и XX вв. Существенного изменения культурной ситуации с тех пор не происходило. Не достичь его и с помощью новых хранителей информации, через рекомбинацию и более быструю обработку данных в компьютерный век. Для этого современным средствам информации требуются совершенно новые структурные принципы и функциональные механизмы.

Изменения, полагаю я, скорее всего достигаются и обнаруживаются в области искусства. Ведь характерные для искусства приемы компрессии, редукции, расширения, соположения, наложения, усиления, опущения информации и т. д., создающие условия для разного рода иерархически организованного сгущения в любой сфере, где используются знаки, как раз и образуют основу для изменений в культуре. Однако они оставляют достаточно свободного пространства для комбинаторики, что позволяет порождать на базе открытого взаимодействия упорядоченности и неупорядоченности культурные изменения, на которые строгие логические системы явно неспособны.

Правда, независимо от таких рассуждений возникает вопрос, следует ли, учитывая достигнутое на данный момент состояние культуры, форсировать ее дальнейшее развитие через обращение к ее предыдущим стадиям или на основе экстенсивного анализа и экстраполяции ее существенных моментов и их целенаправленной конструктивно-игровой реинтеграции.

Несомненно, что ни в том, ни в другом случае не следует начинать с нуля. Выявлены многие универсальные, а также и специфические структурные принципы культуры и текстов или когнитивных процессов. Я напомним лишь о феноменах, отражаемых обычно парными понятиями, такими, как избыточность и энтропия, гомогенность и гетерогенность и т. д., которые характеризуют взаимодействие противоречивых явлений как в минимальных, так и в глобальных системных комплексах. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что подобные системные комплексы не только являются одновременно структурированными и неструктурированными, но и при всей своей тенденции к системной завершенности всегда рассматриваются также как открытые. Примечательно и то, что культурные системы – такие, как тексты – могут характеризоваться по соотношению избыточности и энтропии, открытости и закрытости. Однако любые культурные процессы, несмотря на их многообразие, необозримость, непроницаемость и т. д., все же обладают тенденцией блокировать энтропию с помощью введения правил, а также упрощать сами процессы с помощью избыточности. Это видно, в частности, на примере мифологии, религий и теорий...

Однако, несмотря на эту тенденцию, в культурных системах наблюдается взаимодействие так называемых антагонистических, по большей части прагматически ориентированных сил, которые

изменяют внутренне непротиворечивые культурные системы. Очевидно, что они регулируют постоянное приспособление культурных систем к новым условиям и беспрерывно заново задают их функциональные параметры. Какие-то части забываются, какие-то добавляются и подвергаются реинтерпретации. Тем самым культурно-имманентным, порождающим избыточность конститутивным принципам вновь противопоставляется гетерогенность (возможно и хаотичность) и возникает открытость нового рода, являющаяся предпосылкой эволюции.

Рассмотрим в связи с этим отношения мифа и теории, которые – с точки зрения типологии – оказываются сходными, поскольку представляют собой модели интерпретации мира. Это завершённые, универсальные системы. Различие между ними заключается в наличии или отсутствии средств саморефлексии и саморегуляции.

Если поставить вопрос, не связывают ли миф и теорию эволюционные отношения, то в ответ, правда, возможно утверждение, что появляющаяся позднее модель объяснения (т. е. теория) является результатом ясного эволюционного процесса по принципу «более дифференцированная структура возникает из сложной и недифференцированной». В качестве гипотезы, объясняющей развитие подобных моделей объяснения мира, такой ответ представляется вполне логичным. Однако с точки зрения жизненного опыта и нашего знания истории этот вывод оказывается более проблематичным, чем это могло показаться поначалу. Разве нам не известно, что теории (т. е. системы, основанные на множестве гипотез) постоянно подвергаются мифологизации и даже могут порождать целые комплексы новых мифов? Получается, что вместо ожидаемого в системе гипотетических моделей познания поступательного процесса эволюционного развития в действительности нередко обнаруживаются движение в обратную сторону и рецидив мифологического мышления. На основании таких наблюдений можно даже утверждать, что эволюция и рецидивы так называемых ранних стадий развития связаны воедино, подобно рациональному и инстинктивному поведению, хотя считается, что вследствие культурного совершенствования в ходе развития человечества рациональный принцип все больше вытесняет инстинкты и все больше подчиняет их себе. Иными словами, именно взаимодействие хаоса, неупорядоченности и порядка, низкого и высокого определяет последовательность и пре-

рывистость эволюционных процессов. Это явление, столь же характерное для культурных процессов, как и противодействующие принципы стабильности и динамики, избыточности и энтропии для искусства или категории ясного и неясного, однозначного и неоднозначного, целого и единичного для познавательных процессов.

\* \* \*

Вернемся еще раз к началу наших рассуждений.

Сознание, знаки, знаковые модели, а также культуры – в их фрагментах или в целом – возникают, существуют и исчезают в рамках потенциально всеохватывающего процесса взаимодействия, основная тенденция которого направлена на сохранение, поддержание, но в то же время постоянно подвергается угрозе частичного или даже полного уничтожения. Если обозреть этот процесс на протяжении тысячелетий, то вполне можно вывести из него некую эволюцию, хотя она и совсем необязательно будет при этом всегда характеризоваться принципиальными инновациями и революционными преобразованиями. Качественные скачки, которые мы наблюдаем в переходе языка к дискретности фонемных единиц, от иероглифического письма к фонематическому письму, или к развитым текстовым структурам в семиотическом смысле, действительно носят фундаментальный характер, однако отмечаются в истории далеко не часто. Вместо действительно качественных эволюционных сдвигов в истории, похоже, преобладает количественная разработка эволюционного потенциала достигнутой фазы развития. Поэтому я не могу избавиться от ощущения, что значительные сегменты европейской культуры представляют собой результат прощупывания этого потенциала и непрерывной рекомбинации полученных элементов. Возникающая в результате специфика отдельного «культурного текста» (опять-таки в семиотическом смысле) не меняет принципиального характера этого положения. Нам не остается ничего другого, как смиренно признать, что в основе истории европейской культуры лежат древние универсальные возможности текстообразования и что эта история ориентируется на индивидуальные и определяемые исторической эпохой специфические черты, основанные в первую очередь на принципе отклонения, различения, на опирающемся на них нормообразование, а не на образование культуры по некоторым не известным до того принципам.

Пожалуй, ясно: и в моих мыслях не так уж много нового, основополагающего. Повторим еще раз: Гоголя интересовало явление, яркое, пестрое, нестройное, жизнь; Коха, напротив, большие эволюционные скачки, меня же – механизмы комбинации, закономерности, но и момент игры, однако не как изолированный принцип, а во всеобъемлющем взаимодействии множества различных знаковых систем. Ничего нового обнаружить не дано, можно только вновь и вновь открывать старое. И в результате мы снова возвращаемся к Гоголю: «Все ярко, пестро, нестройно...».



---

## Семиотика и филология: к вопросу о междисциплинарности\*

Идея моего выступления появилась, когда профессор Рымарь рассказал мне об исследовательском проекте, посвященном теме границ и рамок в литературоведении. Тогда я вспомнил, как во второй половине 70-х годов мы вместе с Александром Пятигорским, одним из основателей Московско-Тартуской семиотической школы, взялись за написание книги под названием «Пролегомены к семиотике». Она начиналась с рассуждения о принятии границы в качестве основной предпосылки существования знаков: мы утверждали, что знаком может стать лишь тот объект, который отграничен или изолирован от своего окружения, имеет некоторое значение и поэтому неизбежно обладает собственной функцией. Если – в простейшем случае – знаки составляют единый ряд или – в более сложном случае – смешиваются друг с другом или накладываются друг на друга, из них могут образоваться новые, многокомпонентные знаки.

Мы знаем, что из комплексных знаков возникают тексты, группы текстов, жанры, то есть тексты с самыми различными функциями. Можно также добавить: знаки – это не просто знаки, на их основе могут формулироваться проблемы, а также могут изображаться комические и трагические ситуации – как прямую, так и в ироническом, сатирическом или ином преломлении. Примеры такого рода хорошо известны в риторике, истории жанров и общей теории текста. Системы знаков или, лучше сказать, модели знаков, которые базируются на механизмах разграничения, как правило, участвуют в наполнении памяти и в игре со временем. Они являются фундаментом того, что мы называем культурой. Таким образом, культура опирается на модели знаков, с помощью которых ставятся вопросы, находятся и передаются знания. Как исторически сложилось, эту сферу изучает не только

---

\* Из: Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Т. VI. – М., 2009. С. 77–85.

семиотика, но и филология. Она анализирует и интерпретирует культуру уже несколько столетий. С XIX и прежде всего с XX века подключаются также естественные науки, которые занимаются, в первую очередь, нейробиологическими аспектами формирования образов в человеческом мозге. Тем самым они задают первичные структуры для сознательных и бессознательных процессов образования знаков в культуре.

На этом месте я бы хотел отвлечься от успехов филологии, чтобы еще раз вернуться к принципу введения границ и условиям обособления.

Объединение знаков, которые являются результатом сознательно проведенной границы, сознательной изоляции – это относительно элементарное событие. Принцип образования знаков или создания знаков составляет в определенном смысле основное правило для возникновения гораздо сложнее построенных изображений, а точнее сказать, моделей, которые представляют своего рода комплексы знаков. Можно было бы говорить о скрытом сглаживании границ между исходными знаками, благодаря которому появляются новые обособленные единства с новыми границами, то есть – если оставаться в «знаковой» терминологии – комплексные знаки. Иначе говоря, знаки составляют системы знаков, которые – как и простые знаки – не закреплены раз и навсегда, а при необходимости могут претерпевать изменения и образовывать структуры, которые, в свою очередь, допускают иерархическое разделение по первостепенным и второстепенным качествам.

Логика подобных превращений знаков в знаки нового уровня и бесконечно возможная цепочка новообразованных знаков имеет дальнейшие последствия для сферы семиотических операций. Знаки, вне зависимости от своей структуры, могут быть подвержены двум различным и в сущности противоположным тенденциям: они могут тяготеть к стабильности, например если слово называет только один объект или состояние, или же к постоянной трансформации, становясь проще или сложнее в соответствии с задачей и контекстом. Предполагается, что в процессе любых трансформаций с новообразованными знаками всегда могут быть связаны и новые функции.

Напрашивается вывод: принцип объединения и обособления, так же как и изменения границ, – это общее явление для знаковых структур. Он лежит в основе как простых, так и сложных моделей – неважно, идет ли речь о языке, литературе и культуре или о на-

учных дисциплинах, которые, как филология и ее разделы, занимаются их изучением.

Напрашивается и следующий вывод: механизмы структуризации более конкретных или более абстрактных фактов, по всей видимости, во многом сопоставимы друг с другом, хотя филология в рамках своего понятийного аппарата не всегда позволяет достоверно осознать это. Во всяком случае дисциплины, которые занимаются языком, литературой, а также изобразительным искусством, музыкой и культурой в целом демонстрируют, что у них – за исключением схожих точек зрения – совсем немного общего. Кроме того, во многих случаях представителям названных дисциплин не удается в полной мере понять друг друга из-за использования различной терминологии. Если взять системы понятий современного литературоведения и современной лингвистики, которые за последние 50 лет очень далеко отошли друг от друга, то «безмолвие» между двумя дисциплинами станет более чем очевидно. Споры о текущем иерархическом статусе литературоведения и лингвистики также укрепляют это впечатление. В связи с этим возникает вопрос, можно ли считать перечисленные дисциплины отдельными науками: является ли, например, семиотика с ее исследовательскими объектами и целями чем-то отличным от филологических дисциплин? Верно ли, что филологические науки всегда оперируют семиотическими категориями и поэтому имеют общий фундамент?

Дискуссии о самостоятельности литературоведения, лингвистики и семиотики, которые ведутся последние полвека, достаточно ясно показывают сходства и различия, а также поверхностные и коренные изменения в принципах научной работы. Посмотрим на этот процесс пусть даже невооруженным взглядом, но более пристально: если бы речь шла о взаимоисключающих дисциплинах, то можно было бы говорить о том, что на определенном этапе своего развития литературоведы прибегли к заимствованию методов и понятий – как из семиотики, так и из современной лингвистики. В то же время, примерно в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века они обратились к знаниям, накопленным математикой, социологией и другими дисциплинами.

И наоборот, можно было бы спросить, почему общая семиотика приблизительно в тот же период вышла за рамки своей первоначальной сферы исследований и стала заниматься вопросами культуры, то есть объектом изучения филологов?

Говоря о проблеме сходств и различий филологии, литературоведения и семиотики я чаще всего утверждал, что с точки зрения семиотики культурные феномены, очевидно, могут быть устроены так же, как и дисциплины, которые их изучают. В связи с этим снова встает вопрос, почему научные области заимствуют друг у друга терминологию, вместо того чтобы прояснить, что объединяет их методики, раз все они исследуют общие или специфические аспекты человеческой культуры?

На этом месте я бы хотел сделать небольшое отступление и затронуть понятие междисциплинарности, которое напрямую соотносится с единством и противоположностью наук и в последние двадцать лет выступает в качестве ключевого термина почти в любой исследовательской заявке. Речь идет о том, является ли междисциплинарность одновременным взаимодействием нескольких дисциплин с собственным, обычно различающимся понятийным аппаратом при изучении одного и того же объекта – как это происходит, например, в проекте по феномену границы. (Позволю себе дополнительное замечание: интересно, что раньше в исторической науке для данного случая существовало понятие *studium generale*.) В основе этого понимания междисциплинарности (как взаимодействия нескольких дисциплин) лежит сопоставимость результатов исследования (а не процедур). Другое, заметно отличающееся понимание междисциплинарности исходит из того, что – как в дескриптивной семиотике Московской и Тартуской школ – практически идентичный понятийный аппарат используется при изучении ряда схожих объектов, то есть в основе лежит единство результатов исследования.

Повторю уже сказанное: как сам вопрос соотношения и пересечения научных областей, так и его спорный характер можно лучше всего прояснить, если опираться на частично существующую, но частично по-прежнему необходимую дискуссию о методологических основах гуманитарного / культурологического научного процесса.

К двадцатому веку в филологической сфере в полной мере начинается процесс рефлексии, результатом которого стало появление ряда новых научных областей. Это рождение таких направлений, как формализм, структурализм, функционализм, которые отвергают внесистемные методы анализа литературы и языка, существовавшие в филологии до этого, и выделяют универсальные признаки текста исходя из их формы, структуры и функции. В этом контексте развивается в том числе и семиотика. Впрочем,

предпосылки этого этапа развития присутствовали и в филологии, а именно в виде правил или систем правил, которые основывались на механизмах повторения и рассматривались в соответствующих учебниках грамматики или поэтики. Понятийный аппарат риторики, поэтики, да и весь очень обширный комплекс литературоведческих терминов был разработан по совершенно независимым критериям, поскольку их формулировка базировалась на схожих или различных признаках *внешней стороны* текста.

В зависимости от объекта исследования, от постановки вопроса в каждом конкретном случае возникли метаязыки разного уровня абстрактности, безусловно создавшие конфликтный потенциал внутри гуманитарных наук. Устройство этих метаязыков позволяло сформулировать с их помощью общие, а значит, допускающие обобщения выводы. На этом фоне становится понятным, почему формализм отказался от традиций традиционного литературоведения, почему сам формализм был по-новому осмыслен в функционализме и почему концепции обоих направлений были развиты и улучшены семиотикой.

Долгие годы эти тенденции оставались на заднем плане из-за военных перипетий. Марксистская и нацистская индоктринация тормозили развитие теоретических подходов, которые могли быть сформулированы новыми дисциплинами. Однако в послевоенное время ранние научно-методологические преобразования, которые произошли с начала двадцатого века почти во всех связанных с культурой дисциплинах, включая языкознание, философию языка, литературоведение и сравнительно новую семиотику, были снова собраны воедино. С 1950–60-х годов после обсуждений, которые велись в философии, кибернетике / информатике и современной лингвистике, а также структурализме и семиотике, набирает обороты дискуссия об основах гуманитарных наук, их объектах исследования, методах и целях, то есть об их научном статусе и востребованности.

Тезисы, которые были тогда сформулированы, актуальны и по сей день и определяют взаимодействие, в том числе, литературоведения и семиотики.

Представители одной точки зрения в этой дискуссии считают, что специфика гуманитарных дисциплин состоит в многообразии их методов. При этом предполагается, что большое число методов находится в особом соответствии с разнородностью и уникальностью культурного разнообразия, ставшего итогом многовекового исторического развития. Другая позиция отвергает такой подход

и видит в многообразии методов отражение бессистемности научной работы, констатирует методологическую беспомощность и основывает на этом свою критику.

Выходом из этой ситуации в прошлом становились в том числе терминологические заимствования из других наук, таких как уже упомянутые математика, информатика, теория систем, теоретическая и эмпирическая социология, психология, лингвистика, теория коммуникации, культурология, а также семиотика. Этот перенос «чужого» понятийного и методического аппарата привел в итоге к попытке увеличить влияние систематического, естественнонаучного мышления в гуманитарных дисциплинах. С этого момента одной из ключевых исследовательских целей стала выработка комплекса норм в области использования языка, создания и интерпретации текста, а также других крупных культурных формаций.

В то же время образовалось оппозиционное направление, представители которого выступали за обращение к исходным герменевтическим основам гуманитарных наук и многообразие методов.

Пока одни стремились к преодолению проблемы ненаучности якобы несистематического или только частично систематического подхода литературоведения с помощью заимствований из гораздо более структурированной семиотики, множились призывы и попытки обновить филологию за счет возвращения к герменевтическому фундаменту любой интерпретации. Объектом исследования должно было стать не *нормативное*, а *специфическое*, то есть как раз то, что не повторяется. Поэтому в качестве предмета и цели изучения предлагалось в первую очередь то, что делало характер и функцию литературы особенными на фоне других средств коммуникации. В центре рассмотрения, как манифест людского творчества, оказывались литература и искусство с их подчеркнуто эстетическим процессом осмысления действительности. По мнению представителей этой точки зрения, задача литературоведа состояла в том, чтобы описать непередаваемое метаязыком, индивидуальное, исторически уникальное воплощение творческих способностей человека.

Несмотря на (сознательно здесь преувеличенные) фундаментальные различия этих двух позиций, оба направления постоянно использовали общие знания, и в особенности терминологию, накопленные семиотикой, которая, очевидно, занимает промежуточное положение между гуманитарными и естественными науками.

Если же немного смягчить противоположности в обсуждаемой дихотомии и попытаться найти в двух позициях сходства, появившиеся благодаря семиотике, можно будет легко обнаружить, что их конечные цели одинаковы и различаются лишь при поверхностном взгляде. Тем не менее заметны отличия в том, как в целом интерпретируется структура объектов изучения.

Вернемся, однако, к нашему исходному вопросу об отношении семиотики и филологии. Проблему взаимодействия семиотики и филологии можно сформулировать и следующим образом: почему, несмотря на существование таких понятий, как семиотика театра, семиотическая морфология и т. д., продолжают использоваться названия дисциплин «литературоведение» и «лингвистика» – почему они не включаются в более общий термин «семиотика»? Разве мы не увидели во вступительной части, что процесс образования знаков во всех этих областях если не идентичен, то во всяком случае весьма схож? Такое переименование дисциплин было бы естественным и по причине других общих моментов при формировании знаков. И в семиотике, и в названных самостоятельных дисциплинах находится целый ряд критериев (ср. наличие набора знаков, правил совмещения знаков, функций знаковой системы и т. д.), которые могли бы стать единым фундаментом. И, конечно же, нашлось бы много дополнительных признаков и характерных черт, которые оправдывали бы интеграцию семиотики и упомянутых научных областей. Или следует считать, что семиотика рассматривает только общие основы процессов и результатов формирования знаков, а филология ограничивается изучением структур символов, характерных для художественных текстов? Но так как процесс образования знаков и другие упомянутые сходства не ограничиваются семиотикой и филологией, а могут быть обнаружены также в других науках, то есть, очевидно, входят в число формообразующих условий, вопрос об отношении филологии и семиотики должен быть проработан более основательно. Он может быть дополнен проблемой взаимодействия филологии и лингвистики, филологии и теории коммуникаций, кибернетики, информатики, возможно также биологии, физиологии, психологии, социологии и так далее.

В то же время следует констатировать: при сравнении понятийного аппарата классической семиотики с терминологией перечисленных самостоятельных областей становится очевидным, что семиотика действительно больше интересуется общими вопросами сущности знаков, их возникновения и взаимодействия,

в то время как отдельные науки анализируют специфические свойства объектов исследования. Самостоятельные дисциплины, как правило, отказываются от слишком общих формулировок выводов, тем самым также обнаруживая отличие от семиотики.

Кроме того, можно наблюдать, что если выводы, сделанные в рамках отдельных дисциплин, не могут быть переформулированы (или во всяком случае проинтерпретированы) на семиотическом уровне, то они чаще всего оказываются нерелевантными и/или недостаточно систематичными для семиотики, чтобы быть ею принятыми. Представители самостоятельных дисциплин, напротив, достаточно часто реагируют со смесью презрения, недоверия и скепсиса на обобщительные выводы семиотики, касающиеся их области исследования. Таким образом, для одних формулировки оказываются слишком общими или тривиальными и поэтому неподходящими для практической работы; для других – недостаточно четкими / систематичными и в целом слишком частными.

Очевидно, что при вопросе о системе взаимоотношений семиотики и филологии, как и других наук, вполне можно исходить из их типологических общих и особенных черт, однако на практике оценка этого взаимодействия оказывается весьма различной и зависит от ожиданий каждой конкретной дисциплины.

Прояснить характер отношений между семиотикой и самостоятельными дисциплинами, а также значение взаимного влияния этих наук на данный момент лучше всего – по крайней мере наиболее последовательно – способно рассмотрение исторического фона этой взаимосвязи, а также конкретных и общих целей отдельных наук.

В историческом плане взаимодействия с семиотикой стоит уделить внимание прежде всего тем наукам, которые в ходе своего развития вели интенсивную проработку методологии, имеют сложившуюся терминологию и не только претендуют на системный подход, но и преследуют ряд схожих целей. Здесь я в первую очередь имею в виду лингвистику и теорию коммуникаций, но частично также и филологию. Общим для них – как уже многократно показано – является изучение формально или функционально похожих фигур повторения с целью установления и систематизации характера их регулярности. Также к сходствам относится изучение взаимодействия формальных, семантических и идеологических проявлений и закономерностей на основе системно-теоретических аспектов.



На базе уже сказанного можно понять: благодаря схожей области интересов упомянутых независимых дисциплин прежде всего лингвистический структурализм (в особенности фонология) оказал воздействие не только на многие гуманитарные науки, но и на семиотические исследования исторических текстов. Объектом изучения при этом были структурно-текстовые закономерности, которые обычно не учитываются метаязыком лингвистики, а, основываясь на принципе чаще всего (но не всегда) бинарных оппозиций (при использовании системно-теоретических критериев), выражают семантические или идеологические черты и могут быть проанализированы с точки зрения семиотических принципов генерации текста.

Мы видим, что такие исследования начинаются с семиотически выстроенных актов наименования. При этом вторично-языковые свойства текстов анализируются по параметрам, которые как раз являются актуальными для исследователя. Затем результаты параметризации собираются в парадигмы, чтобы – как в лингвистике – изучить характер их регулярности. Тем не менее цель этого процесса – и я хотел бы отдельно подчеркнуть это – не анализ лингвистических фактов, а интерпретация текстовых и более общих культурных закономерностей путем формализации семантических / идеологических признаков. Речь в данном случае идет не столько о специфике или уникальности творческого процесса, сколько об универсальных принципах, лежащих в основе текстов и культурных феноменов. Когда я говорю, что изначально встает вопрос о регулярности связей, из этого, конечно, следует, что на втором этапе должна возникнуть проблема взаимоотношения регулярного и нерегулярного. Как в рамках текстов, так и культуры в целом только это взаимоотношение (или противостояние) может, с одной стороны, создавать фундамент, стабильную основу, а с другой – задавать динамику, изменения. И здесь мы возвращаемся к исходной сфере интересов филологии, которая в конечном счете нацелена на изучение культуры в целом и в ее частных проявлениях как особенности человеческого существования и которая – как показывают современные исследования в смежной области естественных и гуманитарных наук – в будущем станет занимать всё более важное место в изучении человеческого сознания.

Таким образом, круг замыкается: широкий, общий филологический подход, который с течением времени после многих открытых или скрытых методологических дискуссий привел к

заметной дифференциации научных дисциплин, сегодня может получить вторую жизнь, но на этот раз – на основе различных междисциплинарных подходов. Выбор одного из них уже не кажется неизбежным – решающее значение имеют полученные результаты. Впрочем, можно не сомневаться: самостоятельным дисциплинам, которые прямо или косвенно выстроили свою терминологию на семиотическом фундаменте, в ближайшие годы придется основательно разобраться с возможностями систематизации, предлагаемыми семиотикой, а семиотика, в свою очередь, не сможет игнорировать результаты, полученные в рамках отдельных научных областей. Вполне вероятно, что в будущем в этой сфере начнется новая интенсивная методологическая дискуссия.

*Перевод: Даниил Бордюгов*

# Проблемы анализа текста. Формализм, структурализм и семиотический подход\*

Литературные тексты представляются в принципе открытыми для понимания каждым, по крайней мере многие имеют о них некоторое мнение. Кажется, что каждый каким-то образом вправе высказать нечто «по поводу» таких текстов, даже если высказывания эти не слишком обоснованы или не поддаются обоснованию вообще. К тому же речи такого рода часто произносятся с намерением открыть «истинный смысл» некоторого текста и наделены в таком случае обычно признаками аподиктического, во всяком случае в значительной степени не поддающегося релятивизации, высказывания. Если «свидетельств истины» оказывается несколько, то различия между ними нередко объясняются неспособностью верного прочтения или понимания, недостаточной информированностью, а то и просто «неверным сознанием»; у каждого оказывается своя «теория», свой ключ к пониманию текста.

Что же касается «древних», «темных» и иных «герметических» текстов, т. е. текстов, смысл которых не открыт для непосредственного восприятия, то их чаще всего оставляют в компетенции профессиональных «толкователей текста» (филологов, литературоведов); «современными» текстами в случае необходимости займется литературный критик.

Для уяснения содержания «темных» текстов явно требуется особое знание, компетентность, которой располагает не каждый и которая позволяет сначала определить место текста в более широком контексте, чтобы затем «интерпретировать» его с учетом

---

\* Из: Знак. Текст. Культура. – М., 2001. С. 115–156.

Об основных концептуальных проблемах указанных направлений теории литературы см.: *Issues in Slavic Literary and Cultural Theory – Studien zur Literatur- und Kulturtheorie in Osteuropa* / Hrsg. von K. Eimermacher, P. Grzybek, G. Witte. – Bochum, 1989.

находящихся за его пределами дополнительных данных, т. е. выявить в таких текстах то, что не может быть замечено непосредственно и сразу. Таким образом, если в нормальной ситуации читатель кажется достаточно информированным для того, чтобы понимать определенные группы текстов, то для «исторических» текстов требуется дополнительная информация, без которой высказываться по их поводу невозможно.

В действительности же одних этих способностей интерпретатора все же недостаточно. Чтобы высказывание о тексте не было притянутым за волосы, односторонним и т. п., нужно по меньшей мере учитывать релевантность и особенности методики, используемой при интерпретации текста, а также общие и частные характерные черты литературных текстов.

По степени осознанности предпосылок понимания и объяснения, включая саморефлексию этих процессов и учет связей, существующих между постановкой вопроса, исходными гипотезами и взаимозависимостью методов анализа и отображения, подходы к тексту могут быть разделены на подход, основанный на «здравом рассудке», на общий «филологический» и на строго «научно отрефлектированный». Этим подходам мы обязаны накопленными за всю историю работы над определением смысла и функций текстов, с одной стороны, очень обширным собранием литературоведческих понятий, а с другой стороны – множеством «теорий», «методов» и вариантов «методологии». Общим для всех этих усилий – хотя каждый при этом действовал по-своему – было стремление создать более или менее последовательно систематизированные категориальные предпосылки для описания, каталогизации и объяснения текстов, а также общие теоретические основы оптимизации высказываний о текстах. Необходимость все новых методологических предложений обычно обосновывается «односторонностью» какого-нибудь из прочих «методов», а сами предложения преследуют в качестве цели чаще всего серьезное изменение целых направлений исследования на базе «новой методологии». Подобные внутридисциплинарные дискуссии находят выражение в критической проверке, отбраковке, улучшении и расширении:

- а) подлежащего отныне изучению материала,
- б) особо ценимого соответствия поставленных проблем (и намеченных целей) и
- с) «новых» методов исследования.

Переломная ситуация такого рода наблюдается с 60-х годов и в литературоведении: формулируются, обсуждаются, усваиваются или отвергаются «методы»; выдвигаются требования «прикладной методологии», чтобы преодолеть разрыв между якобы существующим избытком теоретических построений и практикой интерпретации текстов. В ситуации, когда литературоведческая деятельность оказывается пораженной общей неопределенностью, возникает желание получить ясное подручное средство, позволяющее определить, какой из предложенных «методов» является «правильным», «более эффективным», «менее односторонним», «более многообещающим», «более релевантным» и т. д. и каким образом оценить соотношение «методов» друг с другом. Если отвлечься от поверхностных явлений в области методологии, при поиске новых литературоведческих подходов речь шла о:

- рассмотрении основных предпосылок научного анализа текстов и научных высказываний о текстах, их специфике и содержании,
- провозглашении соответствующего определенного теоретико-познавательного интереса и
- новом определении предмета исследования в литературоведении и его гипотетическом предварительном структурировании.

Прежде чем перейти к принципам формализма, структурализма и семиотики, необходимо со всей ясностью констатировать, что хотя русский формализм, структурализм, а также семиотика направлены на специфические свойства и семантические, а также прагматические функции (способы порождения смысла, социальные и культурные факторы) – также в различной степени интенсивности – искусства и литературы, однако эти научные направления не выработали аналитической техники, которая характеризовала бы исключительно искусство и литературу. Если бы проблема заключалась только в «технике», то следовало бы искать вопросы и ответы, которые в названных направлениях не находятся на переднем плане. Дело в том, что если понимать под «анализом» только определенный исследовательский инструментарий («метод в узком смысле»), то его следовало бы реконструировать специально для формализма, структурализма и семиотики, одновременно указав при этом, что в результате эти направления были бы представлены односторонне и в отчасти периферийных аспектах их общей системы. Если же понимать под «анализом» не только всего лишь «методы в узком смысле», но и учитывать предполагаемые всяким анализом методологические моменты

(предмет исследования, цели, исходные предпосылки), то станет ясной также связь, существующая между концептуальным подходом в целом и «методами».

Следующая сложность, с которой связано получение ответа на вопрос о характере интересующих нас направлений анализа, заключается в непоследовательном употреблении понятий «формалистский», «структуралистский» (в меньшей степени это относится к понятию «семиотический»): порой они в качестве метафор замещают реалии, обычно обозначаемые средствами обыденного языка, называют определенную методику анализа или используются в качестве стенографических значков вместо соответствующих методологических систем. В то время как критика формализма в 30–40-е годы понимала под «формалистским анализом» в значительной степени одностороннее «механистичное» (свободное от марксистско-ленинского понимания истории) исследование текстов, то, например, критика Л.Д. Троцкого в адрес существовавшего в то время формализма (с тенденциями его будущих продолжателей) была еще гораздо более дифференцированной<sup>1</sup>. Из характеристики Троцкого, согласно которой «формалисты» сосредотачивают свое внимание на «исчислимых элементах» — сегодня мы сказали бы «плане выражения» — литературных текстов (таких, как ритм, параллелизм, формы организации стиха и т. д.), следует вывод, что он не понимал «формалистический» метод ни исключительно как способ исследования, ни строго методологически в духе определения целей, методов и исходных положений: как бы то ни было, в качестве объекта исследования называются по крайней мере «формальные элементы», анализируемые с помощью «методов исчисления».

Другие, как, например, П.Н. Медведев<sup>2</sup>, хотя и критиковали слишком узкое понимание материала формалистами, обусловленную психологией восприятия зависимость познания от литературного метода и характер возможного в результате этого эффекта остранения у воспринимающего субъекта, однако не подвергали при этом сомнению методологическую основу как таковую. И это показывает, что уже критики — современники формализма рассматривали его не исключительно в аспекте определенного, узко понятого механистического аналитического

---

<sup>1</sup> Троцкий Л. Литература и революция. — М., 1923. Гл. V.

<sup>2</sup> Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. — Л., 1928. Ч. 4: «Художественное произведение как данность, внеположная сознанию».

инструмента, а разбирали его – по крайней мере что касается исходных принципов – скорее методологически (хотя и не в соответствии с основной интенцией формализма).

Сами формалисты связывали с «формальным» подходом или «формальной школой» – в этом они являются ясной противоположностью своим односторонним критикам – в равной степени как совершенно определенный *предмет* исследования, так и совершенно определенную *цель* исследования. Так, Б.М. Эйхенбаум указывал в качестве задач

а) «построение литературной науки»<sup>3</sup>, которое носило бы «научообразный характер», чтобы избавиться от часто порицаемой пустой болтовни «по поводу» текстов;<sup>4</sup>

б) ограничение предмета исследования, причем не через особые методы анализа, а заданием фундаментального «принципа»<sup>5</sup>, отделяющего этот предмет от других предметов. Более детально предмет затем определяется как «специфический ряд явлений»<sup>6</sup>. «Формальная школа изучает литературу как ряд специфических явлений и строит историю литературы как специфическую конкретную эволюцию литературных форм и традиций»<sup>7</sup>. Поэтому усилия формалистов направлены «[...] не на описание отдельных произведений [...], а на построение теории и истории литературы как самостоятельной науки»<sup>8</sup>. Со всей ясностью подчеркивается, что речь идет о «научной системе вместо хаотического нагромождения фактов и личных мнений»<sup>9</sup>, независимо от того, что из этого подхода и прежде всего из самих эмпирических работ могут быть выведены определенные методы анализа.

С сегодняшней точки зрения понятие «формальный» может быть истолковано помимо того, хотя и не исключительно, как относящееся к определенной ступени процедуры анализа, правда, теперь уже исходя не только из позиций русского формализма, а из позиций современной лингвистики. «Формальным» в таком случае оказывается – с учетом разделения плана выражения и плана содержания – анализ функциональных связей (т. е. формы

<sup>3</sup> Эйхенбаум Б.М. Вокруг вопроса о «формалистах» // Печать и революция. 1924. № 5. С. 2.

<sup>4</sup> Там же. С. 11.

<sup>5</sup> Там же. С. 4.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же. С. 9.

<sup>8</sup> Там же. С. 10.

<sup>9</sup> Брик О.М. Т. н. «формальный метод» // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 213–215.

организации) плана выражения (например, какого-либо текста либо его аспектов/элементов), причем вопрос о том, ограничится ли исследователь только этой ступенью или же включит в работу семантические и/или прагматические аспекты проблемы, используя соответствующие методы анализа и интерпретации полученных результатов, остается открытым.

В дальнейшем мы будем пользоваться этим понятием не в указанном смысле, а в соответствии с концепцией русского формализма.

Проблемы, сходные с теми, что возникают при фиксации понятия «формализм» и «формальный», наблюдаются и при работе с понятиями «структурализм» и «семиотика» Московской и Тартуской школ (см. ниже).

Формализм, структурализм и семиотика – равно как и формальный, структурный и семиотический анализ – не исключают друг друга как противоположности, а дополняют друг друга<sup>10</sup>. Это верно и несмотря на тот факт, что каждое из трех указанных направлений соотносится со своей, более или менее широкой областью материала и сосредоточивает свой интерес на отчасти различной постановке проблем. Тем не менее всех их объединяет то, что они стремятся определить соответствующий предмет исследования более систематично и с помощью более точных методов, чем их предшественники, а также то, что их представители постоянно подчеркивают, что было бы неверно говорить о формальной, структурной или семиотической теории или методе. Вместо этого обращается внимание на то, что в основе их деятельности лежит формальный, структурный или семиотический *принцип* (или подход), позволяющий построить теорию текста, литературы, коммуникации или семиотическую теорию как более или менее строгую науку в духе «формализма», «структурализма» или «семиотики», причем делая это в первую очередь для того, чтобы – как уже указывалось при обсуждении «формального подхода» – избавиться от безосновательных рассуждений («следующих впечатлениям»). При этом более или менее сознается, что речь идет в каждом случае не только о своем «принципе», создающем определенные научные предметы, но и что подход

---

<sup>10</sup> *Ihwe J. Linguistik in der Literaturwissenschaft: Zur Entwicklung einer modernen Theorie der Literaturwissenschaft.* – München, 1972. S. 122; см. также введение Й. Штридтера к изданию: *Vodiuka F. Struktur der Entwicklung.* – München, 1976.



сам по себе уже предполагает определенные *методологические следствия*, т. е. в основе его лежат определенные эвристически необходимые исходные *предположения* о характере исследовательской работы, а также о возможной *структуре предмета исследования*. Если отвлечься от обозначившегося здесь системного характера научных концепций, похоже, что развитие формализма, структурализма и семиотики характеризует также определенная внутренняя детерминированность, которая к тому же принципиально отличает эти концепции от других как концепции динамические. Так, например, можно заметить, что прирост знаний в ходе развития формализма, структурализма и семиотики был связан с последовательным изменением области исследования каждого из направлений, их понятийных систем, а также со спецификацией и уточнением целеполаганий, существенным образом определяющих эти направления. Отсюда возникло не только сложным образом переплетенное взаимное влияние исходных предположений, исследовательских методов и целей в рамках одного направления, но вследствие этой самой динамики оказалось возможным, что все направления – несмотря на взаимную критику и даже неприятие – опирались на достижения друг друга или же одно из направлений конструктивно развивало научную основополагающую интенцию других направлений; при этом трансформация, переформулирование или новая интерпретация результатов исследования, методов и целей играли немаловажную роль; все это в перспективе становящейся все более глобальной и общей теоретической деятельности в конце концов вело к качественному улучшению наших знаний о строении текстов.

## Формализм<sup>11</sup>

Формалистский подход к выработке научного взгляда на литературу в своей ранней стадии, в которой он выступал в форме отрицания всего предшествовавшего литературоведения и в форме проектов новой науки, был столь же радикален, как и манифесты

---

<sup>11</sup> Необходимо в связи с формализмом особо указать на значение книги: Hansen-Löve A. Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Entfremdung. – Wien, 1978, – вышедшей уже после того, как эта работа была завершена.

русских футуристов, чьи программы и литературная практика первоначально также оказали на него существенное влияние. Однако не менее важную роль в развитии формалистической теории литературы и в попытках внести ясность в соотношение поэтического и обиходного языка<sup>12</sup> сыграли и новейшие тенденции русского и западноевропейского языкознания того времени (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр). Наиболее существенный момент этого подхода заключался – как уже было в самых общих чертах намечено – в последовательной *сегментации, редукции и систематизации* того, что входило в традиционный предмет литературоведения, а также в попытке заново точно определить *цель* литературоведения. Вместо того чтобы рассматривать литературные тексты как исходный пункт разнообразных оригинальных и остроумно сформулированных самонаблюдений, сентенций, чей диапазон простирается от верно подмеченных деталей до умозрительных построений, и все это в пределах огромной науки обо всем на свете (испытывающей влияние философии, психологии, биографических исследований и пр.), предлагалось считать предметом исследования лишь те явления литературных текстов, которые и делают литературу литературой: *специфические свойства* литературы, или «литературность», определенные как ряд *текстовых признаков*. Подобно тому как футуристы поставили во главу угла своих поэтических принципов художественный прием остранения для того, чтобы вернуть осознанный взгляд на действительность, формалисты стремились, опираясь на футуристов, а также лингвистику, которая все больше смещала центр своего внимания с содержательных явлений текста на формальные моменты, в особенности фонологический уровень языка, в первую очередь сконцентрировать свои усилия на исследовании *литературных приемов* как специфической разновидности элементов *плана выражения* текстов. Следующим шагом должно было быть изучение сочетания отдельных формально определенных уровней текста (таких, как фонетический уровень, уровень сюжета), корреляции уровней (соответствие ритма и синтаксиса и др.) и лишь затем также и функциональной релевантности уровней структуры текста для его содержания<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> См. введение В.Д. Штемпеля (Zur formalistischen Theorie der poetischen Sprache) в кн.: Texte der russischen Formalisten. Bd. 2. – München, 1972.

<sup>13</sup> В.Б. Шкловский в одной из ранних публикаций писал, что формалисты вовсе не забыли о смысле, они лишь не говорят о том, что еще не знают.

Из этого уже достаточно ясно, что формалисты (точнее говоря, «ранние») существенное свойство литературы как литературы видели не в ее содержании, в ее коммуникативной функции, а в том, каким образом организован ее план выражения; по этой причине для них первоочередное значение имел анализ наиболее общих признаков плана выражения через выделение формальных свойств текста (приемов) в литературе. Поэтому отдельные тексты присутствуют в их исследованиях почти исключительно как запас материала, из которого по мере необходимости извлекаются отдельные примеры для демонстрации универсальных специфических признаков формальной, *собственной литературной организации произведений*, а также развития литературы вообще: обнаружение литературных приемов – под влиянием футуризма – происходило по их способности выполнять в плане содержания функцию *отчуждения* по контрасту с действительностью, воспринимаемой через литературу в недостаточном объеме либо только автоматически; решающим было обстоятельство, способны ли, и если да, то в какой степени, приемы порождать качественные различия между, например, специфически *поэтическим* и специфически *обиходным* языком, между различными произведениями или жанрами и т. д. В предельно заостренной и сжатой форме В.Б. Шкловский мог констатировать, что литературное произведение – просто «сумма приемов», имея при этом в виду – нам сегодня, с учетом более широко понятой концептуальной основы, представляется это более дифференцированным, – что собственно литературным в отдельном произведении или литературе вообще является сумма *приемов*, работающих на создание эффекта отчуждения<sup>14</sup>.

В последовавшей затем второй стадии развития формализма сказалось, с одной стороны, пусть вначале еще в скрытой форме, сформировавшееся в лингвистике представление о *языке как системе функциональных явлений* (Бодуэн, де Соссюр) и, с другой стороны, обобщение и определенная систематизация данных, полученных из различных предметных областей. Речь шла в первую очередь о *закономерностях*, организующих «более низкие уровни языка» и гипотетически рассматривавшихся в качестве структурообразующих для «более высоких уровней языка» (вроде законов эвфонии) и переносившихся в том числе и на уровень

<sup>14</sup> Детали см. во введении Й. Штридтера к изданию: *Vodiuka V. Struktur der Entwicklung.* – München, 1976.

повествования<sup>15</sup>. Этот подход, в принципе ориентированный на теорию систем, а также стремление не просто выделять прием как выражение литературной специфики, с необходимостью вело к новой структуризации мыслительной и понятийной системы формалистов, получившей наиболее ясное выражение, или, по крайней мере, наиболее целостный характер, у Ю.Н. Тынянова. Понятие «остранения» – в противоположность В.Б. Шкловскому – постепенно уходит, и вместо относительно недифференцированного определения произведения как «суммы приемов» Ю.Н. Тынянов говорит о произведении уже как о «сложном целом» (при этом в уже структуралистском смысле) или же как о «системе взаимозависимых элементов», включая их связь с «содержательными или смысловыми особенностями» литературных текстов.

Сходную попытку преодоления подхода раннего В.Б. Шкловского, согласно которому задача искусства заключается в том, чтобы с помощью определенных приемов, снимающих автоматизм нормального восприятия действительности, обеспечить «новый взгляд», предпринял в то же время и О.М. Брик. Он считал, что в стихе ни план выражения не доминирует над планом содержания (скажем, ритм над семантикой), ни, наоборот, план содержания над планом выражения. Речь идет скорее о взаимозависимости, из которой рождается специфическая «ритмическая семантика», «семантика стиховых строк», «которая существует самостоятельно и развивается по своим законам»<sup>16</sup>.

Ю.Н. Тынянов углубил эту мысль, поняв на основе *системных связей всех элементов текста* друг с другом, а также их коннотаций, в том числе и с внетекстуальными семантическими полями, сложность литературных смысловых структур, и поместив в центр своих исследований подробный анализ связи формальной организации текста и его смысловой организации. Тем самым – подобно тому, как это было намечено у О.М. Брика – формальная организация хотя и приобретает функцию *формализации содержания*, однако, с другой стороны, она претерпевает *семантиза-*

<sup>15</sup> См.: Шкловский В.Б. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля; а также в целом по этой проблематике у формалистов: *Ihwe J. Linguistik in der Literaturwissenschaft*. S. 323 сл.

<sup>16</sup> Ср.: Брик О.М. Ритм и синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи) // Новый ЛЕФ. 1927. № 3–6.

цию формы. Эта специфически литературная взаимосвязанность и создает в конечном итоге предпосылку возникновения «сложного содержания» художественных текстов.

Механизмы таких постоянно влияющих друг на друга пересечений различных структурно- и смыслообразующих принципов с этого момента не только рассматриваются как принципиальное условие изначальной динамизации смысловой структуры литературного текста, но считаются ответственными за создание специфически литературных дискретных (т. е. «четко различимых») единиц: только они позволяют создать усложненную семантику текста с помощью особых приемов семантического контраста либо иерархизации «текстуально тождественных или сходных предметов». Тем самым обиходное слово, относительно фиксированное в своих семантических признаках, высвобождалось из своих привычных связей и получало возможность вхождения в одновременные отношения с другими контекстами (этот подход был реализован в подробном структурном анализе Ю.И. Левина, выявлявшем новые лексические значения в стихотворениях Мандельштама, появившиеся в результате изменения или обновления иерархических отношений в пучке сем)<sup>17</sup>.

Выработанное Ю.Н. Тыняновым абстрактное, но систематическое понятие «сложного», или «сложного функционального целого», которое, собственно, и является основной предпосылкой более дифференцированного анализа «литературных норм» (например, структуры уровней произведения, корреляции уровней), было перенесено в качестве универсального принципа организации и анализа на все (мыслимые в то время) макро- и микроединицы, существующие выше или ниже лексического уровня литературного текста, а также наряду с ним или вне его, начиная со звуковых повторов, параллелизмов, композиции сюжетных единиц и кончая жанрами, закономерностями литературных эпох и историей литературы.

В ходе подобной систематизации и перестройки «изначальной» формалистской концепции сама «логика подхода» породила ряд понятий, которые в дальнейшем в конце концов позволили уточнить предмет литературоведения, как его понимали форма-

---

<sup>17</sup> Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах II: Материалы к изучению поэтики О. Мандельштама // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1969. № 12. С 106–165; Он же. О частотном словаре языка поэта: Имена существительные у О. Мандельштама // Russian literature. 1972. № 2. С. 5–36.

листы, а также освоить принципиально важные для понимания литературы взгляды; отчасти это было сделано лишь в более позднем структурализме и в семиотических исследованиях, причем было выражено порой в значительно различающихся терминах и выработано на значительно более объемных массивах изучаемого материала. К числу таких понятий, использование которых также имеет последствия для структурирования предмета исследования, принадлежат, в частности:

1. Понятие *уровня*:

а) (в общем виде) в смысле множества элементов с однородными и/или по крайней мере сходными признаками;

б) (специфически) в смысле организованного порядка подобных элементов в рамках закрытых систем (например, литературного произведения).

2. Понятие *корреляции* как условия возникновения системных связей (например, двух или более уровней в одном произведении, произведений между собой и т. д.).

3. Понятие *оппозиции* и эквивалентности как предпосылка возникновения (и обнаружения) различных признаков (на одном или нескольких уровнях) в результате специфических литературных приемов или же их нейтрализации ради новой литературной эквивалентности и т. д.

4. Понятие *переменных/константных* величин, определяемых по степени общих, тождественных или по крайней мере сходных признаков, а также в некотором диапазоне вариаций относительно определенной константы (ср., например, морфологию сказки у В.Я. Проппа, понятия со- и автофункции у Тынянова).

5. Понятие *доминанты* и такие связанные с этим понятием варианты, как основная/фоновая информация, центр/периферия и т. д., причем в применении к конститутивным признакам отдельных уровней, отношению уровней, определенным жанрам в системе всех существующих в определенную эпоху жанров или же к взаимозависимости «коммуникативной» и «поэтической», или «эстетической», функции.

6. Представление о не столько статической, сколько *динамической взаимозависимости* всех составляющих текста, определяемой по способу и степени приданной им смысловой нагрузки и по тому, какие корреляции между элементами произведения, отдельными жанрами в системе всех жанров и т. д. подвергаются актуализации; «динамика» этой «взаимозависимости» всех составляющих произведения, а также и литературы как процессу-

альной эволюции систем объясняет смену доминант всех иерархически построенных литературных структур, т. е., скажем, отдельных уровней или более крупных стилевых систем (например, характеризующих отдельную эпоху).

Для научных направлений, которые, подобно формализму, опираются на *систематику* и – пусть даже в самом общем виде – на *теорию систем*, представляется характерным, что определенные литературоведческие понятия (закон, норма, закономерность) или принципы организации исследования (методика, формальный уровень, функциональные связи) приводят, уже в силу заключенного в самом теоретическом основании самодетерминирующего момента, к дальнейшему развитию всей научной системы, хотя предметная область остается при этом не полностью освоенной соответствующими конкретными исследованиями. В случае с формализмом это проявляется, например, не только в том, что при изучении литературы произошел переход от более низких к более высоким уровням организации текста, но и в том, что постепенно наряду с выделением приемов плана выражения в исследование постепенно вовлекалось функциональное и семантическое значение/значимость этих приемов, а также учет условий, при которых «бытовые факты» становятся «литературными фактами» (Ю.Н. Тынянов). Но поскольку тем самым оказался затронут – как верно подчеркнул Й. Иве – аспект, входящий в ведение теории коммуникации<sup>18</sup>, то обращение и к другим средствам коммуникации, как, скажем, кино (в том числе им занимались Ю.Н. Тынянов и В.Б. Шкловский) или же обусловленным социальными условиями или традицией «текстам фольклора» (П.Г. Богатырев) было лишь делом времени. «Итог», который Ю.Н. Тынянов и Р.О. Якобсон подвели в тезисах 1928 г.<sup>19</sup>, с одной стороны, закрепил достигнутый уровень развития, в то же время указывая, с другой стороны, на возможность дальнейшего совершенствования. Причина этого заключена скорее всего в *двух операциях*, которые вновь вызвали дифференциацию теоретической базы, а также расширение объема изучаемого материала. Первой операцией было явное заимствование проведенного Соссюром различения «языка» (*langue*) и «речи» (*parole*), а также признание (гипотетическое допущение) структурной однотипности «языковых» и «литературных» систем. Вторая (вполне понятная в свя-

<sup>18</sup> См.: *Ihwe J. Linguistik in der Literaturwissenschaft*. С. 116, 125 и др.

<sup>19</sup> Тынянов Ю.Н., Якобсон Р.О. Проблемы изучения литературы и языка // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977.

зи с первой) операция заключалась в принципиальном допущении скрещивания лингвистической терминологии (такой, как синхрония, диахрония, индивидуальная/общая или коллективная языковая норма) с литературоведческими единицами структурирования (ряд, дифференциация рядов, нормы «более высокого» порядка и др.). Понятия «норма», «инвариант/вариант», «доминанта» подвергались при этом имплицитной и эксплицитной актуализации и еще больше, чем прежде, выдвигались на первый план в методологии и в конкретных исследованиях. Дифференциация норм на нормы языка и нормы речи уже тогда наметила возможность скорого перехода от индивидуальных и коллективных норм к нормам универсальным (ср. позднее так называемые антропологические константы Я. Мукаржовского).

Хотя этот подход уже в своих зачатках носил широкомаштабный характер, многое из этой концепции осталось лишь на программном уровне, и теоретические положения, как и намеченное расширение предметной области исследований, не были систематически и последовательно реализованы (ср., например, не исследованное более детально соотношение внутри- и внетекстовых связей); историко-литературная спецификация теоретических положений была осуществлена лишь Ю.Н. Тыняновым применительно к стихотворному языку. Правда, произошло углубление разработки историко-литературного понятийного аппарата<sup>20</sup>.

Совершенно без внимания остался вопрос соотношения языкознания, литературоведения и семиотического подхода, существовавших одновременно. Это очень ясно проявляется в развитии литературоведческой терминологии в ходе эволюции формалистской концепции: формалисты, как правило, пользовались традиционными терминами литературоведения (филологии, в частности теории стиха, риторики и т. д.) и столкнулись с лингвистической терминологией в области стилистики, однако заимствовали лингвистические или даже семиотические термины («знак») лишь спорадически. Причина этого заключается не столько в особенностях концептуального подхода, сколько в недостатке рефлексии по поводу характера связи между исследовательской терминологией, необходимостью последовательности систематического анализа (возможность сознательного порождения информации или знаний в зависимости от характера методики анализа) и возможностями отображения. Видимо, этим объясняется также и то, что «семиотический подход» у этнолога П.Г. Богатырева (с 1923 г.),

<sup>20</sup> См.: *Ihwe J. Linguistik in der Literaturwissenschaft*. С. 327.



у лингвистов СИ. Бернштейна (1927), Б.А. Ларина (1924), Г.О. Винокура или философов П.А. Флоренского (1923), В.Н. Волошинова (1927 и след.), П.Н. Медведева (1928), М.М. Бахтина (1929)<sup>21</sup> и других, подобно тому как и изначально «семиотическое» мышление теоретиков авангарда в художественном искусстве того времени (например, у Л. Лисицкого в 1923 г.)<sup>22</sup> – в отличие от футуристических по своим истокам рассуждений – не нашло тогда должного понимания в своих научных возможностях и тем самым оказалось на десятилетия потерянным для теории литературы. Конечно, можно констатировать, что уже работы Ю.Н. Тынянова 1923–1924 гг.<sup>23</sup>, а в полной мере тезисы, которые он опубликовал совместно с Р.О. Якобсоном в 1928 г. (см. выше), были структуралистскими как в смысле более позднего пражского структурализма, так и гораздо более позднего советского структурализма 60-х годов. Однако в то же время нельзя не признать, что этот подход, во-первых, не был достаточно удачно разъяснен, почему и возможность была «упущена», и, во-вторых, что касается собственно методологии, не были обсуждены предпосылки и нормы научной работы в приложении к систематическому построению литературной теории. Когда же к концу 20-х годов борьба с формализмом в России усилилась, его представители стали терять и чисто материальные возможности развития своего начинания в области теории литературы.

## Пражский структурализм<sup>24</sup>

Нисколько не удивительно, что после этой мнимой неудачи русского формализма в Праге на семиотической основе возник структурализм, который опирался как на достижения формализ-

---

<sup>21</sup> См.: *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. – М., 1971. С. 5 и сл.

<sup>22</sup> См.: *Lisitzky El.* Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, Schriften. – Dresden, 1967. S. 335; указанием на это место, как и многие другие, я обязан диссертации Р. Грюбельса: *Grübeis R.* Russischer Konstruktivismus. – Wiesbaden, 1981.

<sup>23</sup> *Тынянов Ю.Н.* Проблема стихотворного языка. – Л., 1924.

<sup>24</sup> См. также: *Schmidt H.* Das «Drei-Phasen-Modell» des tschechischen Strukturalismus // *Issues in Slavic literary and cultural theory* / Ed. by K. Eimermacher, P. Grzybek, G. Witte. – Bochum, 1989. S. 107–152.

ма, так и на собственную, чешскую литературоведческую и искусствоведческую традицию; не следует забывать при этом также влияние теоретических дискуссий, связанных, с одной стороны, с такими мыслителями, как Гуссерль и Ингарден, а с другой стороны – с Пражской школой функциональной лингвистики (которая в свою очередь также испытала влияние Бодуэна де Куртенэ и де Соссюра). Семиотически ориентированный пражский структурализм отличался прежде всего тем, что придавал особое значение эстетическим аспектам искусства и литературы и их *взаимосвязям* со всеми прочими *формами общественных явлений*. Тем самым сознательно создавалась основа развития нового, в равной степени структуралистского и семиотического литературоведения и искусствознания. Поэтому при сравнении русского формализма и пражского структурализма могло бы возникнуть впечатление, что речь идет не о преемственности, а о типологически достаточно удаленных друг от друга научных направлениях. Однако проведение жесткой границы между русским формализмом и пражским структурализмом не менее проблематично, чем, скажем, утверждение, что русский формализм и пражский структурализм являются носителями разных концепций. На самом же деле следует различать принципиально сходные концепции обоих направлений, действительно отчасти разные постановки проблем и аспекты анализа, а также терминологический аппарат, который (правда, более внешне) в обоих направлениях достаточно различен, однако в основе своей служит обозначению сходных ситуаций.

Может быть, не сразу бросающейся в глаза, однако существенной характерной чертой пражского структурализма является *сознательное и относительно систематическое формулирование исследовательских принципов* для литературных и эстетических предметных областей, которые служили отправной точкой и для русского формализма, не выделившего их, однако, с такой ясностью в качестве методологических основополагающих элементов своей исследовательской системы, как это сделал пражский структурализм (ср. понятия «системный», «функциональный» в приложении преимущественно к внутритекстовым связям; доминанта/смена доминанты, иерархия/изменение иерархического порядка, диалектическое напряжение, взаимная корреляция элементов и т. д.).

Вторая примечательная черта пражского структурализма проявляется в *расширении объектной области* изучения. В первую очередь речь идет о «*социальной среде*», т. е. об условиях «*лите-*

*ратурной жизни*», в частности о влиянии литературы на «жизнь», или «целостность» социального и культурного бытия, равно как и их влиянии на литературу. В конечном счете дело было во взаимосвязях, существующих между всеми этими областями. В то же время сохраняется приверженность формалистской позиции, согласно которой развитие отдельных «рядов» (или, как они теперь называются, «структур») проходит до некоторой степени «автономно».

Третья особенность заключается в том, что вопрос о структуре значения литературных текстов, поставленный Ю.Н. Тыняновым, получает новый смысл, его детальные моменты значительно уточняются и углубляются с учетом новых аспектов. Особенно существенным при этом было различие «литературного текста как артефакта» (формальный уровень, план выражения) и его «значения», его *содержательной конкретизации* или, как это также выражалось, «семантического жеста», «эстетического объекта», который возникает лишь в конкретизирующих действиях воспринимающего субъекта. Различение остающегося, как правило, самождественным «артефакта» и его актуальной конкретизации как «эстетического объекта» предполагало гораздо более четкое, чем это было у формалистов, активное включение коммуникативных аспектов и тем самым делало необходимым анализ и описание факторов, обеспечивающих коммуникацию. Это влекло за собой обращение не только к общим условиям коммуникативных процессов, но и ко всем видам специфических нормативных систем, а именно тех, что играют определенную роль в эстетическом или социальном аспекте; поэтому особое внимание уделялось реконструкции и изучению индивидуальных и коллективных *нормативных систем*, определяющих структурные особенности отдельных произведений, жанров, эпох и т. п. как с позиций автора, так и с позиций реципиента.

Наконец, в-четвертых, принципиальное значение имело то, что описание общих и частных способов функционирования литературы и искусства строилось на основе теории знака. Происходило это прямо-таки с необходимостью, с одной стороны, в силу учета коммуникативных предпосылок конкретизации артефактов, которая, в принципе, в каждом случае может быть различной, что обусловлено исторически постоянно изменяющимся культурным контекстом реципиента; с другой стороны – в силу учета специфической корреляции, существующей между «артефактом» и «эстетическим объектом». Оба момента по причине их взаимо-

действия – что было замечено уже Ю.Н. Тыняновым – были в конечном итоге причиной того, что значение отдельных слов, входящих в некоторый текст, сначала расщеплялось – в соответствии с тем, что создавало связность текста – на отдельные семантические компоненты, а затем подвергалось новой, иной акцентуации; в результате возникали новые внутритекстовые «контексты», семантика которых могла активироваться и модифицироваться (вплоть до превращения в собственную противоположность); все возникшие этим или другим образом и объединенные в тексте как целом «значения» и создавали возможность новых «сложных смыслов», или, как это было бы выражено позднее в советском структурализме, «моделирующего» отражения действительности. Сложности детального описания «значений» (или процесса формирования значения) вызвали, по крайней мере теперь – впрочем, как и раньше, уже в попытках С.И. Бернштейна создать теорию декламации, – необходимость создания «нового языка», т. е. метаязыка, вместо того чтобы пользоваться словами в их «общеупотребительном значении», метаязыка, использующего по возможности «нейтральные понятия» и способного описывать смыслы, возникшие в рамках «искусства», «искусственно» (т. е. абстрактно) на основе семантических «признаков» или «пучков признаков», находящихся ниже или выше лексемного уровня: отдельное слово уже не обозначало каким-либо привычным образом определенный предмет действительности, оно «представляло» в литературном тексте некоторый «новый», «модифицированный» или даже совсем другой предмет; «естественное слово» оказывалось, таким образом, в данном тексте хотя и «знакомым», однако в то же время «модифицированным» словом и не только приобретало тем самым в гораздо более ясном виде, чем это происходит со словами, употребляемыми в обиходной речи в значительной мере «автоматически», признак «особой знаковости», но и было одновременно «знаком специфического смысла»; вместе с другими «знаками такого рода» оно и создавало в «системе текста» его «сложный смысл». Поэтому было вполне последовательным понимать «эстетический объект» как сложный знак с особой семантической структурой.

Итак, если русский формализм продемонстрировал скорее редуccionистскую тенденцию к сосредоточенности только на художественном произведении, выделяя и обсуждая исключительно литературные аспекты (впрочем, связи с «другими рядами» отмечались, на них указывали, но не исследовали), то пражский

структурализм действует, пожалуй, в духе экспансии, анализируя, наряду со смысловыми структурами, принципы функционального структурирования, а также связи с другими социальными сферами на основе норм (систем ценностей) или их противоречий и пересечений: немалый интерес проявляется к выявлению роли и значимости литературы и искусства в социальном контексте, включая эволюцию взаимозависимости всех аспектов, релевантных при конкретизации и функционализации «артефактов».

Дальнейшее развитие базирующегося на семиотике структурализма, или же превращение структурализма в семиотику, не проходило ни прямолинейно, ни однородно (т. е., скажем, – как можно было бы предположить, – от пражского структурализма через его французский вариант к советскому структурализму и семиотике): развитие пражского структурализма было прервано после Второй мировой войны «извне», под влиянием репрессивной советской культурной политики так называемого ждановского периода (до 1952–1956 г.). Структурализм вновь вернулся к жизни лишь в 60-е годы. Р.О. Якобсон, один из основателей русского формализма, бывший также одним из ведущих представителей Пражской школы, продолжал работу в русле лингвистического структурализма в США. Там он оказал в 60-е годы значительное влияние на современную лингвистику, углубив ее теоретические разработки. Французский структурализм, связанный с К. Леви-Строссом, получил решающий импульс от современной лингвистики, испытавшей влияние Р.О. Якобсона: одним из первых К. Леви-Стросс перенес принципы классификации, разработанные современной лингвистикой, на материал мифов с целью представить «мифологические представления о мире» в качестве «элементарных ментальных структур». При этом он предпринял попытку проинтерпретировать результаты, полученные формалистом В. Проппом при изучении «Морфологии [волшебной] сказки»<sup>25</sup>, «с точки зрения мифологии»<sup>26</sup>. В 60-е годы произошла дифференциация французского структурализма под влиянием наследия русского формализма, пражского структурализма и многочисленных эмпирических исследований, вызванных к жизни им самим.

<sup>25</sup> Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л., 1928.

<sup>26</sup> См. полемику между В.Я. Проппом и К. Леви-Строссом в кн.: *Propp V. Morfologia della fiaba*. – Torino, 1966.

## Русский структурализм

Советский структурализм, как и советская семиотика, развивался с конца 50-х – начала 60-х годов практически одновременно в лингвистике и языкознании. Обе эти линии развития не испытывали в то время – подобно французскому структурализму – влияния пражского литературоведческого структурализма: формирование литературоведческого структурализма в России происходило через сознательное возвращение к идеям русского формализма и через учет достижений кибернетики (теории информации), формальной логики и лингвистики; советский структурализм в лингвистике интенсивно впитывал результаты, полученные американской лингвистикой того времени, все более активно занимался параллельно с этим методологическими основами теории перевода, чтобы решить задачу машинного перевода, и расширил затем в рамках Московской школы (Вяч. Вс. Иванов, А.М. Пятигорский, И.И. Ревзин, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, А.А. Зализняк и др.) сферу своих интересов в теоретических аспектах, включив в нее семиотические основы лингвистической концепции де Соссюра, основы пражского (лингвистического) структурализма, Копенгагенской и Лондонской школы. Параллельно с этим шло освоение пионерских работ в области структурализма и семиотики в России (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.Д. Поливанов, П.А. Флоренский, П.Г. Богатырев, Р.О. Якобсон, М.М. Бахтин): П.Г. Богатырев, тесно сотрудничавший с Р.О. Якобсоном во время своего пребывания в Праге, активно работал в кругу названных ученых на протяжении 60-х и до начала 70-х годов. Другие – Р.О. Якобсон, М.М. Бахтин и В.Я. Пропп – поддерживали активные личные контакты с этим кругом. С 1962–1964 гг. «литературоведы» из Тарту и Ленинграда (Ю.М. Лотман, Б.Ф. Егоров и др.) тесно сотрудничали с «лингвистами» Московской школы (ср. совместные конференции и серии публикаций в Тарту) и пытались создать в теории и на практике структурную семиотику<sup>27</sup>. Особую роль при

---

<sup>27</sup> Воспоминания В.Н. Топорова о развитии семиотики 60–70-х годов больше внимания уделяют не систематическим аспектам деятельности «школы», а энтузиазму, связанному с прорывом в область знания, до того не освоенную наукой, однако в этих действиях было и много непоследовательностей, см.: «Вместо воспоминания» // Ю.М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. – М., 1994. С. 330–347 (особ. с. 338–339).

этом играли более ранние работы Р.О. Якобсона, П.Г. Богатырева, М.М. Бахтина, С.М. Эйзенштейна, дополненные, правда, рассуждениями Ю.Н. Тынянова и Я. Мукаржовского. Обобщая, можно сказать, что советский структурализм (семиотика Московской и Тартуской школ) представлял собой наиболее последовательную в методологическом отношении и охватывающую наиболее широкий круг изучаемого материала попытку выработки нового подхода в гуманитарных науках послевоенного времени; одновременно это был синтез результатов русского формализма, пражского и французского структурализма, а также других направлений. Для этого подхода характерно ярко выраженное методологическое сознание, следование далеко идущим целям и абстрактный характер концептуальных оснований.

Принципиальные смыслообразующие предпосылки литературных/эстетических текстов, наиболее четко выявленные Ю.Н. Тыняновым и Я. Мукаржовским, развивались теперь под влиянием кибернетики, теории информации и лингвистической теории коммуникации Р.О. Якобсона и последовательно переносились на самые различные области гуманитарных и социальных наук, в более широком смысле – даже на все формы культурных явлений, расширяясь до создания теории методов получения знаний в науке и исследования смыслообразования с помощью «текстов» вообще, включая изучение структуры знаний, порождаемых текстами (ср. принципиально сходный подход у Р. Барта в его работе «Структуралистская деятельность») <sup>28</sup>.

Эти исходные позиции придавали исследованиям, в сравнении с русским формализмом и пражским структурализмом, гораздо более универсальное значение. С этого момента исследовательский интерес был направлен не только на то, «как сделаны с формальной стороны» литературные и другие художественные «тексты», и не на их функциональную значимость, и не только на системную связь элементов текста и их значение для содержания или на характер «поэтической/эстетической» функции и ее роль во взаимодействии с «другими» функциями, но распространялся на все «тексты», способные на основе своего знакового характера функционировать в процессе коммуникации. Тем самым «художественные» тексты не только приобретали статус определенного типа текстов, но и уравнивались со всеми другими «текстами». Универсальные и специфические черты формальной структуры

---

<sup>28</sup> Kursbuch. 1966. № 5. S. 190 ff.

текстов с различными функциями могли быть соотнесены друг с другом так же, как и структура их ментального содержания. Поэтому этот подход в конечном итоге предполагал не только общую теорию элементов текста, текстов и типов текстов, но и теорию человеческого сознания и требовал исследования возникновения и развития текстов и исторически обусловленных форм сознания, начиная с их мифологических истоков и заканчивая вопросами смыслообразования с помощью специфических (например, поэтических, научных) способов структурирования текста, исследования вопросов о границах и возможностях творческой деятельности, обучения, идеологической манипуляции и т. д.

При сочетании столь глобальных (в принципе) интересов исследования и неразвитости всех известных в частных науках инструментов анализа и отображения чрезвычайно важное значение приобретала – подобно пражскому структурализму, который, однако, работал на гораздо более ограниченном материале, – единая концептуальная и понятийная база, которая к тому же давала преимущество синтеза полученных в результате исследований результатов. В связи с этим особую существенную роль сыграл конструктивный перенос разработанного Р.О. Якобсоном функционального и бинарного анализа на поэтику и семиотические исследования. Сходное влияние на развитие семиотики в начале 60-х годов сыграли также рассуждения Вяч. Вс. Иванова, направленные на дальнейшее повышение уровня абстракции семиотических основ лингвистического структурализма и расширение сферы их приложения на все системы, носящие знаковый характер (такие, как литература, изобразительное искусство, кино и т. д.). Тем самым перед семиотикой была поставлена задача заниматься системами, которые служат человеческой коммуникации (сохранению, передаче и получению информации) и особенности которых могут быть определены по их структуре. Решающим для сравнимости этих систем было принятие положения, согласно которому они построены по в значительной степени однотипным (универсальным) или более или менее сходным принципам, которые могут быть типологически обобщены, однако в конкретных текстах доминируют и выполняют текстообразующую функцию по-разному; эти системы обладают свойством на основании определенных сочетаний семантических признаков выполнять прагматические функции (ср., например, лишь в тенденции стремящуюся к стабильности связь плана выражения и плана содержания отдельных слов естественного языка и обратную тенден-



цию в литературных текстах, порой даже доходящую до почти полного разрушения этой связи, как в поэзии футуристов). Подобные способы моделирования, в основе которых лежат определенные конвенциональные или поддающиеся конвенционализации нормы, могли теперь быть подвергнуты систематическому и концептуально однородному анализу на предмет наличия характера правила у операционализированных действий, таких, как отбор, сегментация, комбинация или трансформация знаков и знаковых отношений, а также на предмет видов модификации отношений между планом выражения и планом содержания.

Экспансия исследовательских позиций структурной лингвистики привела – как уже раньше можно было не раз наблюдать – и в этом случае к «сдвигам» не только в терминологической системе лингвистики, но и ряда других наук (в том числе литературоведения, кибернетики, теории информации), отчасти она подверглась трансформации в ходе многочисленных переименований, отчасти – сложным наложениям одних систем на другие, их комбинациям. В русле этих тенденций, например, такие структуралистские понятия, как «язык», «синтаксис», получили совершенно универсальный характер и могли теперь обозначать на более высокой ступени абстракции, будучи «семиотическими понятиями», уже не только – как это было первоначально – свойства, относящиеся к определенным уровням языковой структуры, но и свойства текста, находящиеся выше уровня предложения (макροструктурные) или ниже уровня слова (например, уровень сем или другие микроуровни).

В основе трансформации или новой формулировки формалистских терминов лежало – как и в других случаях заимствования понятий и их трансформации – стремление повысить уровень четкости всего терминологического аппарата, с тем чтобы исследования носили более систематический характер, чем прежде (ср., например, сформулированные Ю.Н. Тыняновым понятия «семантического ядра» и «вторичных семантических признаков» [= эмоциональная окраска коннотативных элементов], вновь появляющиеся у Ю.И. Левина в виде «сем максимального [или минимального] веса») <sup>29</sup>. Если в этом случае речь идет лишь о новой формулировке с целью большей систематизации, то при замене

---

<sup>29</sup> Левин Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах II: Материалы к изучению поэтики О. Мандельштама // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1969. № 12. С. 111.

формалистской формулировки (имеющей отношение к количественно различным по своему объему объектам, в том числе историко-литературным процессам) «на таком-то фоне то-то и то-то имело такое-то и такое-то значение» на понятийную пару «центр/периферия» произошло включение еще одной операции. Хотя и в этом случае первоначально из «более длинной формулировки» лежащее в ее основе «абстрактное ядро» выражается в краткой биполярной форме, однако в дальнейшем эта понятийная пара интерпретируется как гипотетический структурирующий принцип универсального характера, приложимый ко всем мыслимым отношениям, выступающим в качестве специфических для систем, уровней, текстов или эпох. То есть – и это универсальная черта семиотики – сделанное при анализе конкретного материала наблюдение получает с помощью простых или многоступенчатых операций абстрактную формулировку универсального принципа организации и в систематической форме переносится в ходе анализа на рассматриваемый предмет.

Эти немногие примеры легко можно было бы умножить, и они ясно показали бы, что изменение направлений научных исследований в сочетании со строго проведенным расширением предметной области не только с необходимостью ведет к систематизации и большей абстрактности понятийной системы, но и к заметному преобразованию ее внутренней структуры. Этот процесс преобразования в то же время связан с систематической методологической рефлексией (ср. также развитие современной логики и теории науки) и целеустремленным применением ее результатов. Следует особо подчеркнуть, что благодаря этому развитию многое из того, что в русском формализме и пражском структурализме было лишь программным заявлением, оказалось разработанным теоретически и благодаря многочисленным эмпирическим исследованиям достаточно детально, приобрело более абстрактные, чем прежде, формулировки, а полученные таким образом результаты были согласованы друг с другом. Ряд вопросов был рассмотрен точнее и стал тем самым яснее (ср. хотя бы ставшее только благодаря этому развитию возможным ясное различение плана выражения и плана содержания, или осознание динамического, т. е. меняющегося в зависимости от различных факторов характера отношений, существующих между планом выражения и планом содержания, или же четкую дифференциацию языка-объекта и метаязыка и т. д.). Открылись (не в последнюю очередь благодаря работам Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топо-

рова<sup>30</sup>) и совершенно новые результаты (ср., например, работы о мифологических истоках и архаическом характере определенных бинарных оппозиций как формальных и семантических/идеологических возможностях организации текстов, которые частично и по сей день сознательно или бессознательно участвуют в определении форм отбора микро- и макротекстуальных единиц; ср. в связи с этим также мотивированность определенных «поэтических» символов).

Хотя этот процесс структурных преобразований был и остается плодотворным и необходимым для дальнейшего интенсивного развития гуманитарных наук, однако для тех, кто не обладает научной подготовкой и не прошел школы методологии, он нередко превращается в проблему, в необходимость усвоения еще одной (как кажется) новой «системы», «метода», или же нового терминологического аппарата. Нередко это вызывает замешательство: вместо подручного средства для максимально быстрого понимания содержания текста такой человек обнаруживает, что всякое основательное углубление систематичности научного исследования с необходимостью вызывает рост усилий, необходимых для проведения такого исследования. В связи с этим, конечно же, возникает вопрос, до какой степени имеет смысл использование большого терминологического аппарата для масштабных исследований, аппарата, который хотя и может быть охарактеризован как чрезвычайно «научный» и позволяет ожидать результатов, с одной стороны, очень тонких, однако, с другой стороны, если сравнить итог со сложностью предмета исследования, производящих впечатление достаточно бледное. Но речь при этом идет не о поддающихся простому решению альтернативах, поскольку в конечном итоге вопрос о смысле и пользе подобных исследований решается конкретно применительно к каждому случаю и с учетом поставленных целей.

Однако вопрос о смысле и цене более или менее систематического изучения текста – не только проблема «непосвященных», но в той же мере касается и самого исследователя. Тем не менее до тех пор, пока систематичность и доказательность научного исследования обладает принципиальным положительным смыслом,

---

<sup>30</sup> См. подробнее: *Eimermacher K. Arbeiten sowjetischer Semiotiker der Moskauer und Tartuer Schule. Kronberg/Ts., 1974;* (в соавт. с Шишковым) *Subject bibliography of soviet semiotics: The Moscow-Tartu school. Ann Arbor, 1977;* см. теперь также библиографию семиотических публикаций в изд.: Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская школа. – М., 1994. С. 504–537.

дальнейшая детализация исследований, сопровождаемая все большей дифференциацией и абстракцией понятийных систем, встречать препятствий, судя по всему, не будет. Несмотря на это интенсивное понятийно-методологическое развитие, и сегодня сохраняет свое значение та цель, которая впервые была обозначена формалистом Ю.Н. Тыняновым в 1924 г. (правда, его формулировка относится главным образом к стихотворному языку): «анализ специфических изменений значения и смысла слова в зависимости от самой стиховой конструкции»<sup>31</sup>. Это почти 50 лет позднее сходным образом было выражено структуралистом Ю.М. Лотманом, правда, было *expressis verbis* связано им с лежащей в основе этой деятельности общей проблематикой анализа «текста» и «значения»: «Дать общий очерк структуры художественного языка и его отношений к структуре художественного текста, их сходства и отличий от аналогичных лингвистических категорий, то есть объяснить, как художественный текст становится носителем определенной мысли – идеи, как структура текста относится к структуре этой идеи, – такова общая цель, в направлении которой автор надеется сделать хотя бы некоторые шаги»<sup>32</sup>.

В то время как проблема «стара», поворот к принципиальным основам анализа является у Ю.М. Лотмана (и с еще большей ясностью у других представителей семиотики) специфической чертой русской семиотики; этим отчасти объясняется и определенная абстрактность основного концептуального ядра, проглядывающего сквозь многочисленные подчеркнуту эмпирические и насыщенные конкретным материалом исследования.

*Перевод: Сергей Ромашко*

---

<sup>31</sup> Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – М., 1965. С. 22.

<sup>32</sup> Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. С. 11–12.

# Творчество в науке и искусстве. К вопросу о знаках в различных семиотических системах\*

Явление человеческой креативности нельзя объяснить ни путем его непосредственного наблюдения, ни путем логических умозаключений. По этой причине его анализ требует не только новой формулировки проблемы, но и точного выбора объекта исследования, с помощью которого можно будет изучать креативность. Наиболее уместным кажется рассматривать не саму креативность, а предпосылки творческой деятельности в науке и искусстве. Поскольку общей функцией этих двух сфер человеческой культуры является познание мира, к которому они, впрочем, подходят различным образом, вопрос о предпосылках творчества сводится не только к этим самым подходам, но и к тем методам, которые могут быть в той или иной степени наглядно представлены и классифицированы исходя из их сходств и различий. Однако рассмотрение творческого процесса не должно ограничиваться необходимыми для него условиями и его результатами. Следует также учитывать обстоятельства, которые ограничивают творческую деятельность или даже делают ее невозможной. Интерес, таким образом, состоит не просто в типологическом аспекте знаковых систем с различными проявлениями креативности, а еще и в операциях по преобразованию знаков, которые не требуют особого творческого подхода.

Дальнейший анализ будет базироваться на двух допущениях: во-первых, что человеческую креативность можно рассмотреть (и проанализировать) на материале ее «знаковых» выражений; во-вторых, что имеет место сосуществование или взаимодействие творческой и нетворческой деятельности.

Все перечисленные вопросы и гипотезы теснейшим образом связаны. Поскольку они относятся не к элементарным, а к сложнейшим явлениям, таким как искусство и наука в целом, ответить

---

\* Из: Koch W.A. (Hg.). Mechanismen kultureller Entwicklungen. Skizzen zur Evolution von Sprache und Kultur. – Bochum 1996 (BBS, Bd. 46), 15–22.

на них довольно трудно. Количественная характеристика и построенное на ней разграничение этих обширных областей исследования («наука» и «искусство»), а также их раздробление на «художественные» или «научные» тексты принесут немного пользы, так как ключевые структурные и функциональные критерии, различные с семиотической точки зрения, оказываются слишком многогранными, комплексными и потому не в полной мере распознаваемыми и доступными для разбора.

Чтобы немного облегчить задачу в дальнейшем, начнем не с самого сложного, а со сравнительно простого вопроса. Основы для рассмотрения в значительной степени должны составить формальные условия для возникновения знаков и операций с ними в различных семиотических системах («текстах»). Предполагается, что в качестве цели выступает не прояснение всех связанных с этой темой аспектов, а лишь приблизительная формулировка проблемы, на которую следует обратить внимание.

Вот два первых вопроса: какие виды знаков существуют и как образуются связи между знаками различного характера в художественных и научных текстах?

Знаки как элементарные единицы семиотических систем («текстов») можно разделить на три базовых категории по типу их окружения:

- 1) *знаки*, или ситуации, в которых присутствует знак;
- 2) *не-знаки (нулевые знаки)*, или ситуации, в которых нет знака;
- 3) *отсутствующие знаки (минус-знаки)*, или ситуации, в которых знак потенциально возможен или даже ожидаем, однако в действительности не представлен; знак не реализован и потому отсутствует.

Эти виды знаков, или условия их существования, нуждаются в дополнительном комментарии:

– Кажется очевидным, что *знаки* и *не-знаки* (см. выше, пп. 1–2) могут иметь место только в тех случаях, когда их окружение представляет противоположность, то есть является *не-знаком (нулевым знаком)* или *минус-знаком (отсутствующим знаком)*.

– Должно быть также понятным, что *минус-знаки* могут появиться только в тех ситуациях, когда для наличия знака есть необходимые условия, но они не реализуются, то есть его отсутствие прямо или косвенно маркировано. Иначе говоря, знака нет не в полном смысле слова: несмотря на свое «отсутствие», он в принципе (то есть в сознании) присутствует. Другая предпосылка для *минус-знака* – так же, как и для (реализованного) *знака*, – его

вхождение в состав системы знаков («текст»). К *не-знаку* это условие не относится.

– Всем трем видам знаков свойственно, что они могут быть *знаками* только в случае внутреннего разграничения, когда они изолируют друг друга и демонстрируют тем самым дискретный, заметно различный характер. Если признак дискретности не выражен эксплицитно, *знак* становится *не-знаком* или *минус-знаком*; если он полностью отсутствует, знак перестает быть знаком вообще.

В дополнение хотел бы напомнить и о следующих аксиомах:

– Бесспорно, что *знаки* представляют объекты, явления или другие знаки.

– Не поддается также сомнению, что характер репрезентации в определенной степени произволен и при нормальных обстоятельствах регулируется известными механизмами (кодами). Коды формализуют отношение между *означающим* и *означаемым* или между *знаком* и *знаком* (включая *не-знаки*), то есть в широком смысле между компонентами *системы знаков*, а также все методы их репрезентации, включая самореференцию.

Как уже было сказано, при соблюдении нормы репрезентативный статус знаков и сочетаний знаков контролируется общепринятыми механизмами, в противном случае коммуникация была бы затруднена или невозможна. Тем не менее в коммуникативных актах обсуждаемый здесь регулярный характер основополагающих механизмов никогда не выражен на сто процентов. Если же мы имеем дело с правилами, которые – говоря языком формальной логики – устанавливают между знаками и их комбинациями взаимно однозначное соответствие, то они в действительности не делают возможным сам коммуникативный процесс, а лишь управляют сочетанием предложений (высказываний) в четко заданных условиях – отвечают не за передачу информации, а за принятие выбора между «истинно» и «ложно» в логической терминологии. Несмотря на то что каждый вид коммуникации в то же время зависим от более или менее строго установленных кодов, изменения во внешне регламентированном взаимоотношении *знаков*, *не-знаков* и *минус-знаков* не только допустимы, но и часто служат одной из предпосылок для распространения и получения знаний, – разумеется, при условии, что подобные трансформации не приводят к устранению собственно коммуникативной функции.

На этом этапе анализа должны быть наконец сделаны некоторые оговорки и введены дополнительные критерии: использованные

обороты *более или менее, как правило, при нормальных условиях* уже указывают на то, что каждое правило оставляет пространство для отклонений, благодаря которому не каждое нормообразующее ограничение требует беспрекословного соблюдения. Впрочем, это пространство не может быть вовсе лишено рамок и регулирующих механизмов. В отношении упомянутых видов или условий существования знаков можно сделать следующий вывод: в строго регламентированных (хотя не всегда и не обязательно) знаковых сочетаниях (системах знаков) не может возникнуть ничего нового, а может быть повторено только уже известное – возможности создать нечто оригинальное в принципе практически нет. Обобщая, можно сказать так: постоянное исполнение принятых коммуникативных норм связано с минимальным количеством инновационных изменений в механизмах общения и сильно ограниченной способностью к появлению существенно новых точек зрения. По всей видимости, набор закрепленных, упорядоченных коммуникативных форм сопровождается набором определенных возможностей по совершенствованию коммуникативных систем / средств информации («текстов») и мировоззрений. Из этой гипотезы следует, что креативная деятельность возможна только в тех случаях, когда конвенциональные методы описания явлений с помощью знаков в той или иной степени нарушаются. Само нарушение может являться либо заметной модификацией, либо, как в случае радикально новых художественных текстов, попранием почти всех норм.

Два уточняющих замечания к феномену *нарушения*, чтобы избежать возможных недоразумений:

1. Конечно, каждое отрицание или объявление нормы *не-нормой* (так же, как при предъявлении *минус-знака*) всегда прямо или косвенно устанавливает новую норму (и тем самым в принципе новую систему правил). Использование этой возможности – любимый прием многих вдохновленных авангардом художественных и в целом культурных процессов (ср. заявления о бесцельности существующих систем знаков как предпосылки для их переосмысления: «роман мертв, да здравствует роман»; замену знаков жизненными ситуациями в функции знаков в художественных текстах; осознанное смешивание «жизни» и «искусства» и т. д.). Отказ от общепринятых систем знаков и кодов связан в данном случае с созданием абсолютно новых или выдаваемых за таковые. Здесь имеет место перемена, «граница», предшествующая возникновению отдельных неконвенциональных компо-



нентов текстовых систем и способствующая наделению «устаревших» или по-другому использованных знаков, знаковых категорий и кодов новыми функциями, а в крайнем случае – к их превращению в собственную противоположность.

2. Каждое нарушение обнаруживает свой предел там, где оно приводит к полному разрушению дискретности, то есть уничтожению знаков и (разграниченных) систем знаков, в результате чего возникает хаос и знаки как таковые целиком искореняются.

Из сказанного можно сделать следующий вывод: пространство для творческой деятельности возникает на основе в различной степени допустимых нарушений использования знаков и их комбинаций, то есть заметного расширения существующих коммуникативных норм.

Перейдем теперь к наиболее общим условиям, обеспечивающим творческую деятельность с точки зрения знаковых систем. Они касаются воспроизведения, представления и предпосылок креативных идей, которые развивают системы знаков, создают новое мировоззрение или новые миры.

Как мы видели, творчески обусловленное изменение или нарушение принятых знаков или комбинаций знаков может выражаться в различных формах. Не претендуя на завершенность списка, обозначим следующие ситуации:

- нарушение может состоять в попытке создания абсолютно новых знаков вне существующих норм;
- нарушение может заключаться в трансформации репрезентативных свойств общепринятых знаков;
- нарушение может открывать возможности для новых, неконвенциональных принципов сочетания знаков и т. д.

Общим свойством для всех этих нарушений (операций) является изменение обособленного характера знаков, в результате чего возникают новые виды обособленности и новые возможности представления и интерпретации явлений. Другими словами: именно *граница*, а точнее, *смещение границы* как между означаемым и означающим, так и между отдельными знаками дает возможность модификации семиотических систем («текстов»). Граница между компонентами знака (его внешней и внутренней стороной), между одинаковыми, схожими и различными знаками, которая с формальной точки зрения обеспечивает их самостоятельность, подразумевает возможность их использования в реализации творческих замыслов и тем самым в оживлении и развитии любых систем знаков.

На этом фоне становится понятным, что креативность как таковая базируется не только на самих знаках, но и, прежде всего, на изменениях границ, характере смещений между дискретными единицами (простыми, комбинированными и удаленными знаками). Таким образом, трансформация границ является непосредственным условием для творческой деятельности. Если границы строго статичны, то существенные инновации невозможны – так же, как и фундаментальное развитие знаков и знаковых систем.

При данном положении дел интересным случаем оказывается привязанная к правилам игра (карточные игры, шахматы и т. д.), где ряд ограничений, с одной стороны, сужает возможности для свободных ходов и инноваций, а с другой – обеспечивает огромное количество разнообразных вариантов развития игры, по всей видимости, ставя ее в промежуточную позицию между нормативной коммуникацией и многоуровневой игрой в искусстве и литературе. Очевидно, что в настольных играх на заднем плане находится более или менее скрыто соблюдаемая система правил, выводящая на передний план максимальный вариативный потенциал. Взаимоотношение безвариантного и многовариантного путей позволяет с большой находчивостью использовать поле возможных ситуаций. Цель при этом состоит не в том, чтобы подвергнуть сомнению существенную основу системы правил и – в крайнем случае – фундаментально изменить функцию игры. Выход за рамки правил и возможных комбинаций исключен – в противном случае он повлек бы за собой создание новой игры с измененными правилами.

Игра в искусстве выглядит по-другому: в ней всегда может быть задействовано перемещение разделительных границ. За исключением некоторых жанров, которые по форме скорее ближе к карточным играм, искусство, как правило, стремится к деавтоматизации общепринятого использования знаков. Сюда относятся все виды художественной игры и все формы использования знаков с особой, художественной функцией. С упомянутыми здесь перемещениями границ связаны произведения с оригинальным текстовым оформлением (например, комедия, трагедия), все специфические текстовые направления (такие жанры, как гротеск, пародия и т. д.), а также смещение и стирание границ между ними, смешивание, наложение, полное переосмысление и т. д.

Здесь я мог бы рассмотреть почти всю терминологию литературы, искусства и показать на ней, какого рода отказ от традиции (подвержение сомнению, внесение неоднозначности, наделение

новой функцией или новой интерпретацией) привел к возникновению множества форм, последовавших за самыми различными творческими замыслами.

Коротко можно было бы сформулировать так: изменения в границах дискретных единиц, с одной стороны, открывают возможности, неотъемлемые для творческой деятельности, с другой – предполагают нарушение общепринятых принципов и появление коммуникативных неоднозначностей. При восприятии подобных инноваций смещение границ должно осознаваться или – если этого не происходит – служить основой для придумывания (установления) новых дискретных единиц. В противном случае никаких смысловых и логических цепочек не возникнет. Таким образом, возможность перемещения границ как предпосылка и свойство творческой деятельности не просто является качеством объектов исследования, но и в значительной степени зависит от способности зрителя распознавать знаки, их сочетания и их специфические особенности.

По этой причине недостаточно классифицировать знаки только по их виду и типу сочетаемости. Необходимо учитывать, что они, так же как и тексты, в которых они используются, являются компонентами более крупных систем, то есть других текстов, других знаковых комбинаций и, кроме того, должны рассматриваться как часть обширной области культуры. Проблемы точки зрения наблюдателя и способности вычленять знаки из сложных систем имеют ключевой приоритет при ответе на вопрос о том, как реконструировать творческие процессы, приведшие к созданию текстов.

В данной связи было бы целесообразно проверить (и этому аспекту может быть посвящена более подробная работа), как проявляется критерий изолированности знаков и их комбинаций с одной стороны в изобразительном искусстве, кинематографе и литературе, а с другой стороны – в научном дискурсе: в чем заключаются сходства и в чем – различия?

Что касается разницы искусства и науки в целом, то существенные расхождения между ними очевидны. Грубо говоря, языки объектов и метаязыки отражают абсолютно разное, а степень творческой свободы ограничена в науке заложенным в метаязыках требованием ясности, однозначного использования терминов и строгости выражения мысли, чего нет в художественных системах знаков.

Вопреки этой преобладающей тенденции, которая, в принципе, еще не была исследована детально, почти во всех художест-

венных произведениях и направлениях обнаруживаются тенденции к эксплицитному выражению идей, аргументированной позиции автора и привязке к метаязыку. Научные метаязыки, в свою очередь, также не всегда так строги и однозначны, как того требует научная теория последних десятилетий: в них (речь, конечно, идет прежде всего о гуманитарных дисциплинах) встречаются попытки отхода от требуемого соблюдения узких терминологических рамок. Поэтому неудивительно, а, возможно, даже естественно, что при стремлении к комплексной репрезентации и интерпретации явлений используются формулировки, традиционно свойственные определенным художественным способам изображения и анализа. Если же основное внимание уделяется освещению системных явлений или изучению характера отношений системного и бессистемного (то есть совершенно неинтерпретируемого), то метаязык исследования с большей вероятностью будет выполнять требования общей научной теории.

Предварительно мы можем утверждать: в очень разных по структуре и по задачам системах знаков и их текстовых выражениях имеют место изменения границ, которые, очевидно, связаны с особенностями дискретного характера знаков и со свойствами их трансформаций.

Именно поэтому при дальнейшем изучении креативности я бы предложил заняться вначале вопросом о возможностях творческой деятельности, отталкиваясь от дихотомии «знак – не-знак» и проявлений ее дуалистического характера в различных научных и художественных произведениях.

*Перевод: Даниил Бордюгов*

---

# Quo vadis?

## Размышления о ситуации в литературоведении\*

Об актуальном состоянии филологии, ее первоначальных и изменившихся с течением времени целях, а также о ее методологических предпосылках задумываются время от времени начиная с прошлого века. Стремление осознать то, что представляется само собой разумеющимся, связано в первую очередь с определением предмета науки, ее отношений с другими дисциплинами, отпочковавшимися от нее или возникшими самостоятельно, или же со степенью точности и адекватности используемой в ней понятийной системы. Выражением сознательной и систематической рефлексии по поводу этих усилий стали теперь уже многочисленные лингвистические и литературоведческие методы и направления, появившиеся в последние десятилетия. Всякий новый научный подход пытался как можно точнее и полнее описать и обобщить в некоторой теории предмет, именуемый языком или литературой, в их специфике и способе существования в универсуме культуры и общества, а также в их связи с психическими и мыслительными возможностями индивидуума, добиваясь этого через новый мета-язык или через постановку определенных, до того не пользовавшихся достаточным вниманием проблем. На этом тернистом пути познания одна из наиболее заманчивых и одновременно трудных задач для науки была связана с непокорностью художественных текстов, обусловленной в конечном итоге их сложностью.

Обрисует же еще раз вкратце общую проблематику и исходную ситуацию. Точно так же, как нельзя представить себе культуру без текстов, как правило, так же трудно представить себе и тексты без комментариев; указания (правила) к составлению текстов, критика текстов и их толкование должны способствовать

---

\* Из: Знак. Текст. Культура. – М., 2001. С. 157–169. В первоначальном варианте опубликовано: *Issues in Slavic Literary and Cultural Theory / Hrsg. von K. Eimermacher, P. Grzybek, G. Witte.* – Bochum, 1989. S. XIII–XXIII.

улучшению их эмоционального и идеологического восприятия. Тексты (в самом широком смысле), в особенности же художественные, представляют собой специфическую форму порождения, сохранения и передачи информации и являются, будучи основой любого вида коммуникации, одной из наиболее существенных составляющих культуры. Не умаляя их центрального значения для культуры, следует признать, что они в то же время оказываются очевидным выражением самого культурного развития. Тем самым они влияют на человека и сопровождают его – независимо от места и времени их создания – в его индивидуальной и коллективной работе сознания.

В качестве специфического, возникшего в ходе длительного развития средства передачи некоторого «содержания» тексты обладают свойствами, которые, с одной стороны, могут рассматриваться как положительные, с другой же – как недостатки. Так, обусловленная ограниченной отображаемостью явлений действительности, опосредуемых знаками, степень открытости или неопределенности текстов является решающей предпосылкой изменения и создания новых знаков, знаковых систем и знаковых моделей (текстов). Принципиально сходное свойство знаков и текстов, которые – по сравнению с действительностью – всегда оказываются лишь «редуцированным отображением», может быть в то же время причиной искаженного понимания знаков и текстов. Причина непонимания – в недостаточно адекватном воссоздании знаков и текстов в процессе восприятия (потеря информации, появление дополнительной информации, изменение информации).

Не в последнюю очередь потенциальная поливалентность (как в положительном, так и в отрицательном смысле) знаков и текстов, которая в литературных текстах может быть намеренно ограничена или же конструктивно расширена с помощью определенных художественных приемов, является причиной возникновения множества вторичных текстовых структур, а также метатекстов самого различного рода: они анализируют и интерпретируют специфический характер знаков, а также их позицию в контексте других знаков. В то время как выходящие за пределы отдельного знака внутритекстовые структуры наделены функцией членения (структурирования) текстов для достижения планируемого воздействия, метатексты наряду с интерпретацией знаков и построенных на их основе (знаковых) моделей (текстов) преследуют и такую цель, как выявление и систематизация универсальных свойств текстов. За этими операциями и целевыми установками

скрывается стремление в конечном итоге усовершенствовать наши знания о специфике смыслообразования с помощью текстов, о его эмоциональном, идеологическом и эстетическом воздействии.

В конце концов, не требуется какого-либо специального объяснения того обстоятельства, что интерес исследователя, сконцентрированный на текстах, не ограничивается и не может ограничиваться одними только текстами, а затрагивает тем самым все формы сознания, его формирования и развития, а также культуры в целом. Хотя и не обязательно в столь четко выраженной форме, в принципе так было всегда. Пусть еще отсутствовала универсальная семиотически ориентированная концепция текста, охватывающая явления сознания и культуры, все же тот факт, что тексты – даже понимаемые только как материальный носитель информации – обладают глобальным, тематически не ограниченным характером, с необходимостью делал тексты даже и без концепций такого рода предметом филологии или культурной антропологии. Другая, обусловленная внутренней динамикой науки, тенденция развития привела в конечном итоге к тому, что произошла дополнительная дифференциация и что тексты изучаются и другими, специализированными научными дисциплинами, так что первоначальное проблемное и предметное единство филологии было утеряно. В русле этого развития внутродисциплинарной специализации лежит и возникновение семиотики, однако тут есть одно отличие: она хотя и стремится в своей методологической сфере выделить прежде всего элементарные текстообразующие составляющие и положить их в качестве так называемого семиотического минимума в основу универсальной семиотической теории, однако в противовес тенденции частных филологических дисциплин к специализации семиотика помимо метода, понятийного аппарата и программного определения своего исследовательского подхода занята также поисками пути, который вернул бы нас к общей картине всех видов культурной активности человека. Поэтому наряду с поверхностной структурой текстов семиотика рассматривает и их глубинную структуру, а взаимосвязь различных уровней текста становится центральным предметом исследования. То, что прежде готово было распасться на все более систематически и утонченно разбираемые детали, с точки зрения семиотики и в соответствии с ее притязаниями оказалось наделенным статусом функциональных элементов более крупных структур. Тем самым текстообразующий знак мог изучаться и теоретически обобщаться в своей потенциальной и ре-

альной поливалентности в процессе коммуникации, а также в аспекте его динамического характера в рамках его многообразных трансформаций.

Рассуждения о художественных текстах, их анализе и интерпретации как феномене человеческой культуры имеют долгую традицию в истории филологии последних столетий. Этот процесс, включая функциональное разделение филологии на языкознание и литературоведение, продолжился в XX в. и нашел свое выражение во множестве концептуально очень различных попыток описания литературы вообще и литературных произведений в частности, с опорой на новую систематику и методологически как можно более строго построенные специальные языки. Изучение специфики литературы и ее развития в связи с этим оказывается в той же мере важным, как и получение знаний о человеке, его культурной деятельности и мире в его целостности.

Развитие литературоведения по крайней мере с рубежа XIX и XX вв. характеризуется рядом тенденций, не получивших соответствующего развития в прошлом веке и обусловленных углубленным рассмотрением литературы как модели психических и социальных структур, а также как коммуникативного средства, специфического в своих технических возможностях. Эти тенденции характеризуются:

а) в том, что касается продолжения ориентированных на содержание аспектов исследования, – попыткой «идеологической» интерпретации литературы как художественного выражения социального развития, стремлением рассматривать ее в качестве анализа якобы действительного состояния социальной и политической ситуации;

б) в качестве реакции и дополнения к систематизации мотивов, к историческим и сравнительным исследованиям – прежде всего более интенсивной рефлексией относительно статуса литературы в аспекте теории и методологии науки (философская значимость литературных текстов, соотношение текста и действительности, аксиоматика и цели литературоведческой деятельности, проблемы герменевтики, эстетики и т. д.);

с) все более сильной потребностью в теории, позволяющей через обобщение полученных результатов или гипотез достигать более объемного понимания изучаемого предмета чтобы противодействовать парцелляции и слишком сильной индивидуализации суждений о литературе;

д) в продолжение и развитие риторической традиции – ясно выраженными, постоянно повторяющимися попытками метаязы-



кового отражения целостности литературных текстов с помощью систематической терминологии, нацеленной на их специфику.

Как следствие этих тенденций мы наблюдаем:

е) появление все более растущего числа перспектив исследования, находящих отражение – в сочетании с развитием новых параметров исследования и потребностью во все более активной теоретической деятельности – во множестве литературоведческих концепций.

Несмотря на последовательность и линейную направленность подобных параллельных тенденций, не может не впечатлять и не удивлять тот факт, что история литературоведения в XX в. в то же самое время характеризуется непоследовательностью, забвением целых теоретических комплексов, фрагментарностью, односторонностью восприятия и переименованием, а то и сознательной фальсификацией результатов исследований.

В принципе можно сказать, что конечной целью всех указанных литературоведческих тенденций является совершенствование систематики и теоретического оснащения литературоведения. Однако, несмотря на это, обращает на себя внимание то обстоятельство, что при следовании этой цели развитие может принять направление, противодействующее большей доказательности и более высокому уровню обобщения. Ведь, например, тот, кто хочет добиться успеха новой концепции, часто умаляет ценность других концепций, игнорируя лежащие в их основе целевые установки и аксиоматику, и склонен рассматривать их «извне» или только на поверхностном уровне. В результате рассматриваемая концепция получает лишь видимость настоящей оценки, зато собственные предложения приобретают большую самостоятельность (заметим, что это явление любопытным образом достаточно сходно со стремлением художника быть неповторимым). С этой тенденцией связана и еще одна примечательная черта: постоянное изобретение новых литературоведческих терминов, что должно, по мысли их создателей, сделать определенную область литературоведения достаточно обозримой. При этом, однако, нередко оказываются затемненными явления литературного текста и литературы, прояснение которых и должно быть, собственно, целью исследования. В особенности это происходит в тех случаях, когда новые термины понятны только в рамках определенной концепции и не претендуют на достаточно высокую степень универсальности. То, что представляется мнимым совершенствованием метаязыкового анализа, оказывается в то же

время препятствием, преодоление которого требует затрат, не окупаемых получаемым результатом.

Противоречивость этих тенденций развития литературоведения более чем очевидна и, по-видимому объясняется в конечном итоге как вынужденной, обусловленной систематичностью, односторонностью любых литературоведческих концепций более строгого типа и их метаязыков, так и специфической структурой художественных текстов как социокультурно и исторически обусловленных предметов исследования; к тому же их индивидуальные, обусловленные меняющимися пространственными и временными факторами условия восприятия дополнительно повышают изначальную сложность культурных произведений этого рода.

Если взглянуть на развитие литературной теории в восточно-европейских странах, где это развитие и вне связи с его истоками также могло существенным образом влиять на ход литературоведческих дискуссий, направление которых, в особенности после Второй мировой войны, было сходным, то возникает – несмотря на в общем-то единые тенденции развития «по обе стороны» – впечатление, что существование литературоведческих концепций, которые, как кажется, противоречат друг другу, определенным образом оправдано.

Можно было бы решить, что так и не удавшаяся до сих пор попытка создания литературной теории, охватывающей все комплексы стоящих перед ней проблем, и единой – как в других дисциплинах – терминологии равнозначна неудаче литературоведения в работе со своими объектами исследования. Такой вывод представляется вполне логичным, если принять во внимание разнородность литературоведческих концепций и ограниченный характер применимости результатов специальных исследований.

Если сложности, с которыми сталкивается литературоведение уже на уровне своей предметной области в узком смысле, т. е. литературы и ее развития, более чем очевидны, то, конечно же, возникает вопрос, оправданно ли в этом случае вообще стремление расширить предметную область литературоведения таким образом, чтобы в нее оказались включенными явления человеческого сознания и культуры, с которыми литература также вступает в соприкосновение.

Несомненно, ответы на этот вопрос могут оказаться очень различными, и было бы, конечно, очень интересно осветить их при удобном случае с разных сторон. Однако обсуждению подлежит и вопрос как таковой, и можно на основании имеющегося опыта проверить, насколько он вообще имеет смысл. Разве кто-

нибудь заставляет нас создавать единую, внутренне непротиворечивую теорию литературы? Не означало бы это, что такая теория в состоянии убедительно «объяснить» любое литературное явление как в узком, так и в широком смысле, причем для каждого, кто «компетентен и доброжелателен» (Камбартель)? Однако если обратиться к легкоповторимому опыту, который приобретается при анализе и интерпретации одного-единственного, впаянного – в любом случае – в культурно-исторический контекст художественного текста, то легко увидеть, что число потенциальных параметров анализа и интерпретации достигает величин, которые по самым разным причинам делают систематическое представление и общепонятный контроль этих параметров невозможными.

Некоторые ученые, осознав это, заходят так далеко, что начинают говорить об уникальности художественного текста и невозможности его полного перевода (т. е. о наличии в нем вербально невыразимого компонента) и отказываются от обычно требуемых в науке объяснений, за исключением тех, что не переходят границы определенного минимума. Исходя из известного факта, что достаточно полное сближение между действием, которое текст должен производить согласно замыслу, и тем, которое он производит в действительности, является недостижимым на практике идеалом, они полагают необходимым условием понимания сообщаемого художественным текстом чужого опыта определенную конгениальность интерпретатора. Понимание того, что стопроцентное отображение текста и его смысловых потенциалов принципиально невозможно, порождает самоограничение, в результате которого в качестве цели рассматривается комментарий к тексту, который представляется еще «естественным» и реализуемым на практике.

Уже одни эти предпосылки понимания, а также знание того, что каждый новый вид восприятия предполагает возможность выбора принципиально иных параметров и их комбинации, как и то, что систематический инструментарий исследователя всегда способен охватывать свои объекты только в одной «плоскости проекции» (И.И. Ревзин), – все это дает достаточно оснований для того, чтобы существенно переосмыслить и заново сформулировать целевые установки литературоведческой деятельности. Хотя стремление человека к познанию явно побуждает его вновь и вновь пытаться спрессовывать знание в опирающиеся на гипотезы теории, однако возможно, что полученный за это время

опыт вполне мог бы также подсказать нам, что функция метатекста заключается не только в максимально полной интерпретации текста на языке-объекте, но прежде всего и в «естественном» взаимодействии текста и метатекста как выражении повседневной культурной деятельности. В этом случае текст и метатекст оказываются уже не только экспериментальным полем, предоставленным избранным – ведущим научную работу, – но и могут оставаться в их собственной культурной сфере, где их и будут изучать. Если понимать сосуществование текстов и метатекстов как одну из важнейших предпосылок взаимодействия в рамках культуры, то их значение оказывается обусловленным специфическим напряжением, существующим в их отношениях, характеризующихся, как правило, открытой, в значительной степени саморегулирующейся культурной информационной системой и подчиняющихся собственным культурным механизмам развития. Если понимать культуру как систему постоянного обмена информацией, которой, несмотря на наличие достаточно широкого базиса конвенционализированных правил понимания, присущи латентная открытость и противоречивость, обусловленные одновременным наличием дальнейших очень различных (индивидуальных, групповых, исторически обусловленных и др.) конвенциональных факторов, то тогда в ряде случаев существенной оказывается не столько полнота передаваемых сообщений, сколько их постоянно варьируемое порождение и восприятие. Поэтому систему культуры характеризуют, с одной стороны, определенная избыточность, выполняющая компенсирующую функцию при неполной или неудачной передаче сообщений, а с другой стороны – присутствующая в ней наряду с избыточностью энтропия, открывающая достаточно широкое поле действий для активации и динамизации сознания, что вызывает к жизни инновации на всех уровнях культуры.

Если исходить из подобной характеристики предметной области литературоведения, то в этом случае не будет вызывать удивления, если литературоведение перестанет безусловно и безраздельно отдавать предпочтение тому, что содержится в текстах как таковых, а обратит в большей мере, чем прежде, свои усилия на анализ механизмов понимания, а также на то, как повышается их чувствительность.

*Перевод: Сергей Ромашко*

---

# II

Попытки  
внедрить новые дисциплины  
образования и научных  
исследований в Бохумском  
университете (Германия)  
и в РГГУ (Москва)

---

Из выступления  
на открытии Института русской  
и советской культуры  
им. Ю.М. Лотмана,  
22 ноября 1993 г.\*

Хочу заявить с самого начала: перестройка не была причиной создания института. Может быть, в какой-то степени оказала влияние сама атмосфера, т. к. тогда – около четырех лет назад – она показала широким кругам, что из-за отсутствия информации нам чрезвычайно тяжело оценить перемены в Советском Союзе. Размеры страны, противоречивость ее истории, а также многогранность ее экономического, социального и культурного развития для большинства из нас всегда оставались книгой за семью печатями. И это несмотря на то, что Россия и Советский Союз имеют с Германией много общего, как «хорошего», так и «плохого».

Перестройка лишь еще раз актуализировала недостаток информации и таким образом, возможно, косвенно сопровождала идею о создании института, однако не была собственно его исходной точкой.

Идея такого института появилась значительно раньше и выкристаллизовывалась в течение более чем двух десятилетий.

Я хочу выделить лишь несколько ключевых пунктов, потому что они определяют профиль сегодняшнего института.

Начавшаяся в шестидесятые годы, в том числе и в славистике, четкая дифференциация между литературой и лингвистикой, а также соответствующая специализация углубили несоответствие между учебой, профессиональным образованием и самой жизнью. С этим я не мог примириться, как и с тем, что, например, научные и культурные явления были предметами различных,

---

\* Из: Synopsis operandi проф. Аймермахера. – М., 2002. С. 21–24.

чрезвычайно специализированных дисциплин, и познания об этих явлениях часто оказывались бессистемно связаны друг с другом. Было очевидно, что существующее расхождение можно было преодолеть только путем кардинального изменения выработанной филологической практики. Связанные друг с другом вещи следовало изучать и преподавать вместе. Конкретно это означало, с одной стороны, последовательное расширение предмета обучения и с другой, размышления о методологических основах его исследования.

Время для этого было благоприятным.

Мне повезло: центральную роль в этой ситуации сыграла книга, в которой были затронуты, а затем, на основе функционально понятых литературоведения и культурологии снова сведены вместе отдельные соображения по поводу преодоления расхождения между систематическими – а стало быть, очень узкими – анализами деталей отдельных наук и их более общего синтеза. Речь идет о «Лекциях по структурной поэтике» Юрия Михайловича Лотмана, которые он читал в Тарту (бывшем Дерпте) между 1958 и 1962 гг. Под влиянием этой книги я в последующие годы стал углубленно изучать русскую семиотику, задаваться методологическими вопросами современной лингвистики, а также интересоваться имевшей в то время место на Западе научно-теоретической дискуссией. Она, прежде всего, касалась вопросов теории познания и философии, истории, социологии, педагогики, текстовой лингвистики – то есть, в конечном итоге культурологии в самом широком смысле этого слова.

Я пришел к выводу, что предмет филологии не может быть просто растворен в литературе и языке. Наоборот, то и другое должно быть на более высоком уровне включено во взаимосвязь культуры и общества. Эта область, переходящая границы узкой филологии, должна быть исследована с помощью систематически разработанной методологии и теории. Только под таким углом зрения мне казалось возможным систематически связать результаты детальных текстовых исследований с комплексными явлениями культуры.

Таким образом, перестройка действительно не была «крестной матерью» при развитии идеи этого нового института.

И здесь мне хотелось бы разъяснить еще одно недоразумение: институт не означает замаскированного расширения отделения славянских литератур. Концепция института – как видно уже из его предыстории – ставит перед собой иные цели, чем слависти-

ка, и акцент здесь, соответственно, ставится на совершенно иных вещах.

В шестидесятые годы я считал, что надо акцентировать внимание, прежде всего, на изучении отношений культуры в России и Советском Союзе. В семидесятые/восемьдесятые годы я думал, что это возможно только с помощью улучшенной методологии. Сегодня я вижу, что с помощью нового института можно совершить первый шаг в этом направлении. Однако этого будет недостаточно. На фоне общей ситуации в России сегодня необходим институт (хотя бы один-единственный в Германии), где бы, в самом деле, проводились комплексные исследования всех областей русской культуры с учетом всех их особенностей и взаимоотношений друг с другом. Это означает: если мы хотим конструктивно расширить работу института, то нам следует, хотя бы время от времени, привлекать к исследованиям и преподаванию также философов, историков, политологов, социологов, педагогов и культурологов.

Как вы видите, в будущем нам еще предстоит много работы.

И еще я хочу сказать об одной очень важной для меня вещи. Это прописная истина, что развитие культуры и общества, прежде всего, приходит в движение тогда, когда выдающиеся личности попадают в исторически напряженные кризисные ситуации, что дополнительно стимулирует их креативную деятельность. Часто при этом речь идет о личностях, чья духовная самостоятельность использует специфическое напряжение между ними и обществом как поверхность для трения, в процессе которого ставятся под вопрос унаследованные истины и воскрешается чувство общественно-политической ответственности. Такие личности обычно противостоят приспособленцам, не испытывающим угрызений совести оппортунистам и тем, кто держит нос по ветру. Обычно это люди, которые снова и снова готовы отвечать своей головой за других современников. Мне незачем здесь подробно объяснять, что речь идет о личностях, которым нередко в течение многих лет приходилось получать чувствительные удары в форме преследований, презрения и унижений, и которые много раз шли на риск ради правды. Если при этом речь идет еще и об ученых, которые параллельно своей первопроходческой работе еще и обогатили культуру и внесли свой вклад в самопознание человечества, то именно и прежде всего они заслуживают нашего особого уважения.



В этой связи мне хотелось бы назвать два имени, перед которыми преклоняюсь не только я, но и очень многие другие: Андрей Сахаров и Юрий Лотман. Их уже нет в живых. Они заслуживают, чтобы их память мы почтили особым образом. С сегодняшнего дня один из кабинетов института, где будет создаваться база данных по истории российской культуры, будет называться «Sacharow-Raum». Там будет храниться переданный нам Львом Копелевым слепок гипсовой маски, снятый с лица покойного Сахарова.

С сегодняшнего дня Институт русской и советской культуры получает имя Лотмана – человека, который своими творениями и в сотрудничестве со своими русскими коллегами основал новое направление в культурологии.

---

## Институту имени Лотмана – десять лет\*

За десять лет Институт имени Лотмана стал исследовательским центром и местом встречи ученых. Это общая заслуга его сотрудников, студентов и аспирантов, а также многих коллег как из Северного Рейна-Вестфалии, так и других регионов Германии и других стран. Их готовность к активному участию в разработке новой концепции научного института и стремление к конструктивному и взаимно обогащающему диалогу создали в целом свободную и часто основанную на чистом энтузиазме рабочую атмосферу, благодаря которой возник целый ряд новых организационных и исследовательских предложений, пошедших на пользу всему Институту. Важным условием для того редкого и счастливого стечения обстоятельств, при котором сотрудники Института и его студента могли продвигать и улучшать свои инновационные идеи, было отсутствие административных ограничений в самом начале их развития.

Сюда же добавились другие благоприятные условия, которые послужили очень важной предпосылкой для включения Института в систему личных и деловых связей, составляя его научное и культурное окружение: существование Института восточноевропейской истории и исследовательского центра имени Коменского в Рурском университете, а также выставочная деятельность Бохумского музея со специализацией на Восточной Европе и проекты ассоциации «Kultur-Ost-West».

Нельзя, конечно, умолчать и о том, что уже много лет назад правительство земли Северный Рейн-Вестфалия создало в Бохуме Институт русского языка (Russikum), а также оказало заметную, неподдельную поддержку Вуппертальскому проекту Льва Копелева «Западно-восточные отражения» («Русские и Россия глазами немцев»; «Немцы и Германия глазами русских»). Кроме того,

---

\* Из: Ruhr Universität Bochum, Lotman-Institut für russische und sowjetische Kultur, 1989–1999. – Bochum, 1999. S. 7–12.

представители Северного Рейна-Вестфалии вели совместную деятельность с РСФСР по договору о взаимном сотрудничестве, демонстрируя тем самым интерес к России и ее культуре. Для возникновения института, ориентированного на русскую культуру, таким образом, уже давно имелись подходящие рамки, которые делали его лишь конечным пунктом долгого процесса развития. Институт стал деталью мозаики, которая дополняла уже существующие направленные на изучение России проекты в Северном Рейне-Вестфалии, создавая новую общую картину. Хотя Институт имени Лотмана создавался как небольшая организация, для внешнего наблюдателя он выглядел на фоне всех русистических инициатив Северного Рейна-Вестфалии как огромный научный центр с несколькими сотнями сотрудников, сопоставимый с похожими российскими институтами.

Стенографическое описание истории института показывает, насколько скромно он начал свою работу и в чем конкретно состоит результат его десятилетней деятельности.

В марте 1989 года в грубых очертаниях была представлена первая концепция Института русской и советской культуры. Указ министерства науки земли Северный Рейн-Вестфалия от 24 мая 1989 года в скупых словах выражал рекомендацию создать совместно с Рурским университетом из бюджетных средств региона и университета «информационный, исследовательский и просветительский центр восточноевропейской культуры», который должен был сначала заняться «задачами по работе с документами и особенно исследовательскими целями», а затем на базе «прочной общей концепции» постепенно наполнен кадрами.

Этот процесс происходил в 1989–1993 годы: после составления комплекса задач института и приема на работу четырех научных сотрудников, одного администратора, двух научных помощников и одного приглашенного профессора 22 ноября 1993 года в присутствии госпожи Анке Брунн, министра науки Северного Рейна-Вестфалии, состоялась торжественная церемония открытия, на которой в память о научных заслугах Юрия Лотмана институт получил новое название «Институт русской и советской культуры имени Лотмана».

Институт имени Лотмана был создан прежде всего как исследовательский институт, от которого ожидали результатов, подходящих «для включения в учебники». В то же время разработка новых учебных программ (таких как, например, регионоведение) должна была «остаться приоритетом дальнейшего развития».

При развитии концепции института учитывались два соображения: с одной стороны, он должен был способствовать тому, чтобы объединить достижения отдельных наук с помощью комплексных исследований, направленных на изучение культурных феноменов, а с другой – восполнить недостатки в анализе истории русской культуры и ее современного состояния. В то же время были обозначены приобретающие сегодня всё большее значение задачи для преподавательской и исследовательской работы, которые во многом также составляли основу институтской деятельности в последние десять лет:

1) содействие проектам по интерпретации научно-теоретического фундамента межкультурных и междисциплинарных тем (модель «знак ↔ текст ↔ культура», ее различные компоненты и системообразующий характер);

2) проявление вопроса о взаимодействии научных дисциплин, объединенных изучением человеческой культуры, таких как филология, лингвистика, история, социология, философия и т. д.;

3) описание и интерпретация актуальных культурно- и общественно-политических событий и процессов в России;

4) участие в научно-административной деятельности в образовательной и исследовательской сфере (поддержка молодого поколения);

5) работа с общественностью.

В 1998 году, после смерти Льва Копелева, новым приоритетом в уже сформировавшейся области занятий института стало историческое и типологическое описание немецко-русских/советских культурных взаимоотношений на базе Вуппертальского проекта Льва Копелева «Западно-восточные отражения».

Детальный разбор концепции института и ее осуществления демонстрирует, что деятельность института имени Лотмана в корне отличается от всех научных центров, занимающихся Россией и ее культурой, – как в самой России, так и в других странах. За редкими исключениями эти организации уделяют основное внимание политике, экономике, социологии и придают культуре лишь второстепенное значение. Специфика института имени Лотмана, напротив, состоит как раз в объединении междисциплинарных тем и их методологического обсуждения. Такой подход к изучению «сложных систем» можно объяснить также и тем фактом, что другие советологические центры всегда сильно зависели от текущих политических тенденций. В первую очередь это касается институтов в англосаксонских странах, кадровый состав

которых заметно менялся в зависимости от политической ситуации: не отдавая должного воспитанию нового поколения, они часто были вынуждены восполнять недостаток сотрудников за счет приглашения («приобретения») ученых из Центральной Европы.

Опыт показывает, что такая очевидно прагматичная, «эффективная» манера деятельности научных институтов в долгосрочной перспективе обычно не приносит желаемых результатов даже в странах с высокой численностью населения, как, например, США. Для сравнительно небольших государств, включая Германию, где программы по изучению Восточной Европы, несмотря на долгую и прочную традицию, никогда не получали достаточного финансирования (к исследованиям по Западной Европе это не относится), следует признать уместным осуществление целенаправленного курса отдельно в исследовательской сфере, в преподавательской сфере и при подготовке новых кадров. Это кажется тем более актуальным, если учитывать широкий спектр проблем, который возникает в связи с изучением России и остальных стран бывшего Советского Союза в ближайшие десятилетия и который не может быть адекватно рассмотрен без систематической и долгосрочной концепции. Невозможно игнорировать то обстоятельство, что Германия, как никакое другое европейское государство, в следующие пятьдесят-сто лет останется тесно связана с Восточной Европой – особенно с Россией и Украиной – вне зависимости от текущей конъюнктуры.

На этом фоне готовность правительства Северного Рейна-Вестфалии и администрации Рурского университета к спонсированию Института русской и советской культуры стала первым шагом для развития уникального по своему характеру научного центра, логично продолжавшего деятельность региона по изучению России и нацеленного на рассмотрение прошлой и будущей динамики наших взаимоотношений. Схожие ожидания были высказаны в письмах около двадцати известных представителей исследовательских учреждений и фондов из Германии и других стран, которые институт получил перед началом своей работы.

За десять лет своего существования Институт имени Лотмана принял участие во многих совместных научных проектах с германскими (Берлин, Бремен) и международными партнерами (Краков, Инсбрук, Москва, Париж, Вашингтон, Оксфорд, Гарту, Саппоро, Иерусалим), которые действовали (действуют) на различных уровнях и к текущему моменту имеют достойные кон-

клетные результаты, отраженные также в соответствующих публикациях и сборниках документов. Кроме того, Институт поддерживает активные связи со многими другими учеными и научными коллективами.

Конечно, мы испытываем определенную гордость за то, что модель Института имени Лотмана была использована при основании московского Института европейских культур (ИЕК) и для взаимодействия университетов (и их гуманитарных кафедр) в Курске, Самаре, Вологде и Симферополе. В создании Русско-германского института МГУ им. М.В. Ломоносова при посредничестве ректора Рурского университета профессора В. Масберга также присутствует заслуга Института имени Лотмана.

Но и в стенах Рурского университета Институт имени Лотмана также применял интегративный и междисциплинарный подход. С одной стороны, это проявляется в многолетней деятельности Бохумского семиотического коллоквиума, который уже давно был начат профессором Вальтером Кохом и стал основой для нескольких сборников материалов конференций. Другой межкафедральный проект Рурского университета – это сотрудничество в рамках «Бохумской модели» (повышение квалификации российских германистов) в Институте изучения Германии под руководством профессора П.-Г. Клуссмана. Широко охватывающий, но в то же время целенаправленный стиль работы Института отразился в том числе в создании аспирантуры, где сейчас учится уже второй набор студентов. Благодаря ей Институт имени Лотмана посетил целый ряд гостей мировой величины (ученых, писателей, художников, музыкантов, актеров), после чего у аспирантов появились научные контакты с коллегами из других стран.

Подводя итог вышесказанному, мне остается лишь выразить искреннюю благодарность всем тем, кто в последние годы принимал активное участие в заложении фундамента и в самой деятельности Института имени Лотмана – это ректоры профессор Ипсен, профессор Масберг и профессор Борман, а также деканы филологического факультета профессор Фигге, профессор Эндерс, профессор Шиффер и профессор Вегера. Особое спасибо всем нашим научным и техническим сотрудникам, часто оказывавшим бескорыстную помощь, и, конечно, нашим студентам, которые с большим энтузиазмом организовывали жизнь Института. Не меньшей благодарности заслуживают организации, которые неоднократно щедро поддерживали исследовательские проекты: Немецкое исследовательское общество, Фонд Фолькс-

ваген, Фонд Фрица Тиссена, Фонд Генриха Герца, Фонд Ван Метерена, Фонд Мёльгарда, исследовательские программы ЕС (Tempus, Intas), – а также другие спонсоры и помощники, включая Рейнско-Вестфальское иностранное общество в Дортмунде, Вэлту Пliche, Хелен фон Сахно, Ренату и Александра Аллардтов.

Институт имени Лотмана, его концепция и плоды его деятельности принесли пользу многим – как исследовательской науке, так и всем, кто ей занимался. Не в последнюю очередь это студенты, которые смогли получить широкую базу знаний, выходящую за рамки узкой специализации и, как показывают примеры, предоставляющую широкие карьерные возможности.

*Перевод: Даниил Бордюгов*

---

## Из выступления на открытии Института европейских культур при РГГУ. 27 сентября 1996 г.\*

От первоначальной идеи создания института до сегодняшнего начала учебного процесса прошло несколько лет. Помню день, когда с Галиной Андреевной Белой мы пили кофе в гостинице «Интурист» и бурно обсуждали вопросы перестройки учебного процесса... Таких дискуссий в начале перестройки было еще много, к ним подключились Нина Сергеевна Павлова, Сергей Юрьевич Неклюдов, Владимир Николаевич Топоров, Галина Ивановна Зверева, Георгий Степанович Кнабе, а позднее и Евгений Викторович Барабанов. Однако параллельно вместе с Клаусом Вашиком, Юттой Шеррер, Валерией Юрьевной Кудрявцевой и, конечно, Юрием Николаевичем Афанасьевым до конца прорабатывалась концепция ИЕК для получения поддержки Европейского Союза, его программы «Темпус».

Итак, все, что за последние два-три года было придумано и спроектировано для ИЕК в деталях его организации и концепции, – результат тесного сотрудничества и согласия всех принявших участие в этом деле сторон. Интеллект и время, затраченные всеми, столь значительны, что не поддаются финансовой оценке. Усилия были огромными. При этом все осознавали, что мы, как ни странно, по опыту именно XX века, до какой-то степени очень далеки друг от друга. И тем не менее, к счастью, отмечу сегодня, мы начали работать вместе. За все это вам всем огромное спасибо.

Как возникла и развивалась идея ИЕК?

Первоначально не предполагалось его создание в Москве вообще или в РГГУ в частности. Первоначально возникла идея широкого исследовательского проекта, в котором ученые могли бы

---

\* Из: Synopsis operandi проф. Аймермахера. – М., 2002. С. 25–28.



заниматься определенным периодом, концентрируясь на двух центральных для гуманитарных наук комплексах вопросов: чисто методологические основополагающие исследования в культурологии; универсалии культур и специфика их манифестации в исторических процессах культурного развития с интердисциплинарной, интермедиаальной и, разумеется, интеркультурной точек зрения. Как вы представляете, совсем не скромный проект. В этом направлении, начиная с шестидесятых годов, развивались и мои собственные исследования. Но не о них, конечно, речь. Существенно другое. Стимулированию идей глобальных культурных исследований послужили результаты работы московской и тартуской школ, сложившиеся в них традиции фольклористики, лингвистики, психологии, равно как и традиции немецкой, английской, французской, датской, американской, дальневосточной школ. Правда, эти традиции, по причине своей «ненужности марксизму-ленинизму», в СССР были серьезно повреждены, хотя нередко они основывались русскими эмигрантами. Назову здесь лишь Романа Якобсона, кстати, почетного доктора Рурского университета в Бохуме, и Николая Трубецкого. В послевоенные годы эти традиции были подхвачены в Тарту относительно небольшой группой ученых, и примерно в то же время интенсивно развивались в Москве. Новой точкой отсчета для культурологии в этом невзлюбленном цензурой и потому затрудненном направлении науки была фундаментальная теория знака (семиотика), а с ней возможность научно контролировать и соотносить друг с другом и самые низкие уровни текста, и самые различные уровни культуры. Моим собственным занятиям методологией, теорией лингвистики и современным литературоведением рецепция такого рода исследования пришлась, естественно, весьма кстати. Язык, текст, культура, история и общество с такой точки отсчета возвращаются снова к всеохватывающему и целостному характеру и собственной взаимосвязи...

Не скрою, мне ИЕК был бы милей в Бохуме, однако многое говорит в пользу Москвы... И обосновано это рядом вопросов: что такое культура, как она соотносится с нашим сознанием, какой креативно-конструктивный, но также и какой разрушительный потенциал отличает культуру в процессе ее развития? Концепция ИЕК обосновывалась и посредством научно-политического вопроса: каким образом мы, филологи, должны изменить наше обхождение с объектами культуры, чтобы интерпретировать не только ее поверхностные феномены, но также

прояснить ее глубинные структурные предпосылки? Наконец, концепция обоснована также в смысле образовательно-политическом, чтобы содержание и цель обучения в культуроведении в будущем смогли бы подводиться одной интенсивной рефлексией ее основных положений, чтобы лучше, чем до сих пор, подготовиться к комплексным вопросам интеркультурных совместных действий. Без поддержки одной из связанных этой целью компетенций неизбежны «политические недоразумения», порождающие национально-подчеркнутые или даже националистические мифы режима. В виду все глобально возрастающей будущей передачи культурных явлений, самых различных происхождений их переменчивых сторон влиятельности и неуступчивых наслоений, обучение и исследовательская работа такого Института европейских культур особым образом должна реагировать на вызовы заканчивающегося XX и начинающегося XXI веков. По этой причине Институт должен заниматься не только корнями европейских культур и их дифференцированием в отдельных национальных культурах. Культура не должна пониматься как хорошее образование, что тащится с собой как багаж истории. Нет, современная культура должна пониматься как плавильный котел, в котором встречаются друг с другом и определяют наше сознание культурные феномены античности и современной Европы, архаические и знаковые комплексы XX века, европейское и внеевропейское. При такого рода точке зрения возникает не только европейская культура, но и общая культура человечества как могущественный информационный полис, который упорядочен по различным знаковым связям системы сознания, которой могли бы постоянно задаваться вопросы, чтобы получить ответы или, по меньшей мере, материалы для дискуссий по различным вопросам сознания и предложения решений в различных комплексах проблем.

---

# Приветствие

## Институту европейских культур РГГУ.

### 26 октября 2005 г.

Дорогая Валерия Юрьевна,  
дорогой Клаус Вашик,  
дорогие коллеги и дорогие студенты ИЕК,  
пишу вам, потому что, к сожалению, не могу быть сегодня в  
Москве, чтобы отпраздновать с вами десять лет с момента осно-  
вания ИЕК.

Идея создания Института европейских культур возникла в  
конце восьмидесятых годов, то есть задолго до праздничного от-  
крытия в 1995 году. Разработка концепции и финансирование  
Института были сложными задачами, потребовавшими больших  
усилий. Без средств, предоставленных Европейским союзом, и  
деятельного, заинтересованного участия Юрия Афанасьева Ин-  
ститут никогда не стал бы реальностью.

С первоначальным проектом Института связывались в том  
числе следующие соображения:

- После десятилетий культурной изоляции Россия открыла  
двери для всего спектра как собственной, так и мировой культу-  
ры. На этом фоне, вопреки ряду ожиданий, казалось возможным  
сделать уходящую корнями в прошлые столетия связь русских и  
восточно-, южно-, западноевропейских культурных традиций  
центральным объектом не только исследований, но еще и уни-  
верситетского образования.

- Поскольку Юрий Афанасьев заблаговременно почувство-  
вал необходимость пригласить в РГГУ таких преподавателей, как  
скончавшаяся в прошлом году Галина Андреевна Белая и имени-  
тые культурологи Владимир Николаевич Топоров, Елеазар Мои-  
сеевич Мелитинский, Сергей Юрьевич Неклюдов, а также многие  
другие профессионалы, с которыми мы в Германии имели деловые  
и дружеские контакты еще до перестройки, нельзя было от-  
казаться от тесного сотрудничества с этой группой профессоров  
РГГУ.

- Весьма вероятно, что в будущем российские университеты будут испытывать большую потребность в преподавателях, которые, пройдя обучение по новой программе, смогут объяснять студентам сходства и различия европейских культурных традиций. При этом мы исходили из того, что учебный план должен быть выстроен не на старом внутривузовском уровне, а отталкиваясь от междисциплинарных принципов.

- Кроме того, в ситуации масштабных перемен общественно-политического и культурного характера казалось целесообразным, что университетское образование не будет ограничиваться передачей знаний, а будет активно способствовать самостоятельным научным исследованиям и повышению квалификации.

Мы стремились к тому, чтобы найти новые подходы во всех поставленных задачах. Конечно, фактическая реализация концепции института, несмотря на все прочие обстоятельства, зависела от установок министерства образования, желаний и возможностей преподавательского состава, а также предпринимательской фантазии руководства института и университетской администрации.

Не берусь оценивать, в какой степени за последние десять лет удалось осуществить задуманное. Впрочем, одно очевидно: за десять лет своего существования ИЕК ни разу не попал в образовательный кризис и, напротив, заслужил полное признание как со стороны студентов, так и со стороны государства, недавно получив официальную аккредитацию. Начатая в этом году разработка международной магистерской программы более чем актуальна.

Во многом положительным был и мой личный опыт сотрудничества с ИЕК. Полагаю, что присутствующие и сами достаточно хорошо знают о заслугах и достоинствах ИЕК, поэтому не стану перечислять все свои впечатления.

Мне остается лишь от всего сердца поздравить всех с десятилетием ИЕК, пожелать массы новых идей и их успешного воплощения в жизнь. Передаю привет издалека и сожалею, что в этот раз не могу быть на празднике вместе с вами.

*Перевод: Даниил Бордюгов*

---

# Выступление по случаю двадцатилетия Института европейских культур (ВШЕК). 2015 г.

Некоторые считают, что Институт русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме (основан в 1989 г.) и Институт европейских культур при РГГУ (основан в 1995 г., с 2007 г. – Высшая школа европейских культур (ВШЕК – подразделение РГГУ), являются детьми перестройки. Это и верно, и нет. Всё сложнее, как всегда. Для реализации обоих проектов потребовалось довольно сложное переплетение разных составляющих, совместившихся в какой-то исторический момент. Называю только некоторые из этих составляющих.

Во-первых, кто-то должен был, основываясь на собственном опыте, придумать концепцию (это банально, но необходимо). Во-вторых, данный исторический момент должен характеризоваться высокой степенью неопределённости из-за новой культурной ориентации, т. е. – когда прежние параметры культуры в какой-то степени устарели, а будущие представляются весьма смутно. В-третьих, в том случае, когда определённый круг людей осознаёт личную ответственность, понимает историческую ситуацию, он начинает – сначала виртуально – намечать шаги для снятия момента неопределённости (это, в-четвёртых). Затем предлагаются уже конкретные действия (скажем, на общее благо). И если этому кругу людей предоставляют финансовые средства (это, в-пятых), тогда уже имеются некоторые внешние предпосылки и появляется возможность конкретно действовать и активно перестраивать то, что было раньше.

Концепция Института им. Ю.М. Лотмана начала развиваться где-то в начале 1960-х годов. Основные её принципы были использованы в общем виде и в основании Института европейских культур (ИЕК). А дополнительные, не менее важные, соображения концепции ИЕКа были тесно связаны со следующими вопро-

сами: а) каким образом можно конкретно и принципиально участвовать в процессе перестройки. Было ясно, что речь, в первую очередь, идёт не о свободе слова или свободе печати, а о том, как подготовить новые кадры преподавателей и поднять образование на мировой научный уровень (т. е. речь шла скорее о новых кадрах, а не об учреждениях нового типа). б) следующий вопрос о том, как можно преодолеть недостатки идеологически одностороннего образования и заменить его многосторонним подходом при рассмотрении объекта исследования и преподавания, т. е. создать для студентов общие и специальные предпосылки самостоятельного познания. Цель заключалась в том, чтобы каждый смог, независимо от принятых и часто предписанных суждений, высказываться самостоятельно, ответственно и с продуманными аргументами принимать участие в любых дискуссиях. Обобщая то, что было пока сказано по отношению к Институту им. Ю.М. Лотмана и ИЕКу, можно, забегая вперед, сказать, что без моего личного научного развития с начала 60-х годов, без выработки концепции Института им. Ю.М. Лотмана, я не был бы в состоянии придумать концепцию первоначального ИЕКа. Чтобы разъяснить обстоятельства такого положения, постараюсь далее определить две фазы первой и второй концепции до их в какой-то степени совмещения.

**Первая фаза** определяется переплетением современного положения гуманитарной науки и послевоенного исторического контекста, т. е. всемирного противопоставления холодной войны с угрозой применения атомного оружия после ужасной и страшной второй мировой войны. То, что я имею в виду – это опыт человека, который прожил крайне сложное послевоенное время до конца 80-х годов, т. е. до перестройки в СССР и до объединения Германии, до самого конца холодной войны. Речь идет об опыте человека, который изучал не только славяноведение, но и как историк занимался европейской, главным образом, немецкой историей от Средневековья до наших дней. Во время учебы я сосредоточился главным образом на центральном в историографии моменте – моменте существенного изменения исторической ситуации, той ситуации, которая складывается после войн и после революций. Не менее интересны мне были исторические фазы медленного, но принципиального развития общественной жизни, например, сложных процессов, возникших после XX съезда, или, например, советизация ГДР, десоветизация в Польше, Чехословакии, или механизмы роспуска Советского Союза в результате перестройки. Параллельно я всесторонне в 1960-е годы занимался

бурными познавательными дискуссиями в гуманитарных науках, которые начались в конце 1950-х–начале 1960-х годов в языкознании, лингвистике, литературоведении, историографии, философии, педагогике, кибернетике и семиотике.

**Вторая фаза** в большей степени отмечена интересом к вопросам методологии и в меньшей – к вопросам накопления фактов в их историческом порядке. Например, каким образом добываются факты, какой познавательный статус они имеют и т. д. Было совершенно ясно, что без существенного осмысления познавательных инструментов, наши так называемые «знания» стоят на зыбкой основе и открыты для любой манипуляции. Поэтому центральный вопрос заключался в том, чтобы определить степень достоверности или объективности научных высказываний, т. е. от чего зависит то, что мы называем правдой, от чего зависит её характер, какую роль при этом играют приёмы, посредством которых достигается любая так называемая «правда», и т. д., и т. п. Поднятый вопрос о «правде» приводит, в конце концов, к выводу, что фактически нет «абсолютной правды», но есть только относительная, т. е. в зависимости от установки, от принятых методов и от точки зрения наблюдателя (как выразился бы А.М. Пятигорский). В связи с тем, что я начинал как языковед, который потом занимался и современной лингвистикой, и литературоведением, а на их базе и семиотикой, я пришел к выводу, что только на такой основе возможен ёмкий систематический подход к вопросам культуры и культурных процессов. И, исходя из такого подхода, я счёл возможным более успешно, чем раньше, заниматься русской и советской культурой в Институте им. Ю.М. Лотмана. Во всем этом мне коренным образом помогли работы Московской и Тартуской школы семиотики. А что касается Института европейских культур, то такая идея до какой-то степени косвенно была подсказана Владимиром Николаевичем Топоровым, т. е. одной из центральных фигур в русской семиотике. По словам А.М. Пятигорского, Владимир Николаевич всё время мечтал о том, чтобы Москва стала центром культурологических исследований, которые сравнивали бы разные мировые культуры самого различного склада. В таком духе им вместе с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым были написаны многие статьи уже в 1970-е годы. Конечно, задумывая концепцию ИЕКа, мы считали, что всё должно быть более скромно. Я сам лично был заинтересован, в качестве первого шага, подготовить молодых стажеров, чтобы они быстро стали преподавателями нового типа. Преподавая аспекты культуры или даже культурных процессов, хотелось,

чтобы они сосредоточились на фактах культуры с учётом их относительного характера. В этом, мне думалось, должна была быть основная компетенция ответственного преподавателя в отличие от «пропагандиста» истории и культуры.

Таким образом, в первой и во второй фазах были созданы общие предпосылки для формирования общей концепции, правда, для двух институтов. Как модель, она являлась достаточным общим ориентиром. В последующей, третьей фазе оказались важны две вещи: а) нашлись три партнёра – Ютта Шерпер (Париж, Ecole des Hautes Sociales), РГГУ во главе с Юрием Афанасьевым и Институт им. Ю.М. Лотмана; б) появились деньги из программы «Темпус» Европейского Союза. Это уже были хорошие предпосылки для дальнейшей работы.

Теперь о некоторых деталях за кулисами, о которых мало кто знает в подробностях. Две детали из истории решения судьбы самого проекта. Первоначальной идеей нашего Министерства образования было – арендовать или купить для Института дом в Москве. Обсудив это в Брюсселе, мы пришли к выводу, что лучше всего иметь новый институт такого уровня внутри имеющегося уже московского университета. Поэтому ИЕК был основан **при** РГГУ, т. е. в стенах РГГУ как самостоятельное учреждение. Другая деталь. Самое забавное в процессе утверждения нашего совместного проекта заключалось в следующем: руководящие фигуры в Брюсселе очень положительно оценили проект. Поэтому они пригласили меня участвовать в комиссии, которая рассматривает все проекты по программе «Темпус». Присутствовали около 30 специалистов всех европейских стран. Когда речь зашла о нашей заявке, я, конечно, должен был выйти из зала. Когда же я вернулся, оказалось, что присутствующие отвергли нашу заявку. Все! А что делать дальше? В перерыве я обратился к начальству с вопросом, как мне теперь быть? Они предложили, чтобы я поднял этот вопрос сам на текущем собрании. А я со своей стороны отверг такой, на мой взгляд, «недемократичный» подход. Поэтому они решили поднять вопрос сами от себя в моё отсутствие. В этот раз всё решилось положительно. Причина, почему заявка была вначале отвергнута, заключалась в том, что, как объяснил мне один из присутствующих, русские представители в комиссии провалили проект, потому что в этом случае их часть из «корыта» была бы больше! Так просто и хитро всё это было. Речь шла о присутствующих русских коллегах из других, главным образом, московских и Санкт-Петербургских институтов. Но я был счастлив, что проект, в который я вложил так много усилий и времени,



в конце концов, был принят. Мы были рады, что смогли хотя бы на три года начать действовать. Всё остальное было неясно, как всегда. После трёх лет начались большие сложности. РГГУ предоставил – как и с самого начала – помещение и коммунальные расходы. Французская сторона ничего не смогла дать. Российское Министерство образования не было заинтересовано в этом институте. DAAD усиленно занимался обменом студентов и т. д. Всё было сложно и утомительно. Большая нагрузка лежала на плечах немецких сотрудников, которые к тому же не были освобождены от их обязанностей в своем университете. Это касалось Клауса Вашика и меня. Внешние условия были хотя бы более или менее удачны для дальнейшей работы. Концепция была, люди-энтузиасты были.

**Задача третьей фазы** состояла в превращении концепции в практическую работу. Общие соображения надо было конкретно осуществить при условии, что все хотят того же самого. На практике всё было сложнее, потому что каждый исходил из своего собственного опыта, с одной стороны, и преемственности традиционной системы образования, с другой. То, что казалось легко, оказалось с самого начала сложно. Вначале состоялись повторные развёрнутые дискуссии с Галиной Андреевной Белой. Я предложил более ёмкое отношение между преподавателями и студентами, чтобы постепенно повысить их компетентность. Галина Андреевна согласилась с этим подходом, но для неё всё-таки на первом месте стояло передать студентам фактографический материал, что проверяется зачётами (она, кстати говоря, убедила меня связаться в РГГУ с самими видными учеными, которых сумел привлечь в РГГУ Юрий Афанасьев). Другой сложный пункт был – это повторные обсуждения в Москве и в Бохуме с Галиной Белой, Ниной Павловой и Георгием Кнабе понятия «европейская культура». То есть – рассматривать ли европейскую культуру с самого начала, с античности до нового времени, и только её, или включить в «европейскую культуру» и все существенные влияния разных других неевропейских культур. Эта точка зрения и была для нас предметом раздумий. Интересно, что у наших российских партнёров многогранные традиции мультикультурных традиций как наследие советского времени не играли никакой роли! Да, конечно, в центре ИЕКа должна была фигурировать европейская культура, и к тому же – русская культура как европейская. А в Западной Европе мы не смогли исходить только из античных традиции в ней. Уважаемому коллеге Кнабе такой подход

не был понятен... Не менее сложным аспектом наших совместных обсуждений был выбор российских стажёров для их подготовки как будущих преподавателей. Для этого мы придумали модель, по которой в деле участвовали, главным образом, московские преподаватели и время от времени и иностранные. Модель фактически не работала, поскольку иностранные преподаватели не могли регулярно присутствовать в Москве. Не удалось даже привлечь немецких безработных учёных при помощи DAAD. Дело было в том, что преподаватели должны были работать без страховки. А этого они никак не хотели, даже если у них не было детей. Кроме этого, надо сказать – того, о чём я мечтал, исходя из основных идей моей концепции Института им. Ю.М. Лотмана, по-видимому полностью не понимали ни иностранные, ни российские преподаватели. К тому же российские преподаватели попали (а это мы не могли предвидеть) в ситуацию дикой инфляции девяностых годов, и должны были работать одновременно в разных местах. Ни у кого не было возможности думать о новой дидактике и освоении новых знаний. Книжный рынок рухнул, цены были дикие, времени не было и т. д. Важнее было сажать картошку, чем заниматься тем, о чем я мечтал... Общий процесс – справляться с новыми явлениями быта – преобладал повсюду, т. е. общие условия сотрудничества при такой ситуации были недостаточны для существенного перестраивания образовательной системы даже при внешне благоприятных условиях самого ИЕКа. Поэтому ясно, что преподаватели преподавали то, что им самим казалось в такой ситуации самым интересным. Показательно, что именно в это время философы преподавали не «философию» – как раньше – а свою «авторскую философию». Но независимо от этого, мы начали кое-как. О разных других недоразумениях я говорить уже не буду, они были неизбежны, но постепенно и они снимались. И еще один, последний, пункт из начала наших совместных дискуссий. Нам с немецкой стороны казалось, что легко составить список дисциплин и предметов как самых важных составных учёбы. Разработали схемы. Это было время наступающей волны сертификаций учебных процессов и появления т. н. новых стандартов. В конечном счете, нас спасла Галина Зверева, поскольку она единственная, кто разбирался в хитростях применения этих стандартов. Но в то же время стало ясно, что одно дело – это придумать концепцию как модель нового, современного образования, но когда ты должен учитывать всё то, от чего никто не хотел отказываться, то результативное осу-

ществление новых учебных процессов невозможно. Новые шаги носили весьма относительный характер. Процесс перестраивания образовательной системы шел очень медленно. Это не только проблема России, но и всех стран в похожих ситуациях.

В конце моего выступления подчеркну ещё раз: появление ИЕК – это результат энтузиастов, которые старались (и ещё стараются) с 1990-х годов отойти от всевозможных проявлений холодной войны и придумывать новые формы сотрудничества. В принципе до какой-то степени я сам был виноват, что этот процесс не пошёл так, как я его представлял в своей модели участия в общем деле восстановления единой европейской культуры после изоляционизма холодной войны! И если я в начале реализации моей модели довольно сильно разочаровался в наличии конкретных условий работы и перспектив, то должен был понять, что придуманная модель совсем не соответствовала действительности. При этом я понял, что и наши стажёры вначале не понимали наши, скорее всего, мои установки, раз такое взаимное непонимание вызвало в определенный момент кризис наших отношений. Несколько лет спустя бывшие стажёры признались мне в Москве, что они (как они выразились) были тогда еще очень глупыми. И по собственному отношению я должен признать, что я как специалист по советской культуре, недостаточно хорошо знал её. Наши разные личные контакты с множеством российских специалистов, например, в Москве, фактически не были достаточны, чтобы активно действовать в определённой области образования. Но поэтому я очень благодарен всем тем, кто помог мне открыть много деталей в нашей совместной работе. Я благодарен Галине Андреевне Белой, Галине Зверевой, Евгению Барабанову, Дмитрию Баку, Сергею Неклюдову, и, конечно – Юрию Николаевичу Афанасьеву, и особенно – Валерии Юрьевне Кудрявцевой. Ректору Ефиму Иосифовичу Пивовару я благодарен за то, что он принял ИЕК как ВШЕК полностью в РГГУ. Кстати говоря, я лично с самого начала был убежден в том, что через какое-то время после основания ИЕК должен стать институтом РГГУ. В этом была убеждена и Галина Андреевна Белая.

Удалось ли это – в настоящее время это большой вопрос. Карл Маркс сказал бы в такой ситуации, что высшие эшелоны власти применяют пока всё ещё тиски, а что будет дальше – покажет история.

*Перевод: Аркадий Перлов*

---

# III

Мое кредо в искусстве

---

# Взаимоотношения искусства и политики: Из опыта исследователя и художника (исповедь)\*

Работы, вошедшие в циклы «Экспюры в XX век», «Видения XXI века» и «Здесь и сегодня», возникли как прямая реакция на множество проектов в общественно-политической сфере и в искусстве, дискуссии вокруг которых проходят под девизом «На пороге XXI века...» и которые призваны пробудить и закрепить в сознании следующую позитивную мысль: вступая в XXI в., необходимо навсегда распрощаться с тем негативным, что было в XX в., (в т. ч. с кризисами, вызванными войнами и диктаторскими режимами), и ещё раз и по-новому, в атмосфере свободы и созидания осмыслить будущее. Подобную надежду, утешение призваны были внушить уже сами названия циклов («Экспюры...», «Видения...»), поскольку эти слова позитивно окрашены и ассоциируются с приятными воспоминаниями и ожиданиями. И поначалу действительно предполагалось оказывать именно такое – успокоительное – воздействие, однако это вошло в противоречие с явно ощущавшимся в обществе желанием изгнать из памяти (по соображениям психоэмоциональной самозащиты) неприятные переживания либо приккрыть их, сгладить при помощи утончённых механизмов маскировки.

Поскольку память должна оставаться свободной для позитивной информации, все неприятное (чаще всего непроизвольно) просто убирается «под ковёр», загоняется всевозможными способами как можно дальше. После всех этих манипуляций в памяти остаётся «в сухом остатке» то, что так или иначе соприкасалось с лучшими сторонами прошлого и окружало их. Так, например, в воспоминаниях сохраняется спектр важных и не очень важных

---

\* Из: Культура и искусство, 2. 2011. С. 14–21

событий, которые соединяют в себе приятное с неприятным, прекрасное с безобразным и омерзительным, жизнеутверждающее с разрушительным. Противоречие между тем и другим может либо существовать в зародыше, либо быть ясно выраженным.

Когда речь заходит о вопросах, которые затрагивают не только отдельных лиц, но и их группы и даже целые общественные системы, историк начинает задавать вопросы:

каковы были причины и обстоятельства, повлёкшие то-то и то-то; кто хороший, а кто плохой; кто прав, а кто виноват; кто попадал под репрессии, а кто нет; где и как живут избежавшие репрессий, как к ним относиться; как историческая наука помогает нам извлекать уроки из истории;

каково отношение нынешней общественной системы ценностей к прежней, особенно к ее преступлениям;

какими механизмами располагает общество, чтобы, не забывая о преступлениях прошлого и настоящего, главное внимание и коллективные усилия сосредоточить на сохранении в течение длительного времени сложившейся системы ценностей и на её дальнейшем конструктивном развитии?

Роль и значение исторической науки (как и всего гуманитарного знания) для понимания этих проблем бесспорны. В то же время следует отдавать себе отчёт, что ее возможности при рассмотрении сложных вопросов, касающихся глубинных оснований человеческого сосуществования, ограничены. Ее задача состоит в том, чтобы заниматься реконструкцией там, где остаются открытыми вопросы об исторических контекстах и о взаимосвязях отдельных социокультурных компонентов. Ее смыслом становится обретение полной ясности там, где все заполнено мифами. Впрочем, мы должны помнить, что мифы тоже являются существенной составной частью памяти человеческих коллективов и могут выполнять функцию оправдания, случившегося или обоснования целей, которые ещё только должны быть достигнуты. То, о чём идёт речь, почти для каждого общества является основополагающей сферой – сферой самозащиты, где ценностям, имеющим определённый этический подтекст, не обязательно придаётся значение.

В отличие от исторических аспектов, вопрос об этических основаниях коллективных ценностных систем (если оставить в стороне сферу религии) ставится, дискутируется и разрабатывается в философии и искусстве. Так, литература, искусство или кино предлагают свои аргументы, изложенные менее рассудочно, ис-

пользуют собственные медиа-средства. Они выискивают для себя те темы, через которые конкретизируют актуальные вопросы этики, и в своих неоднозначных ответах пытаются раскрыть их суть. Читатель, слушатель, зритель, посетитель выставки должны почувствовать злободневность постановки вопроса и испытать такое внутреннее потрясение, чтобы сдвинуться с мёртвой точки и включиться в процесс познания. Историческое знание здесь важно, однако отправной точкой является этический посыл: что правильно, а что не правильно; что разрешено, а что запрещено; что за, а что против человека и общества в целом.

Хотя каждый, конечно же, готов согласиться с таким образом сформулированными целями исторической науки и искусства, очень часто в пылу современной политической борьбы коренной вопрос нормального общественного устройства оказывается забытым или, по меньшей мере, в течение какого-то времени не принимается во внимание. Опыт показывает, что любое общество, если оно не стремится к самоуничтожению, не может долго существовать без перманентного критического разбора наиболее чувствительных для общественно-политической жизни проблемных зон средствами исторической науки и искусства.

В таком контексте было бы абсурдно полагать, что «Экскурсы в XX век», «Видения XXI века» и «Здесь и сегодня» – всего лишь «отражение», «иллюстрации», «изображения с флёрком мечтательности» событий прошлого или наступающего будущего, или что в них художник хотел наглядно показать нечто «позитивное», «прекрасное» или «достойное подражания». Если уж ставить вопрос во всеобщем смысле и так принципиально, то в данном случае речь может идти лишь о нелюбезной и беспощадной дискуссии об «истине», о сложности и противоречивости явлений исторических или имеющих отношение к действительности.

Эту тему можно было бы обозначить в качестве общего этического, а также материального фона для многих произведений из названных циклов, а также некоторых моих научных исследований. Ничто может задевать нас больше, чем циничное уничтожение людей во имя вымышленного лучшего мира.

И художник, и учёный (каждый по-своему) задаются вопросами: существовали когда-то или существуют ныне культуры, способные обойтись без жертв за идею, и как с этим обстояло дело в столь ещё памятной нам культуре; оказывается ли культура уже самим своим возникновением обязана стремлению сглаживать индивидуальные (личностные) и общественные антагонизмы и

добиваться именно такого результата. В нашем случае мы, судя по всему, имеем дело с обратным: целые библиотеки заполнены документальными свидетельствами о бесконечных преднамеренных жертвах, которые приносились как раз вопреки культурным завоеваниям (хотя и на их основе). Под влиянием такого открытия возникает впечатление, что, начиная с XX в. в итоге борьбы за власть и в ходе истребительных войн, продиктованных идеологическими или национальными интересами, горы жертв год от года становились все выше, так что задет был, прямо или косвенно, почти каждый.

Перед лицом таких познаний об истории и современности более чем нормальным выглядит общество, боящееся будущего, потому что оно видится состоящим только из балансирования между надеждой на «нормальную жизнь» и страхом перед ее разрушением (и, следовательно, неизменным в принципе). Будущее отражается в прошлом, даже ещё не начавшись. Страх, что на нас тяжким грузом висят ужасы прошлого, как и страх перед тем, что нас ожидает, представляют собой феномен, который в сегодняшних условиях легко может превратиться (или уже превращается) в центральную тему искусства. По крайней мере, в моем случае дело обстоит именно так (хотя в моих работах затрагивается не только тема разного рода преступлений против человечности – войны, холокоста и т. п.).

Без осмысления нашего прошлого, настоящего и будущего, смоделированных с помощью исторической науки и искусства, невозможно жить с осознанием своей ответственности за происходящее. Опыт, накопленный человеком за тысячелетия, учит: развитая культура, служащая сохранению человека как вида, – лишь тонкий защитный слой, который может быть разрушен в любой момент. Если это произойдет, каждый будет отброшен назад к животному состоянию (в подтверждение мысли сошлюсь на Шаламова). События XX в. со всей очевидностью показывают, что механизмы разрушения могут очень быстро набрать обороты и стать неконтролируемыми. Напоминанием о том служат все диктаторские общества, оставившие после себя миллионы жертв.

«Эксперсы в XX век» и «Видения XXI века» перед лицом человеческой истории, наполненной длинной чередой жертв, выглядят попыткой отреагировать на подобные вызовы нашего времени. Я осознанно называю это «попыткой», ведь задача состоит не в том, чтобы просто проиллюстрировать страшные события или как-то их конкретизировать, но в том, чтобы передать всю



чудовищность и непостижимость массового уничтожения людей и ещё раз указать на факт очевидной антропологической константы – величины, ставшей уже постоянной. Не меньшие последствия имеют злоупотребления властью (например, когда обладающие реальной ценностью документы перерабатываются так, что могут служить лишь пустому времяпрепровождению).

«Экскурсы в XX век» и «Видения XXI века» создавались с целью ещё раз обратить внимание на недолговечность человеческой памяти в условиях информационных обществ. Достижения исторических исследований на современном этапе постоянно рискуют быть поставленными под сомнение, «заниженными», «забытыми»; раз за разом их стараются «приспособить» или «переработать» для обоснования новых научных выводов. Как следствие, в названных циклах сделана попытка противостоять этой широко распространившейся тенденции, добившись эмоционального потрясения зрителя – непосредственного и не требующего рефлексии. Для решения этой задачи я как художник использовал гиперболизацию, усиление метафоризации, неожиданные аналогии и трансформации. Так, на реально существовавшие предметы нередко напластовываются их части после разрушения; возникают необычные композиционные решения и сочетания элементов, которые могут приобретать символический смысл. Подобный художественный метод стал основой искусственной модели для изображения в принципе неизобразимого разрушительного начала во всем его масштабе. Мне хотелось зримо показать негативные последствия Зла и заклеить разрушительное начало как один из основных компонентов человеческого существа, который постоянно находится в напряжённом взаимодействии с жизнеутверждающим началом – то поддаваясь контролю, то освобождаясь от него.

Поскольку произведения цикла «Экскурсы в XX век» показывают разные аспекты одного вида преступлений — преступлений против человечности, они неизбежно выглядят как структурные вариации или как подчёркнуто упрощённые конкретизации одного и того же явления. Лишь через многообразие ассоциаций можно передать хотя бы в первом приближении образ ужасов XX в., которые историки могут подтвердить многочисленными фактами, но прокомментировать – лишь в самых сухих фразах. Сказанное не следует воспринимать как критику несвободной от тенденциозности, зависимой от влияния СМИ реконструкции перипетий недавней ещё истории. Это скорее намёк, с одной стороны, на

трудности в изложении первостепенного исторического явления, а с другой – на тот факт, что в каждой культуре и в каждом обществе должны быть в наличии разные средства коммуникации. Только при таком комплексном взаимодействии, как представляется, появляется возможность сделать доступными для понимания основные принципы сосуществования людей вне национальных границ.

В этой связи интересно отметить, что в отличие от исторической науки искусство в качестве главного ориентира выбирает пространство, а не время. В отличие от них обоим литература выбирает свой особый – синтетический – подход к разрешению проблемы изображения, объединяя категории времени и пространства с актуализированными ценностными категориями. Однако в конечном итоге безразлично, какие параметры взаимодействуют, поскольку речь идёт о взаимодействии культурной традиции, основным принципом которой является гуманизм, и животного начала, несущего в себе угрозу жизнеутверждающей традиции.

Цикл «Экспурсы в XX век» имеет своим предметом открытие и, соответственно, вскрытие угроз, нависающих над человеческой природой и культурой, показывает разницу между «реальным» и «виртуальным», «истину без прикрас», а также механизмы «приукрашивания». Зритель постоянно понуждается искать за изображением – истину, подразумевающееся высказывание. Он должен не просто посмотреть на произведение и открыть эту истину, но снова и снова пытаться найти способы для сосуществования с обретенной истиной. Как представляется, здесь не возникает преодоления прошлого. Умалчивания, маскировка «истины» не сошли с повестки дня и отягощают исторические исследования, остаются питательной средой для манипуляций и мифотворчества.

Искусство имеет одно преимущество перед исторической наукой: оно не вскрывает причинные связи событий и не стремится объяснить их в понятной форме, но лишь наблюдает исторические явления в их сути, актуальной для данного момента. Поэтому в первую очередь речь идёт о наглядном представлении переработанного средствами искусства непосредственного восприятия явлений в их событийном аспекте, а также о приведении в действие механизмов реакции в сознании наблюдателя. Изображение разрушения и смерти если не напрямую, то косвенно наводит на мысль о жизни и счастье; даже в таких, на первый взгляд однобо-

ких, изображениях неизбежно содержится намёк на созидательный принцип.

Цикл «Видения XXI века» по концепции близки циклу «Эксперименты в XX век».

В вошедших в него произведениях содержится указание на то, что на пороге XXI в. не наблюдается перелома и даже попытки переломить ситуацию и что не так-то просто начинать все заново и с азов. Исторический опыт как «упаковка истории» продолжает оказывать воздействие на жизнь в XXI в., причём это сопряжено с появлением на исходе XX в. новых проблем, вызванных мощным техническим развитием. «Видения XXI века» исполнены смелых решений, а потому не обязательно должны сбыться. Тем не менее, они являются примером имитационного моделирования на основе тенденций, получивших распространение в современном высокоспециализированном и механизированном обществе. Это своего рода приблизительный просчёт, предсказание путей дальнейшего развития.

Указанные пути просматривались уже во многих событиях XX в., в небывалых масштабах глобализации (оказывавшей существенное влияние на государственные, экономические и межличностные взаимоотношения), в изменении самих основ существования людей. Заметно усилились процессы анонимизации, дегуманизации, обезличивания. Человек не только влиял на события и ход развития, но и сам попадал под влияние научных экспериментов, технизации и модернизации. Он все больше оказывался зависимым от явлений, произведённых им самим, но вышедших из-под его контроля.

Складывающееся в нормальных условиях равновесие в напряжённых отношениях между рациональным самоконтролем и животным произволом легко может быть нарушено, высвободившиеся в результате силы станут бесхозными. Место созидательного начала займёт начало разрушительное. Силы, приводящие массы в движение, обратятся «выбросами тепловой энергии» вместо того, чтобы преобразоваться в ответственное поведение на основе этически мотивированной системы ценностей. Человеческое начало маргинализуется. Доминирующими станут «эффективные» (основанные на электронных средствах) механизмы движения, ориентированные только на самих себя и выстраивающие свой собственный «план развития». Этот «план» совсем не обязательно будет иметь что-либо общее с человеческим восприятием действительности, а потому он вполне способен оказаться несвободным от абсурдности.

Если интерпретировать «Видения XXI века» таким образом, то можно понять: даже переосмысленный людьми, любой вид холокоста столь же абсурден, как и создаваемые бюрократией кафкианские ситуации, по всей видимости, не подчиняющиеся ничьему контролю. Вербализация умышленно заданного характера видений не каждым будет принята, спорными могут показаться приведённые выше причинно-следственные связи. Интерпретация видений средствами изобразительного искусства основывается не на объяснении причинных связей, а на ассоциациях, возникающих благодаря применённым художником средствам и выходящих далеко за границы вербальности. Именно этому посвящены «Видения XXI века», фоном для которых служит опыт «Экскурсов в XX век».

---

# IV

## Трансформационные процессы в русско-советской культуре

---

# К реконструкции культурных формаций. Советская система и национальные государства<sup>\*</sup>

## О понятии культуры

Если понимать под «культурой» лишь «совокупность сохраняемых традиций культурных ценностей», или попытку «скрасить жизнь» с помощью литературы, искусства, музыки и т. д., то речь идет в этом случае о понятии, охватывающем только очень ограниченное число предметов: культура представляется в этом случае либо чем-то вроде «исторического багажа», либо «добавкой к жизни», от которой в случае нужды можно было бы и отказаться. Если же исходить из более широкого понятия культуры и понимать ее как всеобъемлющий феномен человеческого бытия, который не только пронизывает все сферы жизни, но и который следует рассматривать как основу жизни, то охарактеризованное выше понимание культуры оказывается – хотя оно и широко распространено – неудовлетворительным и поверхностным.

Если попытаться выйти за пределы называемых в нерerefлектированном дискурсе поверхностных культурных феноменов и постичь культуру в ее способе бытия, то прежде всего следует приняться за поиски ее наиболее универсальных признаков, охватывающих все культурные явления, а также способов функционирования культуры в ходе ее истории. Основополагающим при этом оказывается все же учет по крайней мере двух родов взаимно дополняющих друг друга принципов: тех, чье взаимодействие и делает возможной культуру, и тех, которые проявляются как

---

<sup>\*</sup> Из: Знак. Текст. Культура. – М., 2001. С. 170–192. В первоначальном варианте опубликовано: Sowjetsystem und nationale Prägung: Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg / Hrsg. von H. Lemberg. – Marburg, 1991. S. 336–343.

«взгляд на культуру» исторически определяемых идеологий. Лишь тогда, когда всеобщие, более универсальные признаки рассматриваются с определенной метаязыковой точки зрения вместе с признаками исторически проявившихся культурных оценок, идеологий и т. п., оказывается возможным постижение культурных явлений, относящихся к глубинным структурам, и можно будет избежать ущербности культурных дефиниций, в большей или меньшей степени обусловленных привязанной ко времени точкой зрения «изнутри».

К числу минимальных универсальных предпосылок, обеспечивающих существование всякой культуры, принадлежат следующие признаки, гарантирующие существование, преемственность и динамику культуры:

- постоянное самоутверждение,
- попытка индивидуального и коллективного освоения так называемой унаследованной культуры, каждый раз предпринимаемая заново,
- критическое осмысление всякого культурного наследия.

Историческая уникальность каждой определенной культурной формации (эпохи) следует из специфического образа, которым эти наиболее общие предпосылки всякой культуры характеризуются, тем, в каких пропорциях они сочетаются и как они взаимодействуют друг с другом. Наиболее ясно выражается это взаимодействие в формировании определенных идеологий (теорий), играющих, в зависимости от различных этнических, экономических и социополитических факторов, центральную или периферийную роль.

Поскольку идеологии можно рассматривать как частичные интерпретации исторических ситуаций и процессов, то для отдельных людей, как и для целых социальных сообществ, их функция заключается в том, чтобы прояснять отношение к миру в самом широком смысле, но также и в особенности к их социальной реальности, вновь и вновь задавая ориентиры. С этой точки зрения культура является многократно опосредованной реакцией сознания на актуальные исторические ситуации и процессы; это выражение определенных, получивших новые импульсы идеологий, с помощью которых человек в конечном счете анализирует общую и частную ситуацию, в которой он находится.

Реконструкция любых культурных формаций и их развития не может ограничиваться общими положениями о самоинтерпретативном характере всякой культуры или ее рассмотрении «извне».

Она должна постоянно сознавать и учитывать их смешанный характер, обусловленный пространственными и временными параметрами, а также различиями, зависящими от интересов соответствующего наблюдателя. Таким образом, при рассмотрении исторически засвидетельствованных культурных формаций мы в принципе имеем дело с несколькими феноменами:

- с моделями, в которых культура отображает саму себя,
- с моделями, в которые в разной степени включены признаки одной или нескольких точек зрения, расположенных вне рассматриваемой культуры, а также
- исследовательскими моделями различных видов обусловленных временем попыток самопонимания, которые, как правило, в свою очередь также основаны на смешении элементов, которые отчасти принадлежат описываемому предмету, отчасти – модели самоописания.

Поэтому в моделях культурной реконструкции, независимо от времени их возникновения, постоянно пересекаются взгляд изнутри и взгляд извне.

В силу этих признаков, а также своего интенсивно интерпретативного характера, будучи интерпретацией не поддающихся однозначной системной фиксации сочетаний идеологием (идеологий), моделирование культурных феноменов, направленное как на актуальные явления, так и на завершившиеся процессы, по своему характеру оказывается до некоторой степени сходным с литературными текстами, а именно в том, что касается специфики художественного моделирования закономерностей действительности. Его структура хотя и задает определенное направление интерпретации, однако в то же время открыта для множества различающихся толкований.

Высказанные относительно понятия культуры, а также реконструкции исторически засвидетельствованных культурных формаций соображения должны помочь осознать, что культура не является относительно самостоятельным феноменом, отделимым от истории в узком смысле, но что понятие культуры в конечном итоге в значительной степени тождественно понятию человеческого сознания, в котором соединяются как психически-экзистенциальные и социально-психологические моменты, так и исторический опыт, и, соединившись, обретают порядок в образе определенного ментального конструкта лишь благодаря аналитической, равно как и интерпретативной деятельности, осуществляемой с определенных позиций. Подобную интерпретационную



операцию мы будем называть реконструкцией культурных формаций или процессов и охарактеризуем ее с точки зрения познавательной деятельности как принципиально сходную с реконструкцией смысла художественного произведения в процессе его восприятия или усвоения.

При изучении культурных феноменов мы имеем, таким образом, дело с особо сложным объектом, который не заключается только в простой совокупности литературных, изобразительных, музыкальных и других произведений искусства. Гораздо более важными ее составляющими являются, помимо уже названных идеологем, выступающих в качестве элементов всеобъемлющих ментальных систем (идеологий), разумеется, и их изобретатели, а также те, кто их пропагандирует, и те, кому они адресованы. В рамках подобной, в каждом случае специфической коммуникативной системы все они пользуются подходящими социальными институтами, чтобы распространять или усваивать соответствующую идеологию. Поэтому культура всеобъемлюща и пронизывает действительно все сферы жизни. Она открывает взгляд на мир в той же степени, в какой она его искажает, она освобождает от зависимости, но она и трясина, в которой истина и ложь переплетены так тесно, что их не разделить. Поэтому наряду с оценкой степени сложности определенной культурной ситуации и ее процессуального характера, а также наряду с ее реконструкцией, среди важнейших задач – уяснение типов исследовательских методов и гипотез.

## О характере понятий «советская система» и «национальные государства» и их взаимоотношениях

Вопрос о взаимоотношениях «советской системы» и «национальных государств в Восточной Европе» не случаен. В его основе исторический опыт, полученный восточноевропейскими государствами в отношениях с советской системой в ходе послевоенной истории. Этот исторический опыт в особенности определен тем, каким образом реализовались советские формы захвата и удержания власти с помощью институтов, которые в соответствии с их сталинистским характером следует определить как тоталитар-

ные. Понятие «советская система» относится к формам захвата и реализации власти, которые выработались с конца 20-х годов в социально-политической сфере, а также в области культуры в Советском Союзе и с которыми в той или иной форме, в большей или меньшей степени столкнулись все восточноевропейские государства. Переименовав название книги Ганса Гюнтера «Огосударствление литературы» (*Günther H. Die Verstaatlichung der Literatur. Stuttgart, 1984*), феномен, с которым мы в данном случае имеем дело, можно было бы охарактеризовать как «огосударствление культуры», а в применении к истории восточноевропейских государств, включая Советскую зону оккупации (ГДР), – как трансформацию самостоятельных национальных литератур в так называемых литературных сателлитов, как обозначила этот процесс Милада Соучкова<sup>1</sup>.

Соотнесение понятий «советская модель» и «национальные государства» предполагает представление, согласно которому достаточно однородная, почти полностью охватывающая все аспекты проявления культуры советская модель власти, сформировавшаяся в Советском Союзе вплоть до первых послевоенных лет и просуществовавшая там в основных чертах до середины 50-х годов, пронизала культурные институты и саму культуру восточноевропейских государств, вступая при этом во взаимодействие с национальными традициями, которые в каждом случае оказывались различными. При этом не имеет принципиального значения, была ли эта советская модель навязана представителям определенных национальных традиций или была «с благодарностью» принята ее рьяными сторонниками в восточноевропейских странах. Гораздо важнее то, что при этом во всех случаях наносился ущерб национальным традициям, традиции трансформировались, с течением времени возникали специфические новые национальные традиции, отчасти проявившиеся в интересном сочетании с другими явлениями (ср., например, развитие в отдельных областях культуры в Польше вследствие отказа от социалистического реализма после 1956 г., социально-политические и идеологические изменения в Югославии после ее выхода из Коминтерна в 1948 г. или персональные изменения в партии и государственном аппарате, а также идеологическое переосмысление социалистической идеи во время «пражской весны» и др.).

---

<sup>1</sup> *Součková M. A literary satellite: Czechoslovak-Russian literary reactions. – Chicago; London, 1970.*

Если окинуть взглядом различные этапы отношений «советской системы» и «национальных государств» в области культуры, то можно увидеть различные, находящиеся в определенном взаимодействии модели этих отношений. Они характеризовались напряжением между двумя полюсами, каждый из которых стремился стать ведущей силой или хотя бы потенциально лишить другой полюс значения, поставить его существование под вопрос. В зависимости от того, каким образом складывались эти взаимоотношения, возможны различные типологические классификации, характеризующие отдельные фазы развития восточноевропейских государств. Так, очевидно, что некоторые восточноевропейские страны после первой фазы консолидации под влиянием советской системы обрели через интенсивное включение в этот процесс национального наследия новое культурное самосознание и смогли шаг за шагом значительно расширить свободное поле деятельности, насколько это было возможно в условиях действующей цензуры. Напряжение между сталинистской советской системой и ее модификациями в отдельных восточноевропейских государствах и развитие советской системы под влиянием различных периодов оттепели в самом Советском Союзе, но также и самостоятельные изменения в странах Восточной Европы, сильнее учитывающие собственное культурное развитие, – все это порождало новые модели, в которых опять-таки проявлялись новые элементы в культурных отношениях восточноевропейских стран друг с другом. Сравнение даже лишь в самых общих чертах развития в Болгарии, Югославии, Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Советской зоне оккупации/ГДР хотя и демонстрирует, с одной стороны, со всей очевидностью, тесную связь между властью и культурой (как инструментом политически господствующей партии, служащим идеологической обработке и устранению противников), показывает все же, с другой стороны, возможности культуры в воздействии на закосневшие властные отношения, вплоть до развития альтернатив существующей власти. При взгляде на историческое развитие в Восточной Европе становится ясно, что в дополнение к общему взаимоотношению «советской системы» и «национальных государств» необходимо особо учитывать дифференцированное взаимодействие власти и культуры (ср. в связи с этим важность существенных для отдельных моделей этих взаимоотношений понятий, таких, как культурно-политические заморозки/оттепель, официальный/неофициальный, конформизм/нонконформизм и многие другие).

## Реконструируемость различных вариантов взаимоотношений «советской модели» и «национальных государств»

Анализ и интерпретация отношений между «советской системой» и «восточноевропейскими государствами» могут быть столь же просты в реконструкции, как и целый ряд так называемых простых исторических ситуаций, если исходить из общих положений об огосударствлении, бюрократизации, захвате и потере власти, опираясь на соответствующие формальные признаки. Это верно прежде всего в том случае, когда не предполагается совершенно полная реконструкция, а исследователь удовлетворяется определением тенденции развития или же установлением симптоматического характера отдельных, на первый взгляд изолированных, явлений и изучает лишь общие свойства структур более высокого порядка, оформляющих соотношение интересов, компетенции или властных полномочий (например, дело Пастернака, процессы над писателями в Советском Союзе 60–70-х годов). То же относится к дискуссиям о социалистическом реализме и отказе от него, например в Югославии (с 1952 г.) и Польше (с 1956 г.), или постепенному отходу от этой художественной доктрины в художественной практике Советского Союза (с конца 50-х годов) и ЧССР (с начала 60-х), или же к истории таких институтов, как союзы деятелей искусства и их печатные органы.

Реконструкция подобных изолированных областей культуры во всяком случае важна и дает представление о влиянии, которое «советская система» оказывала на определенные культурные процессы и обеспечивавшие их институты, или – и в этом случае каузальные связи уже становятся более сложными – институты, которые в отдельных восточноевропейских странах по своей направленности были связаны, подобно тому как это имело место и в Советском Союзе, с целями, по большей части имеющими отношение к консолидации или демонтажу власти.

Для обозначения «национальный» не очень существенно, были ли советские методы контроля в области культуры навязаны (Польша) или заимствованы соответствующими государствами в качестве желанных инструментов власти (ср. Югославию), были ли они реализованы на практике сразу же или с некоторой задержкой (ГДР, ЧССР). Из того, как протекало развитие, с доста-

точной ясностью следует, что при образовании взаимоотношений для обеих сторон в конечном счете речь шла о достижении дальних целей, даже если в первой фазе сначала создавались общие условия, в рамках которых до определенной степени еще принимались во внимание специфические культурно-исторические предпосылки. Эти, с позиций дальнейшей истории еще осторожные, меры воздействия, которые можно объяснить определенными тактическими соображениями, но которые в то же время были выражением неуверенности в новой, еще не знакомой области деятельности, в более дальней исторической перспективе нельзя рассматривать в отрыве от конечной цели консолидации власти коммунистической партии в центральной области культуры (ср. наличие в Советской зоне оккупации и затем в ГДР до 1961 г. открытой границы или тот факт, что в ЧССР благодаря существованию сравнительно сильной группы левых пролетарских и левых авангардных художников и писателей были сравнительно благоприятные предпосылки для добровольного заимствования определенных организационных структур творческой деятельности из Советского Союза; ср. также и энтузиазм многих, часто очень молодых представителей творческой интеллигенции, происходивших из неимущих слоев населения, в Польше, советской зоне оккупации/ГДР, ЧССР, которые после освобождения от фашизма – не зная в полной мере об ужасах сталинизма и культурной политике ждановщины – верили в возможность воплощения мечты о бесклассовом обществе социальной справедливости).

Специфическое для каждого нового исторического этапа национальное своеобразие проявляется и в задержке, с которой происходило заимствование частей инструментария сталинской культурной политики, и не позднее 1956 г. в связи с этим вырисовывается проблема, состоящая в том, что восточноевропейские государства (включая ГДР) при упрочении политической власти не смогли инструментализировать культуру в той же степени, как это было сделано в Советском Союзе начиная с 30-х годов. Это объясняется прежде всего тем, что культурно-политические послабления в Советском Союзе после 1956 г. совпали, например, в ГДР, с новой фазой культурно-политического ужесточения, в то время как в других восточноевропейских государствах (Югославии, Польше) дело дошло до явного смягчения определенных нормативных принципов художественного творчества.

Важнее чем временная задержка, с которой в восточноевропейских государствах была установлена и начала действовать

сходная господствующая система ограничений для регулирования и использования культуры в качестве инструмента политической власти, для порождающих специфические признаки особой национальной разновидности факторов оказывается, по-видимому, то обстоятельство, что новая, возникшая после Второй мировой войны культурная система насчитывала гораздо более короткую историю, чем культурная система Советского Союза, и достаточно рано была поставлена в совершенно иные исторические условия. Другие культурные и политические предпосылки вызывали в отдельных странах специфическую модификацию «советской системы» (ср., например, роль церкви в отдельных странах и т. п.).

Однако значение «национальных парадигм», которое может быть точно зафиксировано на множестве явлений культуры, остается – как и при констатации формальных признаков «советской системы» – достаточно поверхностным, пока речь идет только о рассмотрении изолированных фактов, как в указанных примерах. Их значение, их место в общей ситуации в полной мере может быть оценено только тогда, когда их рассматривают не только в аспекте упрочения или демонтажа власти, но и в аспекте сохранения или возникновения культурной автономии. В этом случае культурные феномены приобретают не только изолированное значение, служат не только реконструкции определенных (в тенденции статических) системных связей, организованных по принципу релевантности власти, но и могут быть рассмотрены в качестве составляющих более сложной системы с двумя и более плоскостями ориентации. При этом возникает также возможность включить в анализ системно-динамические моменты и постепенно, шаг за шагом приблизиться к реальному образу бытия объекта, именуемого «культурой», который первоначально представлялся конгломератом по-разному взаимодействующих идеологических систем. Место гомогенной, иерархически структурированной по принципу релевантности власти, потенциально регулирующей все сферы жизни модели занимает модель, в которую могут быть включены не только сохраняющие систему принципы, но и элементы, систему изменяющие или нарушающие. Тем самым элементы, с точки зрения власти «опасные», с точки зрения доминирующей официальной культурной модели «чуждые», с точки зрения их происхождения «находящиеся вне системы», получают теперь место в рамках одной и той же, но теперь уже противоречивой системы. Конкуренция или взаимное оспаривание права на существование становится характерной для формирующейся новой культурной ситуации.

Если проанализировать культурное развитие отдельных восточноевропейских стран с этой точки зрения, предполагающей сложность объекта, то в принципе станет явной не только многообразие советской культуры «за пределами советской системы» и специфика культуры других стран, но и то, что как раз существующие в общей системе советской культуры и культуры восточноевропейских стран процессы интерференции порождают особое культурное многообразие, потенциал которого создает более благоприятные возможности для стимулирования новых активных действий в восточноевропейской культуре. При известных условиях они могут оказаться более конструктивными, чем, например, прямые заимствования из западноевропейской культуры, не говоря о том, что это направлено против в конечном итоге деструктивной тенденции «принесения в жертву» какой-либо культуры. Практика взаимоотношений «советской культуры» и «национальной культуры», которая, хотя и негласно, постоянно пыталась – по крайней мере частично – «использовать» многообразие имеющихся процессов культурной интерференции, однако осуществляла это не открыто и «с санкции властей», а уровнем ниже, из «подполья» действующих властных структур. Чаще всего это была единственная возможность обойти эти структуры и шаг за шагом подрывать их изнутри. Подобные обманные маневры не полностью официальной или неофициальной (подпольной) культуры, направленные на то, чтобы перехитрить «официальную культуру», происходили, например, когда сотрудники чешского журнала «Plamen» в середине 60-х годов публиковали произведения советского нонконформистского искусства или раннего советского авангарда, пользуясь ими как своего рода троянским конем, чтобы с помощью этих, так сказать, «образцов советского искусства» (которые, правда, в Советском Союзе не были признаны) придать динамику своему собственному чешскому искусству. Сходным образом поступали и некоторые литературоведы ГДР. Семиотика Московско-Тартуской школ, которая в Советском Союзе годами подвергалась ожесточенным нападкам, рекомендовалась собственному пугливому научному руководству со ссылкой на то, что эти работы интенсивно обсуждаются, например, в Польше и Западной Германии (так действовал, скажем, К. Штедтке). Подобная аргументация использовалась и в отношении «успехов словацкого литературоведения» (школа Нитры), которое, в противоположность «отсталому литературоведению ГДР», изображалось особенно «прогрессивным».

Сложный вариант культурных контактов предстает перед нами в том случае, когда, скажем, советская культура и культура ГДР вступали в отношения, осуществляли обмены или взаимодействовали еще каким-либо образом на «высшем политическом уровне» не только как официальные, идеологически гомогенные (для внешнего партнера) культуры, но и когда встречались существовавшие помимо того в обеих культурах альтернативные культурные представления. В этом случае обе стороны могли использовать существующие процессы интерференции и обоюдно функционализировать их в культурно-политической сфере. Возникла возможность как бы проводить культурную политику «снизу», в обход центрального контролирующего и руководящего аппарата культурной политики. Так, в 70–80-е годы в ГДР, где советским авторам нелегко было найти себе читателя из-за общего предубеждения ко всему русскому, усиленно переводились авторы, выступавшие с острой социальной критикой, которая воспринималась как критика системы. Тем самым литературная жизнь получила дополнительное разнообразие (ср. влияние произведений Айтматова, Распутина, Шукшина, Трифонова и др.).

В связи с этим представляют интерес те случаи, когда так называемые либеральные советские культурные функционеры 20-х годов, высказывавшие мысли, еретические для доктрины социалистического реализма, вновь публиковались в России в 60–70-е годы и оказывались в противоречии с догматической концепцией социалистического реализма (ср. публикации Луначарского, Воронского и др.), или когда в 60–70-е годы в современную советскую культуру вновь входили произведения Ахматовой, Булгакова, Мандельштама или Пастернака, а с 1988 г. – произведения Гумилева и Набокова, а также эмигрантов так называемой третьей волны. И наконец, еще один пример: с весны 1987 г. в изобразительном искусстве Советского Союза произошло одно из серьезных изменений – бывшие художники-нонконформисты получили доступ к общественности и существенным образом изменили иерархию советского изобразительного искусства.

Если рассматривать названные примеры лишь как запоздалое возвращение культурных богатств, которые до недавнего времени «не были доступны», то речь шла бы только о ликвидации табу и постепенном устранении «белых» или «черных» пятен советской культурной истории. Этот процесс как таковой следовало бы рассматривать как поступательное обогащение культуры – взгляд, который можно обнаружить у официальных функционе-



ров от культуры, до того регулировавших культурный процесс по своему вкусу или по соответствующим указаниям «сверху». Однако с точки зрения культуры ситуация иная. Ведь так называемые идеологически и эстетически «чуждые» тексты были «чуждыми», потому что представляли позицию, отличную от официальной доктрины. Занимая снова свое место в жизни (или получая его вообще впервые), они оказываются в качестве – чаще всего запоздалых – исторических интерпретаций системы потенциалом новых идей, мощным во многих отношениях и трудно-оценимым в отдаленных последствиях его воздействия. Они несут не доступную до того в общественной сфере интерпретацию социально-политической предистории современного состояния, а также ее ранние идеологические трактовки, эти «чуждые» тексты косвенно или прямо оказываются в оппозиции к сегодняшним возможным социально-политическим высказываниям, объяснениям или попыткам оправдания. К тому же они вскрывают, делая доступными сознанию, манипуляции, осуществлявшиеся тогда, когда их замалчивали. Их запоздалое признание с необходимостью ведет к множеству интерпретаций, затрагивающих в наиболее удачном случае принципиальные составляющие собственной культуры и экзистенциального окружения или даже ставящие их под вопрос.

Подобные «культурные события» происходили в истории всех восточноевропейских государств. Они показывают, что исходный вопрос о соотношении «советской системы» и «национальных государств» является по сути вопросом о сложной системе, характеризующейся разного рода внутренним напряжением, в которой разные самоинтерпретации могут соседствовать друг с другом. Далее, они делают очевидным, как через эти события, а также сопровождающие их изменения оценок, количественные и качественные изменения, возникают новые культурные системы с повышенной динамикой, системы, все больше отдаляющиеся от управления из одного-единственного центра власти, приобретая тем самым характер «национальных культур нового типа».

\* \* \*

Из всех этих рассуждений следует, что обсуждаемые системы нужно реконструировать не только на поверхностном уровне, по их формальным свойствам, но и рассматривать с точки зрения оценки нарушения ими социокультурных норм. Кроме того, как показывает реальное и возможное взаимодействие качественно

различных культурных моделей, возникших в Восточной Европе в результате изменения баланса политических сил после Второй мировой войны, несмотря на засилие «советской системы» с течением времени под воздействием специфического для каждой страны и замедленного процесса эрозии этой «чужой» системы возникли преобразенные национальные культуры, которые оказались, по причине особенно мощного потенциала развития, внутренним источником не всегда контролируемых процессов в культуре Восточной Европы.

Соотношение «советской системы» и «национальных государств» в области культуры применительно к последним четырем десятилетиям может быть охарактеризовано на основе понятий захвата и обеспечения власти лишь в особых, ограниченных условиях. Чтобы понять его во всей широте в период с 1945 г. по конец 80-х годов, следует не только интерпретировать это соотношение как взаимодействие, но и дополнить его понятием культурной интерференции явлений культурного разнообразия, возникшего в результате формирования национальной специфики отдельных государств, разнообразия, частично разрушающего создаваемое единство «власти» и «культуры» и ведущего к противопоставлению «власти» и «культуры». Поэтому отношения Советского Союза и восточноевропейских государств следовало бы изначально понимать более широко и прежде всего не односторонне, с однонаправленной каузальностью, а определяя их с помощью системно-сравнительных, типологических исследований, в которых можно было бы исходить из ситуаций, близких по исходным параметрам или функционально. При такой методике, по всей видимости, можно было бы лучше выявлять сходства и различия, а также прежде всего выделять внутрисистемные и функционально эквивалентные в соответствующих ситуациях признаки отдельных культурных моделей и процессов.

*Перевод: Сергей Ромашко*

---

# Смена парадигмы в российской культуре. Переориентация между распадом и новым формированием (1987–1997)\*

Одновременно с постепенным распадом сталинской культурной модели, происходившим при Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко, начали формироваться элементы альтернативной модели культурной деятельности, не ставшие однако доступными широкой общественности. В 1986 году обе модели начинают благодаря гласности открыто конкурировать друг с другом, претерпевая при этом из-за хлынувшего на Советский Союз извне огромного потока информации дальнейшие изменения. Под влиянием политических и экономических перемен, которые можно считать следствием конфликта между «консервативными силами» и «реформаторами», а также произошедшего в конце 1991 года распада Советского Союза, в конечном итоге образовался, несмотря на доставшиеся по наследству трудно изменяемые стереотипы мышления и действия, совершенно новый тип культуры, последствия чего, конечно, учитывая влияние усиливающейся региональной самостоятельности, трудно полностью оценить. Для того, чтобы лучше оценить эти принципиальные изменения в тектонике российской культуры, произошедшие за последние годы, частично необходимы дальнейшие пояснения.

Перемены, начавшиеся с приходом к власти Горбачева, повлияли на всю систему в целом, на все сферы государственной и общественной жизни. Исходя уже из одного этого, следует рассматривать понятие культуры в широком смысле этого слова, а не ограничиваться литературой, изобразительным искусством и киноискусством. Это понятие включает в себя как старые формы политической культуры, так и все организации и их финанси-

---

\* Из: Русская культура на пороге нового века. – Саппоро, 2001. С. 3–19.

рование; экономическая ситуация, социальная структура, структура и уровень образования и т. д. – состояние каждой из этих областей на свой манер определяет характер культуры. Широкое толкование понятия культуры оказывается особенно полезным во времена исторических реконструкций, когда не существует четкой иерархии среди отдельных влияющих друг на друга областей культуры, или когда распадается или переформируется культурная система, имеющая более или менее единую структуру, и когда неясными остаются отношения взаимной зависимости ее отдельных областей. Периоды, когда не существует однозначной иерархической структуры, отличаются от тех, когда одна область культуры явно господствует над другой или над всей культурой в целом (что можно сравнить, например, с тем, когда одна специфическая идеология определяет политику, или единственный миф определяет общество, или одно литературное или художественное направление пытается формировать общественное сознание).

Перемены в области культуры в периоды 1985/87 и 1990/91 годов и связанные с ними дискуссии находятся в интенсивном взаимодействии с передававшейся из поколения в поколение советской культурной моделью, создававшейся в течение почти 70-ти лет и продолжающей действовать и по сей день. Исходя из этого вполне понятно, что находятся функционеры, желающие сохранить данную культурную модель в ее принципиальных чертах, другие же выступают за ее преобразование и даже ставят ее полностью под сомнение. В то же самое время дискуссия о новом определении характера культуры беспрерывно обогащается за счет информации и опыта, поступающих извне, которые затем интерполируются и функционализируются в новом контексте в зависимости от групповых интересов.

Ввиду этой специфически напряженной и противоречивой ситуации в области культуры, следует не только проследить за особенностями распада и преобразования российской культуры, но и задаться вопросом, носит ли этот процесс существенный или лишь поверхностный характер, и можно ли его считать показателем действительной способности к изменениям (и этим самым, возможно, способности к реформированию). Тем более, что при трансформации изначальной сталинской культурной модели речь идет о ее деидеологизации и деполитизации. Более того, взаимодействие между «распадом» и «новым формированием» означает именно способность конструктивно перенять остатки старой

культурной системы, а также способность соединить отдельные, чуждые этой системе фрагменты (по возможности) в единое согласованное целое. При этом можно по характеру и степени интеграции гетерогенных системных элементов различного происхождения прежде всего судить о гибкости, фантазии и воле общества, да собственно говоря, и о его ведущих личностях, придающих преобразованиям существенный характер.

Специфика культуры периода перестройки проявляется особенно ярко, если проанализировать, почему группа ведущих функционеров, сплотившаяся в 1985–87 гг. вокруг Горбачева, посчитала необходимым проведение реформы коммунистического режима. Ситуацию отличали среди прочего следующие особенности:

– За 70 лет часть номенклатуры осознала две вещи:

(а) «порядок в государстве» – а не идеологическое единообразие, как было принято считать в 50-е и 60-е годы, должен быть первым гражданским долгом;

(б) любой «беспорядок» опасен и поэтому должен быть предотвращен любым возможным способом.

– Непосредственно перед приходом к власти Горбачева было также вполне ясным, что «слишком много порядка», особенно если он будет слишком длительным, может неизбежно завести в экономический и внутривластный тупик, что может в конечном итоге означать потерю власти или даже конец в прямом или переносном смысле. Неизбежным считаю также то, что номенклатура потеряет свое влияние, а Россия – господствующее место в мире.

– Анализируя за кулисами общественную ситуацию и ее будущее развитие уже при Андропове и Черненко был сделан вывод, что коренной пересмотр в области экономики неизбежен. Решение проблемы виделось в активном, однако опять же контролирующем вмешательстве «сверху» с целью мобилизовать «снизу» резервы экономического развития, которые смогли бы оживить, восстановить и сохранить всю общественную систему в целом.

Иллюзорный и примитивный характер предпосылок, из которых исходила перестройка, а также первые мероприятия, сопровождавшиеся громогласной пропагандой (антиалкогольная кампания, кампания по повышению производительности труда и т. д.) и их последствия широко известны.

Механизмы взаимодействия между «верхами» и «низами», собственная динамика, а также с трудом дающееся претворение решений в жизнь были как всегда так же мало учтены, как и то глубокое недоверие, которое проявляли все стороны по отношению к любому новаторству.

В подобной ситуации было более чем логично, что «сверху» говорили о необходимости «коренных перемен», а не только лишь о корректуре исходной системы, и что на фоне всеобщего общественно-политического застоя семидесятых годов любой вид преобразований должен был выглядеть как революция. В то же время было относительно ясно, что учитывая пресловутую медлительность государства и партии, будет, конечно, недостаточно просто начать изменения. Большая часть государственного и партийного аппарата была во всяком случае не способна к переменам, да и не желала их. Исходя из этого было вполне понятно, что следовало заранее учесть и сломить возможное «внутреннее сопротивление». Провести подобную акцию можно было доверить лишь одной небольшой группе людей, в первую очередь это были люди, как правило, находившиеся в течение многих лет вне партии или в изоляции внутри партии, и поэтому стоявшие «вне» самого руководящего состава. В качестве «рычага» для проведения нового общественно-политического начала также не годились и те, кто хорошо устроился внутри партийного и государственного аппарата, но с годами потерял веру в преобразования. Исключением в этом смысле оказались очевидно только те активные комсомольцы, которые (как вскоре оказалось) очень быстро распознали признаки времени и в течение кратчайшего времени сумели перевести партийное и государственное состояние по своим каналам (в банки).

В конечном итоге, сначала сложилось то состояние неопределенности, когда было неясно, менять ли что-нибудь в политической ситуации или нет. Проблема состояла таким образом лишь в том, достаточно ли сильным окажется толчок и желание добиться проведения структурных изменений. Особенно много при этом зависело от характера и способности действующих лиц преодолеть упрямую настойчивость партийных функционеров и аппаратчиков и их страх лишиться влияния и привилегий. Для того, чтобы преодолеть предубеждение по отношению к новому, немало зависело также от умения преодолеть страх оказаться жертвой собственной биографии. Конечно одними призывами к новаторству нельзя было повлиять на зачастую важнейшее качество —

способность мыслить по-новому. Кроме того, учитывая развитие, произошедшее за прошлые десятилетия, никто не мог себе представить, что дело закончится лишь поверхностными преобразованиями системы, то есть устранением перегибов (несправедливостей прошлого). Итак, одна сторона означала – жить в спокойствии, от другой же исходила угроза собственному существованию.

Даже для тех, кто в первую очередь был призван проявлять преобразовательные инициативы, теория резко отличалась от ее практического воплощения в жизнь. По этой причине вместо того, чтобы действовать, сначала лишь много и безрезультатно говорили и писали. Таким образом шансы прагматически связать концепт с его реализацией вновь оказались лишь только на бумаге.

Такая же ситуация, хотя и по другим причинам, сложилась у тех, кто должен был «снизу» участвовать в провозглашенных «коренных преобразованиях» и «перестройке общества». Это были в первую очередь те, кто уже после окончания Второй мировой войны питал надежды и стремления на «коренные преобразования», кто вновь надеялся с началом оттепели 1955–1956 годов на действительную внутреннюю и внешнюю разрядку и оказался в конечном итоге обманутым в своих ожиданиях. В отличие от находящихся «сверху», эти люди «снизу» не были вынуждены в той же мере как и «верхи» сами проявлять инициативу. Итак, «низы», разве что за исключением диссидентов 60-х и 70-х годов, игнорировали как и прежде «верхи», старались быть незаметными, уединялись для спокойной жизни на своих дачах, умело уклонялись, внося также как и многие другие свою лепту в циничную игру, в которой дело расхodziлось со словом. Они были обмануты историей и довольствовались тем, что было возможным на практике. Эти люди были реалистами, выглядевшими лишь издалека безобидными, на самом деле они вели дома за кухонным столом бурные дискуссии. Благодаря им в конце 50-х годов создалась бытовая культура со специфической структурой, которая постепенно разрослась по другую сторону официальной власти в неофициальную деятельность мужественных диссидентов, превратившись в настоящее течение. Этими людьми, остававшимися в тени официальной и неофициальной деятельности, была создана собственная, самоорганизующаяся и сама себя поддерживающая культура товарообмена, соседской взаимопомощи и доброго согласия, которая незаметно пронизала не только все сферы официально разрешенного и выставленного напоказ, но

также и те сферы неофициальной жизни, которые не были категорически запрещены.

Кроме того, еще существовали обманутые в период оттепели в своих надеждах и стремлениях и поэтому разочарованные либералы, целью которых было достичь на основе некоторых преобразований исходной системы компромисс для практической будничной жизни. Этот компромисс основывался на идее, что изначальную сталинскую общественную модель можно преодолеть лишь путем согласования интересов «верхов» и «низов», а гуманное общество можно создать только на основе свободного развития личности.

Эти либералы были, начиная с 60-х – 70-х годов, борцами, не имевшими соответственной арены борьбы, диссидентами, не имевшими собственного общественного мандата. Их сильная сторона заключалась в разоблачении и критике партийных недостатков, а иногда и всей господствующей системы в целом. Во времена же неожиданно наступившей перестройки их слабость состояла в том, что они не были в достаточной мере подготовлены и обучены думать одновременно концептуально и прагматически. Как следствие, они не сумели распознать возможности, открывшиеся после 1985 года и были не в состоянии хотя бы разработать альтернативные концепты. Таким образом у них преобладало два вида проектов совершенно разного направления, касающихся деятельности и общества: во-первых, это были проекты, предусматривающие постепенное улучшение в тех сферах деятельности, которые были им с их точки зрения хорошо знакомы, во-вторых, это были проекты, претворение которых в жизнь при царивших тогда в Советском Союзе условиях было невозможным.

Таковыми были основная направленность и исходное состояние начавшейся в 1985 году перестройки, а также соотношение сил как на уровне тех, кто прежде стоял у власти, так и на уровне тех, кто должен был в конечном итоге в определенной степени выгадать от дальнейшего развития. В период между 1985 и 1987 годами, то есть в то время, когда гласность была разрешена только в «маленьких дозах», мы имеем дело с типичной для переходных времен ситуацией, когда страх смешивается с надеждой, и когда всем группам неясно, как все разовьется в дальнейшем. На словах, во всяком случае, «верхи» предлагали «низам», а также всему обществу в целом, как это было и в период оттепели 50-х годов, оживить и развить все виды общественной деятельности.



Развитие в период между 1985/87 и 1996/97 годами можно подразделить на две большие фазы (1-я фаза: до 1990/91 года; 2-я фаза с 1991/92 до выборов осенью 1996 года), когда почти незаметно произошла смена культурной парадигмы. Доминанты старой и новой парадигмы имеют совершенно разные установки и соответствуют двум общественным моделям с совершенно разной структурой, характерным для которых однако остается наличие скрытых подводных течений, состоящих из тяжелого наследия элементов сталинской культурной модели.

Это необычное состояние между упорным желанием сохранить старые культурные формации, их распадом и возникновением новых, происходившее в условиях выжидания и осторожных преобразований (после первых сигналов, начавшихся летом 1986 года) и в условиях окончательной победы гласности в средствах информации (весной 1987 года) заметно изменило общество, сделав его более открытым и положило начало тому процессу, который собственно и называют периодом перестройки. Гласность заканчивает характерное для периода 1985–1987 годов состояние неопределенности между «стремлением идти вперед» и «желанием вернуться назад». Это оказалось благоприятным для тех, кто в свое время содействовал оттепели (в 1956 году и в последующие годы) и теперь вновь оказался в центре общественного внимания, а также для всех тех, кто сохранил способность думать необычными категориями. Это были люди, стоящие «вне», никогда однако не выступавшие открыто против партии и государства, а также молодые люди из круга бывшего руководящего состава, распознавшие свой исторический час, которые исходя из прагматических соображений быстро настроились на будущее, в создании которого они были теперь вправе участвовать, и начали использовать в своих целях возможности, открывшиеся в средствах информации. Это было время, когда цензура довольно часто вела себя сдержанно и не вмешивалась (цензура была отменена только в 1991 году), время, когда начали анализировать «белые» и «черные» пятна истории, когда в общество постепенно проникало неофициальное искусство, начавшее свое развитие в конце 50-х годов, когда в средствах информации появилась официально запрещенная прежде литература, произведения как российских писателей, так и писателей-эмигрантов, когда начало выходить в свет множество газет и создавались новые театральные студии и вообще публиковалось невообразимое количество новых книг как своих, так и иностранных авторов, это было время, когда

культурная и политическая общественность приобрела совершенно новый характер.

Основным отличием начавшегося тогда развития было то, что стабильность господствующей до этих пор общественной системы оставалась под контролем, несмотря на изменения в средствах информации. Гарантией тому служили почти не тронутые тогда еще управленческие и имущественные отношения. Пресса, охваченная со временем настоящей лихорадкой, где одно событие, казалось, шало другое и чуть ли не каждый день публиковались новые разоблачения из советской истории и советского общества, десятилетиями представлявшихся идеальными, вызвала в конечном счете лишь незначительные сдвиги в принципиальных для власти основах исходной системы. Новое и, конечно, освобождающее состояло в том, что можно было иметь казалось бы бесконтрольный и полный доступ почти ко всей информации, а также в том, что появилась возможность совершать поездки (при наличии годного заграничного паспорта).

Неожиданная же либерализация в области культуры, начавшаяся с приходом к власти Горбачева, явилась, несмотря на выжидательное отношение со стороны большей части центральных руководящих и административных органов, чем-то совершенно неожиданным, революционным по отношению ко всем прошлым периодам советской истории, последствия чего в то время еще невозможно было распознать. Она основывалась в общем на впечатляющем количестве новой информации, поступающей как изнутри страны, так и извне, позволяющей совершать критическое осмысление прошлого и настоящего и особенно свойственных этим временам мифов. Особенный эффект состоял в конечном итоге в том, что в течение нескольких лет прошлое (со всеми свойственными ему нерешенными проблемами, которые теперь можно было обсуждать) сумело «наверстать» настоящее. Итак, прошлое было не только оживлено и постепенно обретало «лицо», но и стало из-за своей большой актуальности равнозначной частью настоящего, не став при этом однако «преодоленным». События, расставленные историей в хронологическом порядке, обрели теперь в сознании новое значение: события прошлого не предшествовали теперь непосредственно настоящему, а как бы пространственно объединились с ним, не будучи при этом полностью проанализированными и понятыми. Такая же ситуация сложилась и со всем тем, что до этого времени было «чужим» (или «другим»), которое вдруг оказалось (а нередко и просто казалось)

«своим» (сравни среди прочего интеграцию эмигрантской литературы, а также многие к тому времени переведенные тексты из источников, имевших совершенно иные культурные традиции). Совокупность всех до этих пор сложившихся представлений, убеждений и т. д. вступила таким образом в конкуренцию с теми представлениями, которые сформировались на фоне других культурных традиций и общественно-политических моделей.

Исходя из одного только изобилия и разнородности подобной новой или считавшейся новой старой информации, а также стремительно определившегося направления средств массовой информации, можно распознать, что сформировавшееся из этого новое сознание и связанное с ним эйфорическое чувство свободы должно было неизбежным образом оказать обратное влияние на прежнюю структуру организаций и позицию их руководства.

Вследствие этого внешне еще сохранившиеся вертикальные структуры власти потеряли свои теснейшие связи, стали неработоспособными, разделились и были приватизированы. Появление новых смешанных административных форм, а также наличие параллельных и создание совершенно новых органов настолько изменило и сделало настолько непонятным разделение функций внутри учреждений и организаций, что во многих случаях оставалось только констатировать факт их самостоятельности и почти полной независимости друг от друга. При этом некоторые их новые отделы получили широкую независимость и вступили в конкуренцию со старыми. Лежащий в основе этого процесса принцип, однако, не равнозначен издавна известному принципу разделяй и властвуй, исходящему «сверху», это скорее осуществление власти отдельными органами, не имеющими однозначной связи с вертикально построенной структурой и механизмами власти.

Таким образом, изменения означали одновременно распад старого и формирование нового. Это касалось всех государственных, партийных и прочих органов.

В конечном итоге упрямые и неспособные к переменам оказались в проигрыше, а гибкие и творческие люди вышли победителями. Новым при этом однако было то, что этот процесс оказался выгодным не только для тех, кто уже прежде держал власть в руках, но и для тех, кто только теперь проявил инициативу к действию «снизу». Открывшаяся теперь в обществе свобода действий должна была вызвать неуверенность прежде всего у неспособных на изменения людей и вынудить их к ответной реакции. В разрозненной коммунистической партии к 1989 году сформирова-

лись скрытый «правый» полюс вокруг неославянофилов – сторонников «русской идеи» с одной стороны, и воинственное ядро наступательного оппозиционного движения во главе с Ниной Андреевой с другой стороны, ставшие в конечном итоге эмоциональной и идеологической основой для произошедшего летом 1991 года путча против Горбачева.

По ходу событий между концом 1990 года и первой половиной 1991 года можно ясно видеть, что бывшие административные аппараты власти разрушались и поэтому чувствовали себя неуверенно, но как и прежде ожидали в сущности восстановления статус-кво анте. Прежние институты власти перестроились на самом деле лишь внешне и поэтому принципиально отличались от средств массовой информации, работавших действительно по-новому. В отличие от этого вузы и академии, как и многие другие традиционные учреждения, не были до этих пор в большой степени затронуты преобразованиями. Разве только то, что некоторые их сотрудники, например, писатели, ушли в публицистику и стали активно использовать возможности общественного влияния. На внутреннюю структуру исследовательских направлений, предметы обучения, экзаменационные темы и т. д. это однако не оказало никакого влияния.

Существенным для данной фазы оказалось, наряду с фактом «только преобразования» старой общественной и культурной системы, еще и кое-что другое. Тот, кто видел в своем уходе в публицистику последний шанс своей жизни, придти путем изменения сознания к более гуманному обществу, тот безоговорочно придерживался принципа, что каждый должен всегда активно работать в интересах всего сообщества. Каждый индивидуум должен был таким образом жертвовать собой как самостоятельной личностью для блага всего общества и не являлся более рупором дирижерской общественной модели, зависящей от партии и государства.

Разнородность информации, наблюдаемая в основной тенденции этого, в общих чертах здесь описанного процесса преобразования культурной модели соответствовала некоторой противоречивости событий. Данная противоречивость характерна для фаз отторжения и перехода, представляющих собой своего рода тигель, где в процессе распада и перемешивания одновременно образуется что-то другое, новое.

Если считать фазу, начавшуюся с приходом гласности, революцией из-за совершенно новой по сравнению с прошлыми деся-

тилетиями информационной политики и доступности информации, то переход от первой фазы ко второй (это значит от периода 1985/87–1990/91 годов к периоду 1991/92–1996/97 годов) следует считать периодом, когда почти незаметно для современников произошла пусть не столь сенсационная, в конечном итоге однако более чем драматичная смена парадигмы в российской культуре. Это отразилось в полном смещении действовавших до тех пор ориентировочных норм, признаки которых нашли свое отражение в становящейся начиная с 1991/92 годов все более отчетливой общественной модели. Ее основные конституционные принципы базируются на сложившихся совершенно по-новому отношениях взаимосвязи между культурой, государством, обществом, экономикой и личностью, для которых гласность хотя и составляла предпосылку, но не являлась однако решающим условием. Сюда же следует среди прочего отнести также тот факт, что эта общественная модель не пропагандировалась громогласно и не комментировалась открыто в прессе, а формировалась, так сказать, беззвучно и не вызывая внимания. Ее развитие не основывается более на преобразовании модели, формировавшейся на протяжении 70-ти лет, хотя в ней и продолжают как и прежде действовать некоторые основные принципы исходной модели, не становясь однако при этом доминантными.

Каковы же основные признаки новой парадигмы и как они взаимодействуют друг с другом?

Разнообразность к широкая доступность средств массовой информации, ставшие возможными с приходом гласности, стали рассматриваться начиная с этого момента как нечто само собой разумеющееся; никто более не думает о том, что им может снова грозить опасность. Итак, гласность не является более непосредственным двигателем общественных процессов, она создает лишь необходимую для них среду. В сущности гласность выполняла двигательную функцию лишь в период до 1990/91 годов, как как вместо того, чтобы способствовать формированию общества с новой правовой и экономической структурой, она вызвала длительную активизацию культурного сознания, но и одно это уже было выдающимся событием. Благодаря этому проявились разнородность и противоречивость общественной реальности и только теперь появилась возможность открыто обсуждать факты, которые раньше замалчивались или манипулировались. Если наконец принять во внимание огромное количество информации, исходившей из совершенно иных культурных традиций и опыта,

считавшихся до сих пор «чуждыми» моделей, которые в свою очередь тоже оказывали влияние на общество, то прежнее, как правило стереотипное «советское» сознание» было не только не в состоянии справиться с этим процессом, оно подверглось прямо-таки неизбежному процессу испытанию на прочность.

Появление всей альтернативной информации не имело в это время никакого значения, принципиального ставящего власть под сомнение, но оно вызвало с одной стороны, большую неуверенность как среди административного аппарата, так и у правящей власти, с другой же стороны, реактивировало многие конструктивно задуманные инициативы и в тех сферах, которые не были охвачены узким понятием культуры. Таким образом были созданы хотя бы некоторые предпосылки, оказавшиеся после отказа от коммунистической партии и в конечном счете от ее права на власть очень существенными для возможностей развития тех сфер, для которых гласность не являлась исключительным условием. Здесь в первую очередь следует назвать экономику и всю сферу юриспруденции в целом.

После того, как коммунистическая партия перестала быть последним, хотя и рассматриваемым с дистанции общественным ориентиром, распад Советского Союза на отдельные республики, усиление региональной власти по сравнению с прежними центрами власти, перераспределение партийного и государственного имущества, произошедшая в это же время либерализация цен и вызванная ею инфляция оказались решающими для процесса переориентации общества и образования новой общественно-политической и культурной парадигмы. Следствием преобразования и создания новых структур власти была, начиная с этого момента, общественная активность на всех уровнях. Там, где на ранней стадии перестройки средства массовой информации должны были мобилизовать сознание и кроме того осуществлять функции контроля за партией и парламентом (Верховным Советом), деньги как свободно применяемое средство власти стали играть центральную роль в процессе общественного формирования. Именно деньги легли в конечном итоге в основу нового определения социальных ценностей для каждого в отдельности и составили основу для реорганизации социальной пирамиды.

Этот процесс, протекавшей сначала незаметно для прессы, занятой множеством поверхностных проблем, начали и развивали люди, не игравшие прежде ни в культуре, ни политике, ни в экономике никакой существенной роли. Это были в большей мере

люди, для которых решающее значение в их успехе по созданию новых позиций власти имело не столько их образование, сколько находчивость (не в последнюю очередь их способность обойти закон). Существенным было только одно – их умение пробиться, что нередко отражалось в их стремлении улучшить свой имидж, используя услуги телевидения, которые они сами же и финансировали, а также в выставленном напоказ богатстве. Эта иногда особенно сильно бросающаяся в глаза диспропорция между отсутствием образования и финансовыми возможностями отразилась в огромном количестве анекдотов «о новых русских», которые сводились все к одному смыслу: *хотя у тебя и есть деньги, но ты на самом деле и не знаешь, что ты в сущности необразованный, а то и глупый человек.*

Итак, культура и образование не имели решающего значения для процесса преобразования и выживания. Непосредственным стимулом, побуждающим к действиям, хотя бы из одного только стремления выжить, в это время почти для каждого человека стали деньги. Имеешь – или не имеешь, от этого зависела свобода действий, свобода передвижения и проживания, улучшение социального статуса, а также влияние. Так деньги все больше и больше вытесняли первоначальное переплетение связей и систему привилегий старой власти.

Переход от вакуума власти, который постепенно сформировался на первой фазе перестройки по причине того, что влияние административного и управленческого аппарата ослабло, к новой консолидации центра власти, происходил одновременно с усилением значения денег, которые собственно стали «третьей правящей властью». На основе этого возникло своего рода чувство вседозволенности, а регулирующие критерии, действительные когда-то для каждой сферы, признавались лишь условно. Целостность государства и общества была нарушена, а ответственность каждого в отдельности перед обществом в целом существовала только на словах. Если прежде общественно-политическая система и ее механизмы власти были решающими для каждого в отдельности, то теперь определяющими для большей части общества все чаще становились группы, имеющие общие интересы, и даже отдельные личности, которые, пользуясь моментом, удовлетворяли свои собственные интересы и интересы своего клана. На смену идеологически обоснованному отождествлению с государством или хотя бы со связанными с ним принципами действия, приходит отождествление со своей собственной сферой влияния

и преследование своих собственных интересов. Первоначальное намерение создать все условия для корректуры и модификации исходной системы было забыто и пожертвовано в пользу идеи «приватизации государства». Это в свою очередь опять же способствовало распаду исходной системы и ускорило его. Взаимосвязь между экономикой, обществом, культурой, образованием и т. д. подверглась таким образом настоящему и длительному процессу структурного переформирования.

Самым страшным в этом, и в настоящее время еще не законченном, процессе было то, что это так называемое новое структурное формирование не имело продуманного концепта и уже в ранней стадии оказалось под сильным влиянием капитализма. Эта тенденция вызвала в свою очередь у многих людей чувство неуверенности и ностальгии по доперестроечным временам, во всяком случае по «сильной руке», и вынудила политических деятелей в их борьбе за избирателей идти на популистские компромиссы. Этим объясняется, почему пережитки и регулирующие критерии прежней модели встали в один ряд с новыми идеями и идеями, заимствованными из других общественных моделей, и были приспособлены к некоторым частям старой, или во всяком случае казавшейся новой системы, не став при этом интеграционной частью общего концепта. Характерным поэтому для новой и противоречивой культурной парадигмы является отсутствие инстанции, которая бы в большей или меньшей мере признавалась всеми и которая могла бы руководящим образом расставить новые акценты в сложившейся общественной ситуации, где все беспорядочно перемешалось.

В качестве примера я приведу здесь приватизацию сферы образования по англосаксонскому образцу, проведенную несмотря на нехватку необходимых для этого финансовых ресурсов: в России не имеется ни среднего общественного слоя, который был бы экономически достаточно сильным, чтобы изыскать необходимые для этого средства, ни развитой структуры фондов. Или еще один пример из той же сферы: введение дипломов бакалавра и магистра с ориентировкой на рыночную экономику, где спрос регулирует предложение. Насколько проблематичной такая система обучения оказалась даже для самой Америки, где существует совершенно иная, чрезвычайно гибкая экономическая и социальная система, давно известно. Насколько же сложнее должна быть ситуация в России, находящейся почти на уровне развивающихся стран, где из-за новых тенденций в системе образования фунда-



ментальным исследованиям уделяется столь же мало внимания, как и дальновидной научной политике, и работе с молодыми кадрами.

Следующая отличительная черта новой парадигмы, сформировавшейся вследствие многообразия средств массовой информации и коммерциализации общественной жизни, заключается в активизации потребительской ориентации. Эта ориентация не только оживила экономические интересы, она способствовала в то же время созданию нового вида массовой культуры. С этой специфической массовой культурой переплелись признаки свободы (теперь не только в смысле свободного доступа к информации), вседозволенности и всесторонних возможностей. Кроме того, возможность планирования и претворения в жизнь любых целей привела к тому, что довольно легко и бездумно пропагандировались реформы во всех сферах общественной жизни (среди прочего и в экономике), хотя на самом деле они имели скорее «характер мелкого ремонта». Типичным было поэтому процветание таких сомнительных концептов повсюду там, где в период до 1991 года на первом плане стояла оптимизация исходной системы. Обещанный при этом прогресс состоял большей частью в бесконтрольном и окончательном распаде исходной системы в условиях рынка. Эта ситуация примечательна тем, что в это время наряду с нестабильностью в экономике и социальной психологии, а также формированием совершенно новых жизненных, трудовых и ориентировочных параметров, происходит создание новой элиты.

Далее эту парадигму характеризует в общем противоречивый опыт, который способствовал в конечном итоге новому виду «нормализации». Нормальность новой ситуации представляла собой странный симбиоз из собственного и чужого моделирования, не имевшего никаких ясных целей. Его структура выстроена теперь многоступенчато, а не состоит как раньше из двух полюсов, причем одни считают его успехом, у других же он вызывает чувство неуверенности. Что у одних вызывает чувство эйфории, то является для других разочарованием. Создавшаяся из этого противоречивая смесь различных «жизненных условий» воспринимается людьми как «хаос», «абсурд» и т. п. Характеризует эту парадигму то, что бывшие «винтики» вырвались из механизма строго контролируемой административной и руководящей системы и стали самостоятельными, относительно свободными и по-новому организованными силами.

В этом неизбежно проявляется следующий признак: с одной стороны противостояние бывшей старой общественной системе, с другой стороны – ностальгия по ее защищающему спокойствию и сильным ориентирам. Это однако было для каждого в отдельности уже недостаточным для того, чтобы найти по меньшей мере свое место, если не в обществе, то хотя бы в жизни.

Новую парадигму пронизывает новый вид проблемы, возникший частично при больших смещениях, имевших место в экономике, а также в социальной пирамиде. В своем конечном воздействии они настолько сильны, что должны были быть компенсированы стабилизирующими формами и механизмами культуры. Но так как никто не был интеллектуально подготовлен к столь необычной для России ситуации, а культура, как известно, проявляет независимую реакцию на общественно-политические потрясения лишь запоздало, особенно если эти потрясения происходят постепенно, все нововведения воспринимались негативно и вызывали в первую очередь скепсис. Открывшиеся при этом в культуре в принципе широкие возможности для проведения конструктивных изменений остались далеко не использованными.

Советская культура, сформировавшаяся в полной изоляции от других традиций и подвергшаяся с самого начала экстремальной манипуляции, стала в период 1987–1991 гг. содержательнее и разнообразнее, можно даже сказать, что она в какой-то мере «ренормализовалась». Эта «нормализация» произошла за счет хлынувшего из других культур огромного потока информации и опыта, что значительно расширило объем знаний, компетентность же их соответствующей переработки оказалась небольшой. Восприятие и отражение распались и обогатили новую культурную атмосферу скорее поверхностно, чем существенно. Исходя из одних только этих причин, формирующаяся новая культура не могла перенять компенсирующую, регулирующую или связывающую функцию. Она сама состояла из знаний, имевших спорный или относительный характер.

Стабилизирующая, однозначно регулирующая функция культуры, не пользовавшаяся больше спросом как культурное богатство, приобрела в течение нескольких лет сомнительный характер. Вдруг не стало больше ни литературы, ни искусства, отвечающих ясным и гарантированным нормам. Многие отрасли науки, в первую очередь касающиеся культуры, оказались противоположностью тому, чем их считали. Достоверность и информационная ценность исторической науки оказались сомнитель-

ными. Так, новые знания в области истории не использовались в первую очередь для того, чтобы преодолеть (переработать) прошлое, они удовлетворяли, скорее, как и многие средства печати, потребность в разоблачающих сенсациях и создании мифов. Доминирующими в разнообразии и противоречивости информации, захлестнувшей страну, были события. Недостаточное отражение этой не обрывающейся цепи событий не послужило таким образом облегчением для формирования столь необходимой новой культурной ориентации, напротив, оно скорее вызвало в этот период сильнейшее чувство неуверенности. Вместо того, чтобы развить культуру конструктивной дискуссии, все события обсуждались лишь поверхностно и в большей или меньшей мере забалтывались. Очередная новая информация и комментарии нарушали иерархию канонов знаний, не получив при этом однако глубокого отражения, что являлось для этого времени решающим. Эта информация лишь усиливала чувство всеобщей нестабильности. Понятно, что на фоне этого речь шла о «хаосе», «абсурде», «потере ориентации» и «кризисе», и громко раздавались ностальгические призывы возродить прежнюю единую культурную модель или провозглашались широко задуманные, мифические планы ее интерпретации. Итак, попытка культурного подъема одновременно сопровождалась желанием вернуть назад атмосферу культурного спокойствия, застоя и т. д. Условия для коренных структурных изменений в культуре в общем, и в области образования в частности, были таким образом столь же противоречивыми, как и преобразования во всех остальных сферах общества. Молчаливый девиз в этой ситуации мог поэтому означать лишь следующее: *Изменения – «да», но только не настоящие.* Скрывающиеся за подобной позицией принципы действия служат исходным пунктом для самоблокады системы и необязательно должны иметь что-то общее с неприятием реформ, с нападками на реформы, с неповоротливостью и неспособностью административного аппарата к изменениям.

Бросающаяся в глаза противоречивость позиций носителей культуры и потребителей культуры свидетельствует о том, что хотя независимость средств массовой информации и способствует многообразию мнений и представляет собой существенную предпосылку для создания дифференцированного плюрализма в культуре и в обществе, она может в то же время предъявлять чрезмерные требования к обществу. Такая ситуация складывается особенно тогда, когда происходят принципиальные изменения

прочих регулирующих параметров, прежде всего, естественно, в экономической и социальной системах, когда способность людей переработать общественные волнения, происходящие в стране, достигает своих границ. Еще тяжелее в социально-психологическом смысле подобная ситуация становится тогда, когда в такие переходные времена особенно актуальное напряженное соотношение между продолжением старого общественно-политического состояния и общественно-политическим новоначинанием так же мало служит темой для разъяснительной и основательной дискуссии, как и непременно необходимое новое определение функций культуры. Ведь как же иначе можно было отразить вопрос о своем и чужом самоопределении? Как же иначе можно было быть компетентно интегрировать в свою культуру функции и ценность культурного опыта, достигнутого кем-либо другим? Проблема новой культурной парадигмы заключается таким образом в понимании того, что в ситуации столь драматического перелома функция культурной деятельности не должна ограничиваться тем, чтобы подвергать сомнению и контролировать соотношение сил, что она должна кроме того стать в первую очередь инструментом анализа общественного состояния.

И в заключение еще один признак, который дач о себе знать в это время, и который, возможно, найдет еще большее развитие в будущем, а может быть и в нашем обществе.

В ситуации экономического и культурного кризиса в период после 1991/ 92 гг. бросаются в глаза прежде всего две вещи: во-первых, это различное признание попыток объяснить историю, а возможно даже и несостоятельность моделей объяснения истории советского периода, что проявлялось, как казалось, в своего рода усталости от попыток реконструкции исторических событий. Вследствие этого общество усиленно погружается (чему иногда в зависимости от обстоятельств также способствуют средства массовой информации) в неподверженную времени, находящуюся под влиянием других национальных традиций массовую культуру, для которой историческое мышление и реконструкция больше не являются приоритетами. Во-вторых, очевидно благодаря тому, что иерархия культурной ценности первоначальных канонов нарушилась и создались конкурирующие системы ценностей, в культуре в общем сложилось новое отношение к исторически возросшим ценностям, феноменам и т. д. Культурные явления развиваются таким образом не обязательно в течение какого-либо определенного отрезка времени самостоятельно или во взаимо-

связи с другими явлениями, они скорее типологически противостоят друг другу в определенном пространственно систематизированном континууме, то есть сосуществуют друг с другом. Так как они кроме того все больше теряют функцию духовного богатства, к ним не надо больше относиться как к чему-то святому. С ними теперь можно обращаться прагматически, коммерчески и т. д., а не как с историческими предметами, которые следует благоговейно сохранять только потому, что они исторические. Подобное типологично-прагматическое мышление можно наблюдать прежде всего у сегодняшней молодежи.

Таким образом, принимая во внимание признаки новой культурной парадигмы, никто сегодня как и прежде всерьез не заинтересован в реформах в смысле долгосрочных всеобщих общественно-политических перемен. Даже если бы проекты реформ и имелись, то претворить эти реформы в жизнь, как показывает обстановка в сфере вузовского образования и в сфере образования в целом, было бы совершенно другим делом. Инициаторами перемен (например, создание множества частных учебных заведений), происходящих в сфере образования, являются деятели партийного, государственного и военного аппарата, стремящиеся к переменам. За этим стоят интересы думающей о завтрашнем дне новой элиты. Все остальные не обладают знаниями или концептами, необходимыми для подобного предприятия; у них и нет необходимых для этого ресурсов.

Реформы в этих областях имеют и в остальном свои «естественные границы». Исходя из этого, речь в данный момент идет не о реформах, а скорее о частных, то есть негосударственных инициативах. Они вызывают однако только частичные изменения и способствуют в очередной раз лишь раздроблению сферы государственного влияния. Конечно, не исключено и то, что формирование всеобщего, принимающего все больше частный характер культурного сектора когда-нибудь настолько усилится в количественном отношении, что он сможет вступить в настоящую конкуренцию с государственным сектором.

На фоне абсолютно единой системы любое незапланированное раздробление выглядит как беспорядочное возвращение к состоянию хаоса. При этом считается, что только порядок имеет смысл, а все что от него отличается – все абсурд.

При этом упускается из виду то, что слишком много порядка может также означать узость и несвободу (исторический опыт, который постепенно уходит в забытье), а так называемый непо-

рядок (здесь не имеется ввиду беспорядок) может способствовать проявлению творчества и предоставить больше возможностей для активного претворения в жизнь любых инициатив.

Российское общество продолжает и в условиях этой культурной парадигмы оставаться как и прежде раздвоенным. Иногда происходит также раздвоение одних и тех же личностей, как это было прежде, когда имелось два сознания: одно – официальное, другое – неофициальное. Так человек, занимающий сегодня какой-либо пост, вполне может быть противником реформ и перемен в своей сфере, когда же дело касается других сфер, он может быть очень инициативным.

Тот факт, что вертикальные механизмы контроля и управления по сравнению с прошлым с одной стороны ослабли, или даже полностью исчезли, и во многих сферах проявляются инициативы, позволил между тем новым негосударственным структурам по крайней мере сформироваться. Одно это уже является зачастую большим преимуществом. Условием для таких инициатив является однако гарантия их финансирования. Так как государство отстранилось от деятельности в сферах культуры и образования, развитие или даже реформы этих сфер будут еще какое-то время пронизаны противоречивостью и дезориентацией.

Фактом стало между тем одно: прежняя структура советско-русской культуры, организованная по принципу двух полюсов, переформировалась во время перестроечного периода до 1990/1991 года в единую модель со смешанными полюсами и представляет собой сегодня противоречивую поли-структуру без преобладающих доминант.

*Перевод: Эмилия Артемьева*

## Литература

Данные размышления основываются на статьях автора, опубликованных начиная с 1991 года в ряде сборников:

Шесть лет перестройки в области культуры. Предыстория и ход событий // Osteuropa. 1991. Кн. 11. С. 1077–1088 (на немецком языке).

- Между стремлением к проведению реформ и самоуправством. Сотрудничество с российскими вузами в сфере культуры и науки: предпосылки, возможности, перспективы (1991–1993) // *Wirtschaft und Wissenschaft (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)*. 1993. Вып.2. С. 10–19 (на немецком языке).
- Формирование нового понятия культуры в российском послевоенном искусстве (1945–1963) (часть 1) // *Ebert Chr.* (ред.) *Восприятие культуры в литературном мире России. Последовательность и изменения в 20 веке.* – Берлин, 1995. С.207–236 (на немецком языке).
- О положении гуманитарных дисциплин и изменении структуры российских вузов // *Eimemiacher K., Hartmann A.* (ред.) *Russische Hochschulen heute. Situation und Analysen.* – Бохум, 1995. С. 11–31 (на немецком языке).
- Между последовательностью и новоначинанием. Российская культура в переломной фазе (1985–1995) // *Eimemiacher K., Kretzschmar D., Waschik K.* (ред.) *Rußland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur.* Дортмунд, 1996 (= серия: *Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur.* том 5/ часть 1 и 2). С.3–25 (на немецком языке).
- Советское изобразительное искусство до и во время перестройки // *Eimemiacher K., Kretzschmar D., Waschik K.* (ред.) *Rußland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur.* – Дортмунд 1996 (= серия: *Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur.* том 5/ часть 1 и 2 ). С.495–554. (совместно с Е. Барабановым) (на немецком языке).
- Запоздалый счет за ранние грехи: движение, застой и попытка реформ в российской вузовской и научной системе // *Eimemiacher K., Hartmann A.* (ред.) *Der gegenwertige russische Wissenschaftsbetrieb – Innenansichten.* – Бохум, 1996. С.11-22 (на немецком языке).
- Условия структурного изменения вузовской и научной системы в России // *Eimemiacher K., Hartmann A.* (ред.) *Deutsch-russische Hochschulkooperation: Erfahrungsberichte.* – Бохум, 1996. С.5–12 (на немецком языке).

---

# Партийное управление культурой и формы ее самоорганизации (1953–1964/65)\*

## *Предисловие к серии документальных сборников*

Публикация архивных материалов, относящихся к переходным периодам общественно-политической жизни, существенно способствует самопознанию общества и, тем самым, формированию его самоидентификации. Этим создаются предпосылки для диалога с особо значимыми аспектами истории, а «коллективная память» общества стимулируется к тому, чтобы прямо или косвенно определить свою позицию и прояснить свое самопонимание. Дискуссия о прошлом протекает еще более интенсивно в том случае, если она сама осуществляется в переходный период и вынуждена оперировать меняющимися параметрами сразу двух периодов. Очевидно, что в подобной ситуации находится сегодня российское общество. Однако все возрастающий интерес к научно обработанным архивным документам указывает на то, что после «диких лет» периода гласности теперь в России возникла потребность постепенно упорядочить диалог с собственной историей.

Институт русской и советской культуры Ю. Лотмана Рурского университета (Бохум) и Центр хранения современной документации планируют подготовить серию сборников архивных документов по истории советской культуры под общим названием – «Культура и власть от Сталина до Горбачева». Первым в серии издается сборник, посвященный периоду 1958–1964 гг., когда действовали особые органы ЦК, созданные, главным образом, для руководства культурой – Идеологические комиссии ЦК. Хотя публикуемые в данной книге документы относятся исключительно

---

\* Из: Культура и власть от Сталина до Горбачева. Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958–1964. Документы. – М., 1998. С. 5–22.



но к короткому отрезку времени, они вписываются в более широкий исторический контекст, который начал развиваться уже со смертью Сталина в 1953 году. Он охватывает период приблизительно в 10–15 лет, подразделяется на различные фазы и ознаменован целым рядом значительных общественных и, в частности, культурно-политических событий. Исходя из них можно выделить два периода (1-й – с 1953 по 1956/1957 годы, 2-й – с 1957/1958 по 1964/1967 годы). При всем сохранении многих принципов сталинской культурной модели, первый период характеризуется ее заметным распадом. Отличительной чертой второго периода является возрастающее напряжение между преемственностью и попытками новой консолидации – при всем сохранении старой модели, однако и на фоне ее уже начавшегося упадка.

Примерно с 1957/1958 года вновь усиливается координация в культурной политике, что несомненно стало реакцией на достаточно значительные в количественном отношении элементы эрозии сталинской системы управления культурой, просуществовавшей к тому времени почти тридцать лет.

На этом раннем этапе мы наблюдаем антагонистические противоречия между различными общественными группировками, из которых развилась характерная для дальнейших периодов альтернативная культура в России. С начатого «гласностью» переходного периода во второй половине 1980-х гг. мы имеем дело сначала с аналогичной, а затем со все более открытой культурной ситуацией. С начала 1990-х годов она характеризуется коренной сменой парадигмы в культуре, которая дала начало новому переходному периоду, определяемому совершенно новыми параметрами.

Начатое во время «перестройки» Горбачева преодоление прошлого проходило интенсивно, но в большой спешке, выборочно и бессистемно. Сейчас наблюдается вторая волна переосмысления прошлого, сопровождаемая систематической постановкой вопросов и опубликованием архивных документов. В этом ряду стоит и данный сборник документов.

На фоне ригидной сталинской культурной модели (которая, кстати, как и брежневская, представляла собою своего рода «застой» и поэтому нуждалась в корректировке изнутри) было логично, что это время получило название периода «оттепели». Попытки преодолеть стереотипную и безрадостную функционализацию культуры в целях партии и государства и динамизировать ее новыми концепциями нередко давали повод для того, что

в период с 1985/1987 годов «оттепель» рассматривалась как «первая перестройка».

Хотя соотношение политических интересов этих двух периодов отчетливо отличается друг от друга, между ними все же имеется целый ряд явных параллелей. Хрущев расширил свободу действия в культурном пространстве там, где не было нападков на партию и не ставился принципиальный вопрос о власти, а начатое им развитие могло быть последовательно продолжено. Горбачеву была тесна брежневская установка, согласно которой при всех изменениях культурной жизни ни в коем случае не должны были затрагиваться существующие структуры власти, по принципу «послушание – это первый гражданский долг». Он стремился использовать все области культуры для обновления идеи коммунизма с помощью различных степеней гласности.

Уже первое сравнение обоих периодов «перестройки» выявляет общее и различия. Беспристрастное и систематически осуществляемое типологическое сопоставление этих периодов может обнажить значительно более сложные особенности глубинной структуры общества. Они имеют центральное значение для ответа на вопрос о действительных причинах успехов или неудач при осуществлении моделей реформ в недавней советской и российской истории. Осмысление культурно-политической специфики периода с середины 1950-х – середины 1960-х годов имеет здесь ключевое значение.

Собранные в этом издании источники существенно дополняют наши сведения о времени между 1958 и 1964 годами, полученные из различных официальных и полуофициальных текстов, писем и мемуаров. С их помощью возможны новый взгляд и принципиально новая оценка изменяющихся отношений между общественно-политическими интересами власти и культурными потребностями тех, кто не имел никаких функций в государственных институтах и кто был заинтересован в естественных, менее идеологически зависимых отношениях между государством и обществом. Эти документы дают нам также возможность яснее судить об истинных «установках» опубликованных в то время и зачастую абстрактно написанных постановлений ЦК и полуабстрактных, пол у конкретных редакционных статей. С их помощью можно отчетливее видеть общественно-политическую и идеологическую значимость отдельных документов и относительно точно определить, из каких партийных и государственных инстанций исходили конкретные инициативы, приводившие в действие целый арсенал скрытых механизмов руководства и контроля.

Эти документы представляют собой превосходный материал не только для изучения деятельности различных механизмов управления. Они также позволяют проследить постоянно повторяющиеся попытки власти удержать в определенных границах эрозию сталинской культурной модели и сделать ее регулируемой. Однако данный сборник документов не ставит себе целью представить попытки регулирования в этой области во всей полноте, а стремится лишь отразить их наиболее важные аспекты.

Предлагаемый сборник документирует советскую культурную политику, освещая то, как она разрабатывалась, как решалась и политически осуществлялась за кулисами «партийного аппарата». Кроме этого, он содержит множество аналитических и интерпретаторских аспектов, которые позволяют реконструировать как оценку культурной ситуации после смерти Сталина и ее последствия, так и самооценку культурно-политических механизмов управления для проблем общества в целом.

В этой связи имеет смысл различать «основную культурно-политическую концепцию», которая задавала лишь общие контуры и нуждалась в дополнительной интерпретации, и «поверхностные культурные феномены». В то время как «основная культурно-политическая концепция» вырабатывалась в результате долгого развития с 1920-х годов, пока она окончательно не консолидировалась в сталинской концепции культуры, «поверхностные феномены», в значительной степени согласуясь с основной концепцией, реагируют на актуальные проблемы своего времени.

Очевидно, после смерти Сталина начинается ослабление «основной» концепции, незадолго до этого конкретизированной в партийных постановлениях 1946 и 1948 годов. Их относительно однозначная интерпретация и применение после 1956/1958 годов не были уже очевидными. Поэтому создание Комиссии ЦК по вопросам идеологии, культуры и международным партийным связям (1958–1961 гг.), а также основание Союза писателей РСФСР (1957/1958 гг.) может по праву рассматриваться как следствие последовательных изменений культурно-политической жизни между 1953 и 1957 годами и как не всегда скоординированная и поэтому ослабленная, по большей части осуществляемая *post factum* реакция на нее партийных и связанных с государством инстанций. В любом случае документы показывают, что культурная политика между 1953 и 1957 годами не была инновативной ни в отношении механизмов принятия решений, ни что касается их осуществления, а, напротив, реагировала лишь на

возникающие от случая к случаю актуальные события/проблемы. Вместо того чтобы задавать конструктивные импульсы «сверху», речь шла скорее о корректировке импульсов «снизу». С этой точки зрения, «руководство» партии в области культуры заключалось в выполнении функций надсмотрщика, партия не являлась интеллектуальным центром. Поэтому понятно, что центральные руководящие органы испытывали неуверенность и придирались к мелочам, а спокойствие и терпимость по отношению к свободно возникающим культурным явлениям не могли найти себе отклика.

1. Основные принципы концепции, которая после 1953 года официально не была поставлена под вопрос, можно свести к следующему:

– руководящая роль ЦК партии в области культуры, а также идеологическая установка на воспитание населения в духе коммунизма и общественно-политическое развитие в этом направлении не были открыто оспорены внутри партии;

– это «руководство» осуществлялось с помощью постановлений, резолюций, инструкций, причем для их претворения в жизнь строго и всеохватывающе использовались все средства идеологического воздействия. В этих условиях «руководство» представляло собой бюрократическое управление культурой;

– анализ возникающих культурно-политических ситуаций, как и осуществление мероприятий в области культуры, исходили из партийных и околопартийных инстанций; внешне они были идеологически мотивированы, в сущности же организованы узко управленчески.

2. В противоположность этому, многие аспекты политической, общественной и, прежде всего, культурной жизни после 1953 года разительно изменились по сравнению с ситуацией между 1946 годом и смертью Сталина. Обращает на себя внимание то, что значение идеологии как центральной части культуры постепенно вытесняется на периферию по сравнению с тем, что было раньше, а центральное место занимает вопрос о власти как действительно решающий элемент для всех вопросов общества. Поскольку вопрос о власти после смерти Сталина несколько лет оставался не совсем однозначным, реальная руководящая роль партии в периферической области культуры была ослаблена, а культура сама реагировала, чтобы из «периферии» расширить сферу своего влияния. Это привело между 1953 и 1956/1957 годами к ситуации, которая в общих чертах может быть охарактеризована следующим образом:

– борьба за власть после смерти Сталина, необходимость реконструкции промышленности и сельского хозяйства, а также затрудненная из-за ее высокой избыточности возможность использовать культуру как вспомогательное средство политики в целях критики и стимулирования потребовали по крайней мере частичной переориентации, осторожного расширения свободы деятельности и принятия решений практически во всех областях, прежде всего на нижнем и среднем уровне руководства;

– уменьшение страха, а также общий призыв критиковать по крайней мере некоторые недостатки управленческого аппарата и проявлять инициативу вызвали множество начинаний и изменений (среди прочего, ослабление аппарата управления издательств, журналов и кино; заметное увеличение переводов не только восточноевропейской, но также и западноевропейской, африканской, азиатской, постепенно и латиноамериканской литературы и т. д.);

– при всей преемственности идеологизированной культурной работы деятельность все сильнее определяется прагматическими принципами, ведущими в конечном счете к релятивированию пропаганды и возрастающей ориентации на решение других проблем (например, коммерческого порядка);

– по сравнению с прошлым, партийные инстанции (а также и отделы министерства культуры) лишь в сокращенной форме осуществляли контроль и управление журналами, издательствами, репертуаром театров и кино, литературной и художественной критикой и т. д. Ослабление этих контрольных функций давало о себе знать прежде всего в провинции, где не было достаточно специалистов для оценки новых культурно-политических тенденций и определения идеологического и «классового» значения художественных произведений из-за границы;

– либерализация внутренней и внешней политики, а также новая расстановка интересов необходимо оказывали прямое и косвенное влияние на общую культурно-политическую ситуацию. Перед лицом высокой потребности страны в информации существенно повысилось число переводов авторов, относящихся к самым различным культурным традициям. Их «правильная» идеологическая оценка, выбор их произведений, а также конструктивное использование в рамках собственной культурно-политической ситуации вели иногда к большим проблемам (например, произведения Ремарка на фоне традиционного изображения войны в русской литературе того времени). Прием ино-

странных радиостанций на длинных, а позднее и на коротких волнах, количественно заметно возросшая доля произведений литературы и кино из-за границы, театральные произведения легких жанров, работы левых польских, немецких, французских, английских или американских авторов ставили власти в деликатное положение: стало невозможно и далее делать достоянием общест-венности только то, что было «нужно» и «полезно» в смысле принятых общественно-политических установок; нужно было принимать в расчет и то, что в прямом политическом смысле могло оказаться «опасным».

Несмотря на то, что общая культурно-политическая концепция не была поставлена под вопрос и «официально» продолжала существовать, множество маленьких и мельчайших изменений в культурной и культурно-политической жизни привели к 1956 году к следующей новой ситуации:

Герметическая изоляция Советского Союза от значительной части мировой культуры при Сталине и строгое претворение в жизнь идеологически односторонней сталинской системы культуры были постепенно ослаблены (хотя и совершенно недоста-точно). Тем самым подспудно возникала некоторая возможность (которая и была частично использована) публично затронуть несоответствия между утопией и действительностью, между иллюзией и реальностью, между «правдой» и «истиной» и сделать первый шаг к «нормализации» общественной жизни снизу. В ли-тературе эта тенденция, среди прочего, нашла свое отражение в отходе от монументальных изображений «великой правды» и все возрастающем предпочтении бытовой тематики с ее определяе-мым «снизу» фокусом («правда жизни»). Здесь заложены причи-ны исправления односторонних взглядов на свою и чужие куль-турные традиции и на альтернативные стили жизни.

Следствием этого явилась дифференцированная, в значитель-ной степени противоречивая оценка отношений общества, госу-дарства и политики, ведущая на всех политических и социальных уровнях к соответствующим, завуалировано (нередко лишь кос-венно) артикулируемым конфликтам интересов. Если их сформу-лировать отчетливо (что, конечно, в тех условиях было невоз-можно), то все концентрировалось вокруг вопроса, должны ли общественные институты служить людям, или же человек дол-жен занимать по отношению к ним лишь подчиненную позицию. Однако все стороны были едины в том, что любой вид культур-ной изоляции так же губителен для культуры, как и косное, сте-

реотипизированное поведение «аппаратчиков». В результате этой общественно-политической диспозиции был приведен в действие (хотя нередко лишь косвенно) медленный процесс переоценки норм, который, по-видимому, и сегодня еще не завершен, хотя в условиях гласности и ее последствий он открыто дискутируется и в последние годы привел к значительной поляризации общества.

Культурно-политическая ситуация между 1953 и 1956/1957 годами характеризуется антагонистическими противоречиями, причины которых лежат в существенно различных интерпретациях изменившихся политических условий после смерти Сталина. Инициированная сверху «социалистическая демократизация», т. е. оптимизирование господствующей общественной системы в понимании тогдашней КПСС, в результате которой прежде всего должны были быть исправлены перегибы сталинской диктатуры, вызвала ряд инициатив снизу, которые вступили в некоторую конкуренцию с привычной практикой руководства.

Лежащее в основе этого процесса недоразумение было основано на том, что для одних речь шла о демократизации, для других же – о «социалистической демократизации».

Критика сталинизма Хрущевым на XX партийном съезде в 1956 году и разгоревшаяся после этого дискуссия обострили начавшееся уже в 1953/1955 годах развитие, при котором из косвенной критики сталинизма возникали свободные пространства, где отсутствовали указания «сверху» и которые поэтому могли быть использованы *ad hoc*. В тогдашней внутривластной ситуации критика сталинизма Хрущевым была понята как культурно-политический сигнал, на основании которого автоматически устанавливалась связь с попытками 1953/1954 годов перейти к более открытому, свободному от указаний обсуждению общественно-политических и культурных проблем. Здесь, среди прочего, имеются в виду публикации в журнале «Новый мир» (например, В.М. Померанцев. *Об искренности в литературе*. 1953. № 12, Ф.А. Абрамов. *Люди колхозной деревни в послевоенной прозе*. 1954. № 4 и др.), которые в свое время рассматривались как знаки проявления большей человечности с помощью активизации общественной инициативы снизу. Если эти попытки подверглись в 1954 году официальной критике и не получили своего непосредственного продолжения в такой открытой форме, то поначалу это было воспринято как «победа сталинистов». В этой связи антисталинская речь Хрущева на XX съезде была интерпретирована как ясный сигнал к либерализации. Это впечатление

еще более усилилось после проведения выставки Пикассо в 1956, а также в связи с широко инсценированным спектаклем Всемирного фестиваля молодежи в Москве в 1957 году. Однако и это не все. Появились и другие симптомы отхода от сталинистской культурной изоляции и открытия новых возможностей для получения информации как о своем искаженном прошлом, так и о доколе «чужом» и «враждебном» западном мире.

С одной стороны, появившиеся в это время мемуары (хотя, как и раньше, прошедшие цензуру) позволяли бросить взгляд в прошлое, в основном в период 1910-х – 1920-х годов; с другой стороны, постоянно появлялись новые путевые заметки особо проверенных людей, совершавших поездки за границу, круг которых хотя и оставался немногочисленным, но все же стал шире, чем раньше.

Прямые и не прямые формы преодоления сталинизма и его последствий хотя и соответствовали интересам тех высоких партийных функционеров, которые тем самым могли оправдывать свою «новую» политику по отношению к старым сталинистам, все еще занимавшим многие посты, одновременно именно между 1956 и 1957/1958 годами они сделали явными противоречия между интересами партии/государства и большей части населения.

Напряженность этих конфликтов выразилась в возбужденной дискуссии о романе Дудинцева *«Не хлебом единым»*, незначительном в литературном отношении, но поднимающем проблематику бюрократического управления культурой и освобождения творческих способностей личности, а также о новой интерпретации *«Партийной организации и партийной литературы»* Ленина, причем здесь ставился под вопрос основной принцип социалистического реализма о партийности. Насколько серьезен был принципиальный характер этой дискуссии, можно судить по опасениям, что ее последствия в худшем случае могут привести к возникновению неконтролируемых культурных пространств, которые в конечном счете поставят под вопрос централистки организованную систему власти (как в польском восстании и его последствиях). Приведем следующую цитату: «На собраниях писателей и работников искусств подвергается резкой критике сложившаяся в период культа личности практика руководства литературой и искусством. Писатели выражают недовольство системой мелочной опеки и регламентации, администрирования, директивного навязывания субъективных суждений, которые не до конца преодолены еще в практике работы органов искусства, издательств, в нашей печати.



Однако нельзя не видеть, что к критике действительных недостатков в практике руководства искусством примешивается и стремление «освободиться» от всякого влияния партии и государства на развитие искусства, защищается «свобода творчества» в буржуазно-анархическом, индивидуалистическом духе. Попыткой «теоретического обоснования» такой порочной тенденции является опубликованная в *«Вопросах философии»* (№ 5 за 1956 г.) статья Б. Назарова и О. Гридневой (*«К вопросу об отставании драматургии и театра»*), в которой отстаивается идея стихийного развития искусства и выдвигается требование ликвидации государственных органов по руководству искусством. Авторы статьи фальсифицируют взгляды В.И. Ленина, утверждая, что Ленин был якобы против всякого руководства процессом развития искусства, которое является продуктом «свободного цветения». Статья Назарова и Гридневой направлена на отрицание самой идеи партийного руководства искусством.

Следует отметить и ряд других выступлений, направленных против партийности искусства и принципов социалистического реализма. К ним в первую очередь относятся статьи И. Грабаря (*Записки о живописи / «Литературная газета»* 27-го сентября 1956 г.) и А. Каменского (*Размышления у полотен советских художников / «Новый мир»*. 1956, № 7) по вопросам изобразительного искусства и Н. Гудзия (*Забывтые имена / «Литературная газета»* 22-го ноября 1956 г.) по вопросам литературной теории<sup>1</sup>.

Так как в тогдашней дискуссии некоторые писатели открыто оспаривали партийные решения между 1946 и 1948 годами, Отдел культуры ЦК недвусмысленно заявил: «...основное содержание постановлений ЦК о журналах “Звезда” и “Ленинград” и о репертуаре драматических театров совершенно правильно и в важнейших своих положениях сохраняет свое значение и сегодня. Борьба за высокую идейность литературы, против аполитичности, безыдейности, пессимизма, низкопоклонства, призыв глубже изучать жизнь советских людей, запросы народа, свешать коренные вопросы современности, воспитывать средствами искусства нашу молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине и ве-

---

<sup>1</sup> Из записки Отдела культуры ЦК о современной литературе и драматургии, 1-го декабря 1956 г. в ЦК КПСС. «О некоторых вопросах современных настроений и о фактах неправильных настроений среди части писателей». См.: История советской политической цензуры. Документы и комментарии / Отв. ред. Т.М. Горяева. – М., 1997. С.123.

рящей в победу нашего дела, не боящейся трудностей, – все это было и остается важнейшей задачей деятелей литературы и искусства»<sup>2</sup>.

Те же охранительные намерения преследовали и другие официальные и неофициальные комментарии по поводу «отклонений» («групповщина»; «заблуждения»; «формализм», ведущий к «порнографии», «цинизму» и др.), «безыдейность», «аполитичность» и т. д.) в журнале *«Новый мир»* (Д. Гранин *«Собственное мнение»*) и в сборнике *«Литературная Москва»* (П.А. Яшин *«Рычаги»*, Н. Жданов *«Поездка на родину»*, А. Крон *«Заметки писателя»*). Они преследовали цель не допустить отхода от принципов, которые были сформулированы в партийных решениях 1946 и 1948 годов и которые должны были строго соблюдаться (см.: *О партийности литературы // Литературная газета*. 1957. 23 июля; *Коммунист*. 1957. № 7; *Литературная газета*. 1957. 8 августа; см. также призыв партии к основанному 29-го августа 1957 года Союзу писателей РСФСР «систематически пропагандировать политику коммунизма»<sup>3</sup>).

Выраженная в этих цитатах позиция ЦК более чем решительна и почти не оставляет места для многочисленных мелких «отклонений», которые уже стали явными в общественной жизни. Несмотря на однозначность позиции партии в отношении ее общей культурно-политической концепции, она должна была соотноситься с решениями XX съезда, в которых для партии были важны прежде всего три момента:

1. Разоблачение культа личности.
2. Последствия культа личности в деятельности аппаратчиков и их критическое осуждение и
3. Актуализация современных тем в смысле уже намеченной общей концепции. Вновь была установлена связь с высказыванием А. Фадеева: «В большевистском понимании художественная литература это мощная служанка политики» (*«Правда»* от 10-го января 1930 г.), которым в начале 30-х годов оправдывалась «большевизация» (уничтожение противников) литературы, когда в декабре 1956 года было заявлено: «Поручить редакции газеты «Правда» выступить с редакционной статьей, в которой разъяс-

<sup>2</sup> Там же. С. 124.

<sup>3</sup> См. эту резолюцию в тогда только что основанной газете «Литература и жизнь» от 29-го декабря 1957 г. (Цит. по: Справочник партийного работника. – М., 1959. Вып. II. С.139–140).

нить в свете решений XX съезда КПСС вопросы, выдвигаемые писателями и деятелями искусства об отношении партии к постановлениям ЦК о литературе и искусстве, принятым в 1946–1948 гг.»<sup>4</sup>.

Поскольку в 1956/1957 годах социально-педагогическая функция литературы, искусства и т. д., то есть культуры в целом, грозила оказаться в опасности, быть потерянной для партии и государства, а консервативные силы опасались, что тем самым идеологический единый фронт (с его соответствующей данному моменту «генеральной линией») может развалиться, они также стали выказывать инициативу и перетягивать на свою сторону аппарат ЦК. В письме ЦК КПСС группа писателей и художников (Ф. Панферов, М. Исаковский, М. Царев, Е. Вучетич, А. Герасимов и др.) выразила это следующим образом, когда они жаловались, что: «...в творческих организациях подняли головы остатки разгромленных в свое время (1930/1932 годы) партией группировок и течений, которые ведут открытую атаку на основы нашего мировоззрения, на социалистический реализм и на руководство литературой и искусством...»<sup>5</sup>.

Возможно, реакцией на это обращение было закрытое письмо ЦК КПСС в декабре 1956 года ко всем членам партии со знаменательным названием «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов». Е.Ю. Зубкова по этому поводу отмечает: «В письме были подробно перечислены “группы риска”, особенно поддающиеся влиянию чужой идеологии, в число которых в первую очередь попали представители творческой интеллигенции и студенчества. Письмо, фразеология и дух которого настолько узнаваемы, что оно вполне могло быть отнесено ко времени самых яростных разоблачительных кампаний 30–40-х годов, особенно выразительно в своей заключительной части, где ЦК КПСС считает уместным специально подчеркнуть: “...в отношении вражеского охвостья у нас не может быть двух мнений по поводу того, как с ним бороться. Диктатура пролетариата по отношению к антисоветским элементам должна быть беспощадной”»<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> История советской политической цензуры. С.125.

<sup>5</sup> Там же. С.124.

<sup>6</sup> ЦХСД. Ф. 89. Перечень 6. Док. 2. См. также: Зубкова Е.Ю. Общество и реформы 1945–1964. – М., 1993. С.154.

Расхождение центральных партийных интересов и стремлений части интеллигенции, относительно открыто и решительно занимающей противоположные позиции, по крайней мере что касается характера и функций литературы и искусства в узком и культуры в широком смысле, привело в последующие годы к чрезвычайно чувствительному для обеих сторон отношению к вопросу о власти в области культуры. Это особенно показывают значительные явные и скрытые конфликты, находившие свое выражение в дискуссиях, обычно возникавших в связи с большими культурно-политическими событиями (присуждение Нобелевской премии Б. Пастернаку в 1958, выставка в Манеже в 1962 году и т. д.).

Но и менее скандальные «случаи» в прессе, тысячи оставшихся устными и происходивших за кулисами столкновений также заботились о повышении бдительности с обеих сторон в этой чувствительной области культуры. Каждая сторона стремилась сохранить при этом «свою» свободу действий и должна была принимать в расчет возможные скрытые или даже явные конфликты.

На фоне обострившейся между 1956 и 1958 годами ситуации в отношениях власти и культуры в 1958 году была создана Комиссия ЦК по вопросам идеологии, культуры и международным партийным связям (1958–1961 гг.). В ее цели входило распознавание и решение проблем, возникающих из осуществления основной культурно-политической концепции (ее соответствующая времени функционализация в интересах партии и государства в смысле целей Октябрьской революции) и из практики культурной жизни в связи с изменениями внутренней и внешнеполитической ситуации (ускорившееся культурное развитие и дифференциация). С одной стороны, речь шла здесь о культурно-политическом управлении «сверху» (указания, контроль, исправление), с другой – о репликах интеллигенции (писателей, художников, критиков и т. д.) «снизу», в которых она публично выражала свои субъективные оценки или креативные высказывания, не обязательно соблюдая установленные «сверху» нормы или стесняя себя идеологическим контролем (хотя и подвергаясь цензуре).

Власть и культура представляют собой две различные сферы, и даваемые ими оценки ситуации не обязательно всегда должны совпадать. а могут часто протекать в противоположных направлениях. В качестве ориентира в своих действиях «верхи» руководствовались своей «генеральной линией» (центр), от которой при некоторой свободе интерпретации могли при случае отходить

«под-линии» или «около-линии» (периферия). Все другие должны были или искать для себя «нейтральную территорию», или пытаться скрыто провести «передвижение границы», или же заранее быть готовыми идти на риск, возникающий при открытых «отклонениях». Постепенно формировалась становящаяся все более ясной констелляция различных интересов, искавших формы своего проявления. Культурно-политические «события» периода 1953–1957 годов, как и развитие в 1958–1964 годы указывали на то, что, наряду с отчетливой поляризацией между «верхом» и «низом», на высших этажах власти происходила дополнительная дифференциация интересов и имелись расхождения по нецентральному идеологическим вопросам, что позволяло известную свободу действий при решении практических проблем культурной работы. Сходный эффект могли иметь также и незнание, неспособность, собственные интересы, неуверенность или небрежность на средних и нижних этажах власти, прежде всего в тех случаях, когда отсутствовали однозначные указания сверху и срочно нужно было принимать самостоятельные решения.

Предлагаемые вниманию читателя архивные документы создают впечатление, что самое позднее к 1958 году сторонники ограничивающей индивидуальную свободу действия культурной политики партии пришли к выводу о необходимости восстановить старую систему контроля и указаний, ослабленную прежде всего в 1956/1957 годах. На это указывают «стремления к консолидации» со стороны Комиссии по вопросам идеологии, культуры и международным партийным связям, которые активно поддерживались ЦК партии.

Одновременно с этим нельзя не увидеть, что на самом высоком партийном уровне имелось стремление принять решение в отношении старых культурно-политических документов принципиального характера без участия Комиссии по вопросам идеологии, что противоречило ее линии на консолидацию. Примером здесь может служить последовавшая 28 мая 1958 года отмена постановлений партии по поводу оперы В. Мурадели «*Великая дружба*» от 10 февраля 1948 года.

Действительная проблематика конфликтов между концом 1950-х и серединой 1960-х годов концентрировалась вокруг вопроса, должна ли культура, как и раньше, исключительно выполнять роль служанки партии и государства и, следовательно, подвергаться контролю или же она должна иметь функцию партнера по диалогу внутри общества. Другими словами: являлись ли ис-

кусство, литература, кино и т. д. лишь передаточными ремнями «высоких общественно-политических истин» или же они представляли собой способ познания, дававший возможность «искать правду» любым путем.

Хотя вопрос о функции культуры являлся одним из основных проблем культурной ситуации того времени (как и во время культурно-политических дебатов 1923 и 1930 годов), он не обсуждался открыто в широкой общественности. Как показывают представленные документы, вместо этого речь скорее шла о контроле того, что является «полезным» или «вредным» для страны, и о том, как можно совладать с новой ситуацией перед лицом общего открытия страны заграничным и некоммунистическим влияниям (принимая во внимание продолжавшуюся многие десятилетия неизменность основных принципов официальной культурной политики). Поскольку интеллектуальная атмосфера страны все-таки значительно переменялась с середины 1950-х годов, культурная практика изменялась гораздо скорее и заметнее, чем это могло быть регулировано указаниями Комиссии по вопросам идеологии.

Насколько большой разрыв образовался между этими двумя сферами с конца 1950-х до середины 1960-х годов становится ясным, если сравнить архивные материалы, относящиеся к развитию в области литературы, которая задавала тон для всей культурно-политической области, и столкновения вокруг нее. Поэтому стоящая за этим вопросом концепция не могла как таковая дискутироваться Комиссией по вопросам идеологии. Она уклонялась от ее рассмотрения и ограничивалась прагматически ориентированными высказываниями, которые базировались на основной концепции идеологического охранительства и исчерпывались в виде многочисленных предупреждений, указаний и проверок.

В противоположность этому, собственная борьба за новую, дифференцированную и гибкую культурно-политическую концепцию нашла себе место прежде всего в литературе (начиная с 1959 г.), с 1961 года также и в изобразительном искусстве (книжные иллюстрации, выставка в Манеже в 1962 году с последствиями также и для других художественных союзов). Поэтому уместно бросить взгляд на развитие литературы, театра и живописи, которые изменялись значительно более динамично, чем направляющие линии Комиссии по вопросам идеологии. В конечном итоге мы видим, что эта Комиссия не проявляла гибкости по многим конкретным вопросам, в результате этого потеряла возможность действия и была не без причины распущена.

Как же развивалась литературно-политическая атмосфера как важнейшая часть идеологии?

Ситуация была противоречивой. С одной стороны, основание литературной газеты «Литература и жизнь» 4 декабря 1957 года с недвусмысленным определением своего консервативного характера (первый раз она вышла 6 января 1958 г.), постановление от 9 сентября 1958 года о журнале «Огонек» по поводу опубликования произведений, которые «не имеют эстетического и воспитательного значения» (имелись в виду детективные романы), а также кампания против Пастернака в октябре 1958 года сигнализировали ужесточение курса культурной политики.

В то же время особую роль играли публичные выступления Хрущева по вопросам культуры, в которую он вмешивался время от времени. Не сомневаясь во вспомогательной роли культуры для партии и государства, он прямо вмешивался в вопросы контроля, например, литературы и пытался посредничать. На третьем съезде Союза писателей СССР в 1959 году Хрущев вначале существенно ограничил первоначальную критику романа Дудинцева «*Не хлебом единым*», а затем ясно высказался по вопросу о контроле. По его словам, задача партии (имелось в виду, очевидно, само партийное руководство) не состоит в том, чтобы выискивать «ошибочные» работы для их критики и контроля: «Вы опять можете сказать: критикуйте нас, контролируйте и, если произведение ошибочное, не печатайте его. Но вы знаете, нелегко сразу разобраться в том, что печатать. Самый легкий путь – ничего не печатать, тогда не будет никаких ошибок, а человек, запретивший печатать то или иное произведение, будет выглядеть умным человеком. Но это было бы глупостью. Поэтому, товарищи, не взваливайте на плечи правительства решение таких вопросов, решайте их сами по-товарищески» (О литературе. – М., 1960. С.242).

Тем самым Хрущев способствовал все возрастающей свободе действия либералов. Это свободное пространство к тому же расширялось не столько в результате литературно-критической полемики против *догматиков* (как выражались либералы), сколько через публикацию произведений молодых писателей так называемого *четвертого поколения* (Б. Ахмадулина, В.П. Аksenov, Г.Я. Бакланов, В.Ф. Боков, И.М. Хабаров, Е.А. Евтушенко, Ю.И. Панкратов, Р.И. Рождественский, А.А. Вознесенский и многие другие). Исчезновение иллюзий в реальной жизни и общее недовольство задаваемыми идеологией социалистического реализма образцами

вели к тому, что писатели, среди прочего, изображали своих героев как искателей новой правды.

Консервативная литературная критика, которая видела в этой проблематике поколений конфликт между догматиками и *реви-зионистами* (как называли либералов консерваторы) и расценивала подобную литературу в целом как покушение на принципы социалистического реализма и на такие понятия, как «правда жизни», «великая правда», строго осудила (однако без большого успеха) изображаемую теперь «малую правду», «правду факта».

Реабилитации на третьем съезде Союза писателей СССР и на XXII съезде партии (1961), а также окончательное отмежевание от сталинизма улучшили (как и после XX съезда) творческую атмосферу и позволили появление так называемой *литературы десталинизации* (Евтушенко. Рождественский; сталинские концлагеря: Б.А. Дьяков, Л.К. Чуковская, Г.И. Шелест, А.И. Солженицын и др.).

В различных сферах развития контрольного аппарата и культурной практики между 1959 и 1961 годами образовалось два относительно ясно разграниченных литературных лагеря, которые вместе определяли культурно-политическую атмосферу: либералы объединились вокруг журналов «Юность», «Новый мир» и позднее «Москва», консерваторы – вокруг журналов «Октябрь», «Звезда» и «Нева».

Партийное руководство учло сложившиеся отношения на XXII партсъезде (1961 г.): В. Кочетов (с конца 1961 г. главный редактор «Октября») представлял консерваторов, а Твардовский (в 1958–70 гг. вновь главный редактор «Нового мира») либералов, которые смогли добиться победы на тайных выборах в московской писательской организации 4/5 апреля 1962 года. Консерваторы (Н.А. Абалкин, Н.М. Грибачев, Кочетов, Софронов, Л.С. Соболев) не были избраны и были заменены либералами (Е. Евтушенко, А.М. Марьямов, Вознесенский и др.). Последовавший через месяц, 13 мая 1962 года, из провинции (Ростов-на-Дону) выпад консерваторов Бабаевского, Калинина и Соболева против Евтушенко, вместе с жалобой о возросшем влиянии реви-зионистов, не смог остановить это развитие. В конце 1962 года Аксенов и Евтушенко вошли в редакцию журнала «Юность», примерно в то же время либеральный критик В.Я. Лакшин был включен в редакцию «Нового мира». Одновременно консерваторы (Бабаевский и др.) утратили еженедельник «Литература и жизнь» (после реорганизации с января 1963 г. он издавался под названием «Литературная Россия»).



Подобное развитие вело к дальнейшему ужесточению фронтов. Было ясно заметно стремление обеих групп защитить свои интересы с помощью высших руководящих органов партии.

Культурно-политическое развитие, определяемое между 1958 и 1961/1962 годами радикально изменившейся культурной практикой, без сомнения явилось одной из причин того, что Комиссия по вопросам идеологии настолько отстала от реальной жизни, что она все больше утрачивала свои первоначально ей присущие контрольные функции, и поэтому на ее месте нужно было создавать новую комиссию с новыми функциями.

Но вернемся еще раз к культурно-политической практике. В результате продолжавшейся около полугола борьбы между либералами и догматиками (после ряда следовавших одна за другой встреч писателей, художников и т. д. с партийными функционерами, которые организовывались новой Идеологической комиссией) консерваторам наконец удалось добиться поддержки Хрущева и Л.Ф. Ильичева (руководитель Идеологической комиссии) на Пленуме ЦК в июне 1963 года.

Эта ситуация возникла после того, как по настоянию консервативных кругов Хрущев посетил 1 декабря 1962 года особую выставку так называемых художников-нонконформистов, проходившую в рамках выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, и критически высказался о произведениях нереалистического и абстрактного искусства.

Из опасения, что, как в сталинские времена, высказывания Хрущева будут расценены консерваторами догматически и использованы как указание к действию (в марте 1963 г. Ильичев назвал высказывания Хрущева «наказ партии»), ряд писателей и композиторов (Чуковский, Эренбург, Каверин, Шостакович и др.) направили Хрущеву петицию с просьбой противодействовать этому. А в то время, как еще в конце февраля 1963 года московские драматурги содействовали независимому искусству, консерваторы усилили критику на журналы «*Новый мир*» и «*Юность*». В марте Ильичев также резко обрушился против «отклонений» в области эстетики. Всякая возможность идеологического сосуществования была им отвергнута. Подвергнутые обвинениям писатели были призваны к самокритике. Аксенов, Асеев, Мартынов, Вознесенский последовали этому призыву, а Эренбург, Некрасов, Твардовский, а также М.И. Борисова и В.А. Соснора, критикуемые за формализм, промолчали.

Однако ситуация все еще не была ясной. В то время как главный редактор «Литературной газеты» А.Б. Маковский осудил 22 мая 1963 года как левых, так и правых экстремистов, в статье в «Правде» от 19 мая Твардовский вновь выступил с критикой неосталинистов. Одновременно с этим консерваторы пытались укрепить свое влияние путем создания большого союза писателей, художников, композиторов и деятелей кино (аналогичные попытки предпринимала Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП) в 1926 и 1928 годах), а также путем перестановок на руководящих постах. Хотя это им и не удалось, они по крайней мере смогли добиться, чтобы редакции журналов были обязаны усилить контакт с членами партии и комсомола.

Только на июньском пленуме партии были расставлены акценты в принципиальной дискуссии о руководстве и контроле. Руководство партии вновь вмешалось (в духе старой культурно-политической концепции) в спор между в большинстве своем партийными лидерами обеих групп и напомнило о необходимости «партийности», а также резко осудило «натуралистические», «серые», «формалистические», «антинародные» произведения модернистов любого толка. Однако партия отказалась от прямых репрессивных мер против модернистов. По этому поводу Ильичев отмстил, что задача состоит не в том, чтобы «отлучать» подвергнутых критике писателей, а чтобы помочь им понять свои идеологические ошибки (см. «Правда» от 19 июня 1963 г.). Тем самым произошел отход к первоначальным установкам старой Комиссии по вопросам идеологии.

Результатом этой дискуссии (которая началась вокруг искусства, но оказывала свое действие на все области культуры) между практиками и руководящими политиками в области культуры явились возрастающие культурно-политические ограничения. В связи с вновь ужесточившейся культурной политикой нужно рассматривать и процессы над писателями последующих лет: в 1964 г. против Бродского, в 1966 г. против А.Д. Синаевского и Ю.М. Даниэля (оба были на многие годы отправлены в лагерь). В феврале 1966 г. был лишен гражданства В.Я. Тарсис. Последовали акции против нелегальной группы *Смог* (В. Алейников, В. Батшев, Б. Дубин, Л. Жбанов, В. Гусев, С. Морозов и т. д.), а также против подпольных журналов и сборников *Синтаксис* (1959 и 1960), *Бумеранг* (1960), *Феникс* (1961), *Коктейль* (1961), *Времена года* (1962), *Сирена* (1962), *Фонарь* (1963), *Мастерская* (1964), *Бом!* (1964), *Сфинксы* (1965) и т. д.

Культурно-политические дебаты 1963/1964 годов, а также упомянутые процессы над писателями привели в конечном счете к разделению советской/русской культуры на две части. На официальную, контролируруемую, и на альтернативную, не имеющую доступа в общественную жизнь культуру. В этих обстоятельствах было понятным, что, принимая во внимание послушность официальной культуры, Идеологическая комиссия не имела более какого-либо серьезного значения. Альтернативная культура, развивающаяся в неофициальном пространстве, не мешала до тех пор, пока она не стремилась выйти на поверхность. Тем самым острота открытой конфронтации была сглажена.

В последующие несколько лет в официальном пространстве происходили лишь последние бои, пока в 1970 году (изгнание Твардовского из «Нового мира») либералы конца 1950-х годов не были окончательно из него вытеснены. В этой связи интересно отметить, что в последних конфликтах конца 1960-х годов Идеологическая комиссия уже не имела никакого значения.

Все официальные культурно-политические мероприятия осуществлялись по одной установленной схеме: преодоление общих культурно-политических рамок расценивалось как нарушение основной концепции. в принципе сформировавшейся уже в конце 1920-х годов, и с необходимостью вызывало критику и массовые обсуждения. В таких случаях мог привлекаться весь имеющийся в распоряжении партии и государства аппарат идеологического воздействия (газеты, журналы, издательства, такие общественные организации, как профсоюзы, союзы писателей, художников, композиторов, театральных деятелей и т. д.), чтобы повысить «идеологическую бдительность» всех «приводных ремней», посредничающих между ведущими и ведомыми.

Столкновения по поводу отношений между властью и культурой принимали различный характер на разных этажах партийного и государственного аппарата управления культурой. После смерти Сталина, а также после XX съезда партии они находились в зависимости от внутривластной обстановки, а после польского и венгерского восстаний 1956 года учитывалась также и внешнеполитическая перспектива. Наконец, довольно быстро наступающее после смерти Сталина культурное разнообразие также играло роль в более свободных отношениях между властью и культурой.

Несмотря на постепенное ослабление культурно-политической системы управления и идущее параллельно с этим процессом

оживление культурной практики, в культурно-политических дебатах и мероприятиях проявляются свои черты, которые являются типичными для форм коммуникации в условиях тоталитарного государства. Их можно хорошо проследить в языке руководящих органов и в их официальных текстах.

Можно было бы предположить, что язык, употребляемый в постановлениях, решениях и редакционных статьях, наставляющих на «*путь истинный*», будет прост и «*доступен массам*», аналогично принципу социалистического реализма о «*народности*». Однако это было не так. Официальный язык пропаганды, точнее, способ знаковости ее текстов, имел специфический характер, который принципиально отличался от других официальных и неофициальных видов текстов. Его семиотика часто затемняла конкретное содержание, но при этом вполне однозначно доносилось общее намерение. Чтобы наметить *некие* границы, которые переходить нельзя, особенно подходили диффузные «*предупреждения*» в форме указания имен, ссылок на «*враждебные тенденции*» и «*опасности*».

Основную специфику этих текстов образует сам стиль подобной фразеологии, а также, конечно, и содержащиеся в них указания на конкретные обстоятельства. За туманностью их многочисленных пустых фразеологем стоит лишь небольшое количество основных семиотических оппозиций, определяющих оценки содержащихся в текстах примеров и «случаев» и составляющих собственную суть этих текстов. Из возможности редуцировать общую массу текстов можно видеть, насколько они просты в своей косности, и убедиться, что именно их явная избыточность должна была действовать как своего рода «*промывание мозгов*».

Эти тексты образованы посредством идеологической схемы, приведенной на с. 176.

Основная структура и интенция подобных текстов организована по этим абсолютно простым, прозрачным бинарным оппозициям (мы – вы) и связанным с ними функциям (ведущие – ведомые), проявляющимся в документах в самых различных формах.

– Намерения текстов определяются как «*духовные запросы*» (масс, молодежи и т. д.), «*забота о...*», «*о состоянии и мерах улучшения...*», «*усовершенствование...*» и др.

– Неполное или «*неправильное*» претворение в жизнь этих целей связывается с фразами типа «*исправить...*», «*корректировать...*» и т. д.

<b>Мы</b>	<b>Другие</b>
(мы = верх)	(низ)
(мы = партия, государство)	(народ, массы, молодежь...)
мы, которые знаем правду	вы, которые не всегда знаете правду и поэтому постоянно от нее отходите
мы знаем, что для вас хорошо	вы узнаете от нас, что есть хорошо
мы знаем законы развития истории	вы их не знаете
мы строим коммунизм	вы тоже должны его строить
мы устраняем классовых врагов	вы должны устранять все, что связано с классовым врагом
мы переводим (фильтруем) для вас все, о чем мы думаем, что вы не можете этого понять	вы должны получать только то, что мы вам даем
мы даем указания	вы их выполняете
мы указываем на ошибки	вы их устраняете
мы вас контролируем и т. д.	вы исправляетесь и т. д.

– Об ошибках в интерпретации ситуации, событий или развития говорится: «о неверном содержании...», «вредно по содержанию...», «нездоровый интерес...», «об ошибках...», «о крупных недостатках...», «о серьезных...», «о неправильном подходе...», «неправильная практика...», «слабо организовано...», «слабо контролируется...», «неудовлетворительное освещение...», «бессистемное и поверхностное освещение...», «мелкобуржуазная распушенность: анархизм, нигилизм, авантюризм...» и т. д.

Несмотря на однозначность намерений власти, которые просвечивают сквозь глубинную структуру концепции и варианты фразеологии, нельзя упускать из виду, что обращенный к общественности официальный язык именно в силу своей «затуманненности» нуждался в интерпретации, чтобы быть понятным также и «широкими кругами». Что значит «неверно», «нездоровый», «правильно»? Как «неидеологично» или «формально» должно что-либо быть, чтобы быть названным «формалистичным», когда начинается «формализм» и т. д.?

На основании имеющихся сегодня архивных материалов мы имеем сегодня – в отличие от того времени – многочисленную дополнительную информацию, в то время как тогдашние адресаты нуждались в целом ряде посредничающих звеньев. Только таким образом было возможно через действующие на поверхности и за кулисами «передаточные ремни партии» перевести послания «сверху» и, опираясь на наглядные примеры, донести их смысл до общественности.

Эта посредническая деятельность имела по меньшей мере два эффекта. Во-первых, получатели информации имели дело с конкретными «посредниками», однако одновременно и с анонимным «аппаратом». Во-вторых, у общественности создавалась как ясная картина о том, что имеется в виду в конкретном случае, так и о множестве различных «случаев», из дополнительной интерпретации которых опять же возникала диффузная мозаика, в свою очередь требующая интерпретации.

Таким образом, непрозрачность официальных текстов постепенно уменьшалась и пояснялась с помощью фильтров различной величины в форме целого ряда письменных и устных «текстов» без участия широкой общественности. Официальные постановления и резолюции доводились до общественности вначале через редакционные статьи (во многом еще довольно абстрактные), которые, со своей стороны, на основе параллельно распространявшихся закрытых инструкций, записок, писем и т. д. устно разъяснялись на собраниях, семинарах и др., что затем давало материал для так называемых «проработок».

С точки зрения теории текста, различный способ текстуализации «сообщений» выявляет интересную специфику коммуникативных форм в тоталитарных обществах, в основе которой лежат частично энтропические тексты с лишь тенденциально вычисляемым содержанием (по причине неясности слов). Они не сразу полностью понятны, а нуждаются в индивидуализации с помощью перевода. В силу этого тексты могут быть применены не только к действительным, но и к большому числу потенциальных «случаев» (подобно средневековой экземплярной литературе). И их объяснение не обязательно должно ограничиваться названными в тексте примерами. Обращенные к общественности тексты в первую очередь лишь задают общую ориентировку. В этом состоит их «направляющая» функция. В то же время их устное или письменное истолкование относительно однозначно устанавливает, что в данном случае является «правильным», а что нет. Поэтому

не случайно, что эти тексты нередко принимают форму приговоров осуждающего трибунала.

В то время как детальное исследование специфики языка «для общественности» и «для узкого круга» еще оставляет себя ждать, с настоящим изданием заинтересованный читатель получает целый компендиум текстов, которые распространялись и открыто, и за кулисами в чрезвычайно интересный культурно-политический период.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто своей систематической и кропотливой работой сделал возможным появление этого собрания документов. Относительно практической реализации этого сборника моя благодарность адресована прежде всего работникам архивов, в особенности Зое Константиновне Водопьяновой. За компетентное, внимательное и дружеское сотрудничество в разработке общей концепции этой книги я бы хотел особенно сердечно поблагодарить Виталия Юрьевича Афиани. Я очень благодарен также Наталье Георгиевне Томил иной, которая с самого начала сумела создать деловую и доверительную рабочую атмосферу. Наконец, я благодарю Татьяну Федоровну Павлову и Татьяну Михайловну Горяеву за идею познакомить широкую общественность с материалами идеологических комиссий ЦК КПСС.

*Перевод: Эмилия Артемьева*

# Историческое мышление и доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС\*

*Галине Андреевне Белой*

Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС в 1956 г. сейчас, почти пол века спустя со времени самого события, нельзя рассматривать вне общего исторического, политического и морального контекста тех лет, вне контекста процессов, происходивших в Советском Союзе и в «братских» коммунистических партиях, а также вне противостояния, характеризовавшего взаимоотношения государств Востока и Запада во время «холодной войны».

В сборнике, посвященном докладу Хрущева, собрано много разнообразных документов, связанных с темой самого доклада и темой влияния доклада на события, следовавшие после него. Сборник включает в себя как секретные, недавно рассекреченные внутрипартийные документы, так и уже издававшиеся ранее материалы, ставшие достоянием широкого читателя. Сравнение разных видов источников между собой позволит читателю сформировать собственное мнение, в том числе и по тем проблемам, по которым наука из-за недостатка информации вынуждена была довольствоваться гипотезами.

Но в одном сборнике, конечно, невозможно достаточно подробно осветить все темы, непосредственно связанные с докладом Хрущева. В сборник не вошли некоторые важные для этого контекста документы, например, вопрос о реабилитации жертв ста-

---

\* Из: Культура и власть от Сталина до Гробачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. – М., 2002. С. 5–16.

Я признателен Виталию Афиани и Геннадии Бордюгову за замечания и редактуру текста.



линизма, т. к. в последнее десятилетие были подробно разработаны в литературе и в документальных публикациях (см. перечень литературы в конце статьи).

Многие важнейшие документы по этой теме стали доступными в настоящее время, но грифы секретности до сих пор сохраняются на части документов этой эпохи, что, конечно, затрудняет изучение проблемы в полном объеме. С другой стороны, некоторые события, как правило, и не фиксируются документально, поэтому ряд вопросов по-прежнему остается открытым.

Составители стремились, прежде всего, представить читателю основной комплекс документов и, тем самым, помочь читателю по-новому представить и осмыслить значение XX съезда партии. Они, помимо конкретных вопросов, связанных с историей подготовки доклада Хрущева и реакции на него, вызывают желание шире взглянуть на проблему возможности эволюции политической системы и границ этой эволюции. Поэтому нельзя ограничиться тем, чтобы на основе документов восстановить только исторический контекст, в котором могла родиться идея хрущевского доклада, проследить дальнейшее развитие и их последствия в стране и за рубежом. Перед исследователями встанут и общие системно-теоретические вопросы об общественно-политических трансформационных процессах, о роли этики в социальных системах, которые, не прибегая к радикальному, революционному подрыву своих общественных основ, встанут на путь постепенного обновления с целью повышения безопасности граждан и улучшения условий сосуществования внутри страны, а также отношений с другими государствами.

Как известно, доклад Хрущева на XX съезде в свое время был воспринят как попытка преодоления вызванных диктатурой эксцессов. Такой же попыткой позднее должно было стать в Чехословакии превращение построенного первоначально по советскому образцу общества в «социализм с человеческим лицом», а в Польше создание профсоюза «Солидарность» для достижения большего контроля над государственной властью и повышения правовой защищенности граждан. Под таким углом зрения возможно рассматривать и объявленную М.С. Горбачевым гласность (которая, правда, на первых порах допускалась лишь в определенных дозах) и обращенный к прессе призыв взять на себя функцию оппозиции ввиду отсутствия в СССР альтернативных партий. В основе всех этих разнородных реформаторских явлений лежало убеждение в том, что сформировавшаяся под диктатор-

ским давлением политическая система в общем и целом по-прежнему является перспективной и что речь идет лишь о корректировке ее отдельных негативных проявлений.

Истинный характер такой эволюции особенно ярко проявляется при заполнении «черных» и «белых» пятен истории и конкретно в том, насколько беспощадно и в то же время справедливо анализируется проблема личной вины в ее соотношении с навязанными системой нормами поведения.

Влияние доклада Хрущева на историю СССР и социалистических государств делает его интересным с точки зрения сравнительного историко-типологического анализа развития стран Восточного блока. Доклад Хрущева является не просто одним из наиболее важных и интересных исторических событий своего времени: последствия этого доклада влекут за собой ряд дальнейших вопросов, не теряющих актуальность и после распада коммунистических обществ в Восточной Европе. Эти вопросы, которые обычно рассматриваются отдельно друг от друга, по степени значимости представляют собой единое целое.

Позволю себе сослаться на личный опыт. Хорошо помню восприятие первых невнятных слухов о докладе Хрущева и знакомство осенью 1956 г. с полным его текстом. Привыкшие к тарабарскому («партийному китайскому», как его тогда называли) языку средств массовой информации в ГДР и СССР, мы, живя в Восточном секторе Берлина, с воодушевлением восприняли открытость доклада и в то же время были потрясены, узнав о массовых преступлениях, тщательно скрывавшихся от «счастливого и беззаботно подрастающей при социализме молодежи». Доклад Хрущева возбудил надежду на значительные перемены внутри самого советского аппарата власти и, соответственно, внутри диктатуры, которая господствовала в государствах Восточного блока.

В тот период несовпадение красивой личины с действительностью возбудило настоятельную потребность подробнее ознакомиться с основами марксизма и опытом его общественно-политической реализации. Излюбленным чтением для автора и многих молодых людей тех лет в то время стали ранние произведения основоположников марксизма, переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими товарищами (Верой Засулич и др.), а с другой стороны – воспоминания бывших пленников советских лагерей. Все эти книги хотя и не позволяли составить полную картину происходящего, однако, дополняли и углубляли доходившую неофициальную информацию об «инцидентах» «холодной войны».

Реальность ГДР, однако, ставила под сомнение намерение Хрущева и его единомышленников об обновлении социализма «на московский манер». Если бы в то время для нас был бы более понятен язык официальных документов (язык власти), то возможно, поколениям «шестидесятников», в СССР и за рубежом, с самого начала удалось бы уловить разницу между понятиями «демократия» и «возвращение к демократическим нормам» или «нормы демократического централизма». Существенные отличия демократии, насаждаемой «по-централистски» сверху, от демократии «снизу» были осознаны значительно позднее. Похожим образом обстояло дело и с выражением «народная демократия», противоречивым уже по своей сути. С самого начала должна была вызвать подозрение возможность «очеловечивания системы».

Однако процесс развития собственного исторического сознания у автора и многих его сверстников находился тогда в стадии зарождения, лишь постепенно расширялись знания, полученные на строго регламентированных школьной программой уроках истории. О реальных событиях прошлого моему поколению пришлось узнать не из школьных учебников. И факты событий прошлого заставили по-новому осознать всю советскую историю в целом. Речь идет не только об уничтожении целых социальных слоев в 1920-е годы, о беспощадной коллективизации и индустриализации в конце 20-х – начале 30-х, о громких процессах 30-х годов, но и о кампаниях против писателей и критиков: Ахматовой и Зощенко и им подобных в 1940-е годы. Доходили до нас и сведения о многих неприглядных событиях в прошлом стран Восточной Европы: громких судебных процессах против ведущих партийных кадров в государствах-сателлитах Восточного блока в 1947–1952 гг., насильственном объединении социал-демократической и коммунистической партий в 1948 г. и др.

Информацию о действительной жизни «социалистических» стран давали «уроки жизни» – события, которые никак не вязались с объявленной лидерами этих стран программой улучшения системы, демонстрировавшие жестокость власти в Восточном блоке. Это восстания в Польше и Венгрии в 1956 г., которые, как же, как и восстание 1953 г. в ГДР, были жестоко подавлены советскими войсками. За этими событиями последовало строительство берлинской стены (1961 г.) с целью воспрепятствовать бегству немецкого населения от коммунистического режима, а также подавление движения «социализм с человеческим лицом» в Чехословакии (1968 г.). Объявленный в ноябре 1958 г. «Берлинский

ультиматум», с помощью которого Хрущев предпринял попытку отделить Западный Берлин от Запада и политически нейтрализовать его посредством присвоения ему статуса «свободного города», а также кубинский кризис 1963 г., в свою очередь, явственно показали, что и представленный Хрущевым как чрезвычайно перспективный принцип «мирного сосуществования» на самом деле не имел реальных перспектив. Между тем, именно в этих принципах основывалась идея о том, что «холодная война» вовсе не обязательно должна была вылиться в настоящую, «горячую» войну, которую, по словам Хрущева, в принципе можно было избежать. Продолжались и идеологические кампании в СССР против писателей – Симонова, Твардовского. Померанцева, Яшина, Дудинцева, Пастернака и др. в 1950-е годы<sup>1</sup>, конфликты властей с представителями неофициальной культуры (в области литературы, музыки, живописи, театра и кино) в 1960–1970-е годы, за которыми с волнением следили в странах Восточного блока<sup>2</sup>.

Все это создавало иную реальность, чем та, которая утверждалась в докладе на XX съезде. Несоответствие теории, замыслов и грандиозных планов на будущее с повседневной действительностью с течением лет становилось все очевиднее. При всех эволюциях принцип абсолютного господства системы, ее ядра – КПСС, оставался неприкосновенным и после доклада Хрущева, поддерживался тщательно разработанной системой контроля и могущественным партийным и государственным аппаратом. Конфликты с цензурой, многочисленные аресты и высылки тех, кто осмеливался критиковать режим, а также все еще существовавшие лагеря были явным тому подтверждением.

Впрочем, знание последовавших за съездом событий вовсе не было необходимой предпосылкой для того, чтобы выявить продолжавшие окружать нас противоречия между теорией и практикой, иллюзией и действительностью. Эти противоречия внимательному читателю бросались в глаза уже при первом внимательном

---

<sup>1</sup> Кречмар Д. (*Kretschmar, Dirk*). Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко, 1970–1985. – М.: АИРО-XX, 1997; Эггелинг В. (*Eggeling, Wolfram*). Политика и культура при Хрущеве и Брежневе, 1953–1970. – М.: АИРО-XX, 1999.

<sup>2</sup> Другое искусство. Москва 1956–76. – М., 1991; Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. – Bremen, 2000 (Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa. Hg. W. Eichwede, Bd. 8).

прочтении хрущевского текста, они заключались в самой логике доклада<sup>3</sup>.

Доклад Хрущева оказал огромное влияние на коммунистическое и левое движение во всем мире. Как само содержание доклада Хрущева, так и произведенный им взрывоподобный эффект способствовали значительному ухудшению репутации коммунистических партий во всем мире. Они, и в первую очередь КПСС, утрачивали способность задавать направление движению общества, внутри коммунистических партий утверждался ярко выраженный полицентризм, партии и партийные идеологи погрязали во все новых противоречиях и т. д. Это, в свою очередь, непосредственно отражалось на силе убедительности коммунистических аргументов, вело к цинизму (открытому оппортунизму) отдельных членов партии и функционеров, а впоследствии едва ли не к массовому отходу от коммунистических идеалов в пользу личных интересов.

Это порождало интересные явления в обществе. Реакцией на тенденцию «забвения коммунистических идеалов» стало идейное брожение среди советской молодежи, наблюдавшееся с конца пятидесятых годов, особенно в центральных городах. Стали популярными духовные поиски и борьба за «чистоту» марксизма-ленинизма, «возвращение к ленинским нормам» и «заветам» первого поколения большевиков. Молодые писатели призывали привлечь отцов к ответу и пропагандировали пренебрежение к «историческому опыту» в пользу опыта «личного». Молодежь конца пятидесятых – начала шестидесятых годов заявляла о своем желании изучать историю и жизнь самостоятельно, без оглядки на схемы идеологического отдела ЦК или какие бы то ни было иные предписания<sup>4</sup>.

Процесс утраты веры в правдивость советской исторической науки начался в Советском Союзе задолго до XX съезда КПСС<sup>5</sup>. Однако доклад Хрущева стал первым публичным признанием этого процесса, который зародился в первые годы советской власти, проходил затем различные этапы, затрагивая на каждом из

---

<sup>3</sup> Der XX. Parteitag der KPdSU und die Fragen der ideologischen Arbeit. – Berlin, 1956; См. также: *Khrushchov N.S. The crimes of the Stalin era. Special report to the 20th congress of the communist party of the Soviet Union. Annotated especially for this edition by B.I. Nicolacvsky.* – New York, 1956.

<sup>4</sup> См.: *Аксенов В. Звездный билет // Юность. 1964. № 6, 7.*

<sup>5</sup> *Пыжиков А.В. Политические преобразования в СССР (50–60-е годы).* – М., 1999.

них лишь определенные группы населения. Одним из его проявлений в 1920-е годы стал распространенный в то время феномен так называемой «внутренней эмиграции», а также активный поиск новых профессиональных ниш. Бесчисленные жертвы периода коллективизации и индустриализации свидетельствуют о продолжении этого процесса в 1930-е годы. Сомнения в возможности строительства социализма «сверху» еще больше возросли на фоне дебатов о космополитизме 1940-х годов, сопровождавшихся вопиющей клеветой и репрессиями. Когда же в 1953 г. тысячи невинных жертв репрессий стали возвращаться из лагерей и распространять среди своих родных и знакомых «новую», «неофициальную» правду, общему разочарованию не было границ. Сделанное лидером КПСС на XX съезде признание ошибок прошлого стало вершиной этого разочарования и вызвало поистине шоковую реакцию, повлекшую за собой не только полное переосмысление значения конкретной личности Сталина, но и всех партийных функционеров из его ближнего и дальнего окружения, а возможно, и всей системы в целом. И как бы освободительно ни действовало на всех предпринятое Хрущевым разоблачение преступлений Сталина запущенная идеологическая машина «разъяснения» итогов съезда и постановления о «культе личности» не давали много оснований для того, чтобы поверить в то, что будет положено начало истинным, коренным переменам.

Несмотря на то, что вопрос о личной власти Хрущева в его докладе никак не затрагивался и, как казалось, вообще не стоял на повестке дня, именно к нему в конечном итоге сводится бросающаяся в глаза при первом же внимательном ознакомлении с текстом доклада шаткость и непоследовательность при анализе некоторых ключевых проблем. Например, Хрущев предлагает почтить минутой молчания память Сталина и некоторых его соратников, к моменту XX съезда уже не числившихся в живых. Когда же речь идет о миллионах безвинно погибших жертв сталинизма, призыв к минуте молчания не раздается и вообще не произносится ни слова сожаления. От многих было скрыто и другое, что доклад Хрущева представлял собой попытку укрепить собственную позицию внутри партии и тем самым, как показали позднейшие исследования, призван был, с одной стороны, нести ту же функцию, что и объявленная в свое время Берией амнистия и реабилитация отдельных жертв сталинизма, с другой же, должен был снять напряжение между старыми функционерами, сохранившими свои высокие посты, и их товарищами по партии, вернувшимися из лагерей.

Доклад был явно направлен на то, чтобы создать у слушателей впечатление, что вся ответственность за содеянные преступления лежала на Сталине и отдельных «авантюристах» типа Абакумова и Берия, в то время как люди из непосредственного окружения вождя ничего об этих преступлениях не знали и, стало быть, не имели к ним никакого отношения. Преступления Сталина были представлены не как проявление недостатков политической системы, но лишь как следствие сталинского характера. Хрущевский текст основывался на данных так называемой «комиссии Поспелова», которой было поручено расследовать преступления, совершенные по отношению к почти 70 % членов ЦК, избранных на XVII съезде партии. Ни о жертвах коллективизации и индустриализации, ни о жертвах сведения «личных счетов» с членами партии и государственными чиновниками в докладе не упоминалось. Все это, как и многое другое, становится понятным лишь по прошествии лет.

Сейчас уже стало ясно, что Хрущев выступил с докладом не для обновления партии, государства и общества, а лишь для того, чтобы выдвинуть ряд односторонних обвинений в адрес Сталина. Откровенность была лишь кажущейся, а замалчивавшаяся информация по-прежнему сильно преобладала над теми фактами, о которых было разрешено узнать. Соучастники преступлений были представлены в качестве прямых или косвенных жертв. Этот прием впоследствии охотно применялся и отчасти продолжает применяться до сих пор не только в России, но и во всех остальных государствах Восточного блока. Вместо того, чтобы называть вещи своими именами, каяться, уходить с должностей и перестраивать государство, начиная с самых основ, зачинщики «обновления» довольствовались простым упоминанием некоторых поверхностных явлений, не утруждая себя тем, чтобы определить их сущность и заняться изучением их глубинных причин.

Разумеется, соучастники преступлений благоразумно предпочитали не подпиливать сук, на котором сидели. Поэтому они стремились создать лишь видимость перемен, в то время как их подлинные интересы заключались в сохранении и укреплении власти внутри партии (именно партии, а не по-прежнему абсолютно подконтрольного государства) – такого мнения единогласно придерживаются сегодня как русские, так и западные исследователи. Этим объясняется и тот факт, что поспеловская комиссия сконцентрировала свое внимание, главным образом, на преступлениях против членов ЦК, избранных на XVII съезде партии.

Публично не ставился вопрос о многих и многих жертвах сталинизма, в том числе репрессированных в свое время лидеров этой же партии, таких, к примеру, как Бухарин<sup>6</sup>.

Следовательно, преступления прошлого с самого начала предполагалось рассматривать в узком кругу посвященных, информацию о них выдавать в определенных дозах и под определенным углом зрения. «Народ», именем которого постоянно прикрывались советские политики, с самого начала оказался полностью отстранен от участия в происходящем. У власти сложилось твердое убеждение, что сталинские преступления ни в каком случае не должны были быть представлены как преступления системы. Политика реабилитации пугала и сами власти. Они, наверное, боялись того, о чем писала Ахматова в марте 1956 г.: «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг на друга в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили»<sup>7</sup>.

Внимательное прочтение хрущевского доклада позволяло обнаружить ряд будущих тенденций в трактовке событий советской истории. Использован один и тот же прием. Как незадолго до этого Берия, теперь во всех преступлениях «Большого террора» обвинялся персонально Сталин. Вопрос же о его соучастниках (и сообщниках), в число которых входили многие члены Политбюро (Президиума ЦК), включая Хрущева, никак не обсуждался. Тем более не упоминались преступления, совершенные до 1930-х годов, несмотря на то, что они, начиная со времен революции, регулярно находили отражение в западной публицистике, мемуарах и исследовательской литературе. Но, узнавая об этих преступлениях, невозможно было поверить, что диктаторская система в самом деле могла держаться на воле одного единственного человека. Однако следовало понять, насколько неизбежно преступления сталинизма определялись самим типом режима и в какой степени отдельные личности или группы личностей использовали этот режим в собственных интересах. Эта проблема, связанная с основами любой диктатуры, в докладе также была обойдена стороной, что неудивительно: обвиняя во всех грехах Сталина, Хрущев преследовал цель освободить себя и партийных функционеров из своего окружения от какой бы то ни было ответственности.

---

<sup>6</sup> *Junge M. Bucharins Rehabilitierung. Historisches Gedächtnis in der Sowjetunion, 1953–1991.* – Berlin, 1999.

<sup>7</sup> *Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В. Постсталинское общество: Проблема лидерства и трансформация власти.* – М., 1999. С. 121.



\* \* \*

При каждом повторном рассмотрении текста хрущевского доклада отчетливо вырисовываются разные стороны его проблематики. Несмотря на все противоречия, выступающие на поверхность в ходе пристального анализа главных положений, а также несмотря на несоответствия объявленной в нем программы и реалий советской системы, доклад Хрущева все же явился сенсацией для западного мира. Причиной этому было не столько множество затронутых в этом докладе вопросов, сколько сам поступок советского вождя, который решился заговорить о преступлениях сталинизма, рискуя при этом и сам прослыть их соучастником. Эффект, произведенный докладом, был сродни сенсациям, которые произвели опубликованные книги: «Соблазненное мышление» Чеслава Милоша (1953), «Революция отпускает своих детей» Вольфганга Леонхарда (1955) и чуть позднее «Новый класс» Милована Джиласа (1958). Эти сочинения также были написаны бывшими служителями системы, покинувшими впоследствии свои посты и сделавшие секретные сведения о партии и государстве достоянием широкой общественности. Проявления тоталитаризма в этих книгах не рассматривались в связке с общими признаками системы или с действиями целых групп ответственных партийных работников. Исследования западных исследователей, появившиеся сразу после доклада Хрущева<sup>8</sup>, и современных российских ученых<sup>9</sup>, убедительно показывают, что как вопрос о соучастниках преступлений, так и о том, что корни сталинских преступлений следует искать в самой системе, начали ставить еще современники. Значит, для многих людей с самого начала было очевидно, что направление удара против одного-единственного преступника не решало истинной проблемы, а лишь переводило ее на поверхностный уровень.

XX съезд имел и далеко идущие последствия и для советской культуры. В Советском Союзе реакция на него выразилась в расщеплении всей культуры на: (а) культурно-политически ориентированные, не всегда совпадавшие в своих позициях журналы «Новый мир» и «Октябрь», (б) новое поколение «молодых», начинавших находить свое место в сфере официальной культуры,

---

<sup>8</sup> См.: *Wolfe D. Khrushchev and Stalins ghost: Text, background and meaning of Khrushchevs secret report to the twentieth Congress on the night of february 24–25, 1956.* – New York, 1957. Seiten: 322 S.

<sup>9</sup> См.: *Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В.* Указ. соч.

а также (в) «официальных» деятелей культуры, с одной стороны, и «неофициальных», «альтернативных» – с другой.

Однажды приподняв завесу тайны, за которой скрывались преступления сталинизма, в том числе и необозримый ГУЛАГ, правду нельзя уже было преподносить населению в ограниченных дозах. Необходимо было создание такой государственно-правовой системы, которую не могла заменить созданная партией комиссия по реабилитации, чья деятельность фактически прекратилась в 1961 г.<sup>10</sup> и возобновилась лишь в 1987 г.<sup>11</sup>

Руководство же партии иначе оценивало ситуацию, сложившуюся в первые недели и месяцы после выступления Хрущева. Оно по-прежнему настаивало на предельно строгом отборе поступающей информации о «преступлениях Сталина». О них можно было упоминать лишь с чрезвычайной осторожностью, в прессе строго запрещались любые высказывания, противоречившие новой дозированной «правде». По ту сторону железного занавеса только позже узнали обо всех этих тенденциях. Анализируя основы советской системы, западные историки пришли к убеждению, что наличие стабильного и хорошо развитого аппарата власти и контроля обеспечивает полную безопасность ведущей партийной прослойки при диктатуре. Но это знало руководство КПСС и именно этим объясняется твердое убеждение руководства партии в возможность исправлять отдельные правонарушения, не ставя при этом под угрозу систему в целом.

Тем не менее, опыт показывает, что система, держащаяся по принципу карточного домика лишь на вертикальных структурах, неизбежно вступает на путь коренных изменений в тот момент, когда кто-то решается вытянуть из «карточного домика» хотя бы одну карту. Начатая усилием Берии реабилитация стала косвенным признанием преступлений Сталина и несовершенства самой системы. Последовавшее за этим открытое разоблачение преступлений Сталина, несмотря на все попытки партийной верхушки уйти от ответственности, не могло не подставить под удар всю систему в целом, даже если процесс ее распада все еще требовал

---

<sup>10</sup> См.: *Наумов В.П.* Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий // Вопросы истории, 1997, № 4. С. 19–35; *Naumov V.P.* Zur Geschichte der Geheimrede N.S. Chruscevs auf dem XX. Parteitag der KpdSU // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte / Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien, ZIMOS. – Köln, Weimar, Wien, 1997, H. 1, S. [137]–177.

<sup>11</sup> *Аксютин Ю.В., Пыжиков А.В.* Указ. соч.

времени и должен был пройти множество этапов. Преступления сталинского масштаба, таким образом, рано или поздно должны были привести к постановке вопросов о «восстановлении прав», «всеобщем равенстве перед лицом закона» и т. д. Та же проблематика снова стала актуальной тридцать лет спустя, в период гласности.

С позиций сегодняшнего дня приходится признать, что связанные с «сенсационным» докладом Хрущева надежды на либерализацию общей ситуации не оправдались, даже несмотря на последовавшую за докладом «оттепель». Отчасти такое развитие событий можно было предвидеть. Достаточно обратить внимание на характер использованных в хрущевском тексте языковых оборотов: они явственно указывали на то, что речь шла не об истинном обновлении системы, а об усилении и консолидации партийного и государственного аппарата. В докладе говорилось не о демократии, а о «внутрипартийной демократии», «социалистической законности», «развитии советской демократии», о «демократическом централизме». Истинное положение вещей маскировалось такими выражениями как «незаконно репрессированный», «применение административных мер» (под которыми имелись в виду аресты), «ленинские нормы» и т. п.

До сих пор я пытался обрисовать ключевые моменты осознания, оценки и переоценки секретного доклада Хрущева, влияние на этот процесс изучения текста доклада и сопутствовавших ему исторических событий до и после XX съезда.

\* \* \*

Какие выводы могут следовать из истории доклада Хрущева и порожденных ими вопросов?

Многие служители системы на самом деле искренне верили в идею нового общественного порядка и во что бы то ни стало стремились провести ее в жизнь. Наряду с этими идеалистами имелось, однако, немало циников и оппортунистов, которые использовали специфику диктатуры в своих прагматических интересах. Не вызывает сомнения, что при такой общественной системе многие оказались виновными не только перед лицом всеобщего права, но и перед лицом «социалистической законности». Бесспорно и то, что диктатура, утверждающая, что хочет вернуться к «справедливости», может достичь этого лишь на основе независимой правовой системы и широкой дискуссии о преодолении прошлого. Ни одна диктаторская система не может

своими силами обеспечить правозащиту. Иллюзорна также идея о возможности частичного восстановления справедливости. Ответственные системы до определенной степени способны к внутренней эволюции и могут корректироваться и дифференцироваться в отдельных областях, однако, такой процесс, как правило, длится очень долго и требует устойчивости господствующего в каждом конкретном случае аппарата власти. Как только структуры власти начинают вызывать сомнение, это неизбежно ведет к серьезным столкновениям, при которых не исключены жертвы.

Изменения, которых Горбачев попытался достичь с помощью гласности, также носили конфликтный характер, однако, эти конфликты происходили в условиях столь сильно дифференцированного к тому времени общества, что их нельзя было однозначно интерпретировать и решить в ту или иную пользу. В отличие от периода после XX съезда, при относительной устойчивом секторе власти и одновременном расщеплении сферы «официальной» культуры, по крайней мере, до 1969 г. (до исключения А. Твардовского из редакции «Нового мира» – реакции на «чешские события»), гласность и ее последствия не означали автоматической революции общественной системы. Для такой революции необходима была полная переоценка функций аппарата управления, замена значительной его части, не расширение, а сокращение и полное переструктурирование этого аппарата.

Сравнивая возможности, открывшиеся при сведении счетов со сталинизмом, с одной стороны, и попытку реорганизации государства как следствие гласности, с другой (а такое сравнение представляется возможным, поскольку речь в обоих случаях идет о переработке багажа послереволюционной истории), мы неизменно приходим к выводу о том, что, хотя реформирование развитых в условиях диктатуры обществ, в принципе, и возможно, однако, оно требует длительного времени и проходит, как правило, с большим трудом. Немалую роль в этом процессе играет вера в лучшее будущее, нормализация отношений между правителями и народом. Нет сомнений в том, что доклад

Хрущева сделал возможным впервые после эпохи сталинизма выполнение последнего условия и оказал, таким образом, влияние на общественную жизнь 1950-х и отчасти 1960-х годов.

Анализ исторического сознания последних десятилетий в связи с восприятием речи Хрущева на закрытом заседании XX съезда, как внутри страны, так и в социалистических и капиталистических странах, показывает, что каждая группа читателей, в зави-

симости от страны той или иной идеологической ориентации, выражала по поводу речи свои собственные интересы, опасения и мечты. Но всех их объединяло желание смягчить суровые репрессии при Сталине. С таким общим намерением были согласны даже те руководящие партийные деятели, которые были против опасных для КПСС последствий хрущевской речи, в частности, Каганович, Молотов и др. Они не хотели, как и сам Хрущев, потерять власть. Хрущев же при этом преследовал цель использовать информацию о преступлениях Сталина для упрочения своего положения в борьбе за власть, что ему удалось. Это подтверждается применением суровых мер против поднявших вопрос об участии всего партийного руководства в политических репрессиях 1930-х—40-х годов, об ответственности не только Сталина в сформированной им диктатуре, но и коммунистической системы как таковой.

Более чем очевидно, что ожидания людей, высказавших своими вопросами открыто или косвенно критическое отношение к существующему режиму власти, совпали с иллюзиями либеральных групп внутри компартий других соцстран и большинства их населения вообще о постепенном уходе от коммунистической диктатуры в направлении гуманного социализма. В западных же странах преобладала мечта об окончании «холодной войны», сближении противостоящих политических блоков и, тем самым, предотвращении Третьей мировой войны.

Сравнивая все отклики и надежды, порожденные XX съездом, можно сказать, что в отличие от пронизательных замечаний аналитиков общие мечты, которые вызвала историческая речь Хрущева, основывались на неправильном ее прочтении и слишком оптимистических иллюзиях.

*Перевод: Эмилия Артемьева*

## Литература

*Aksjutin Ju.* Der XX. Parteitag der KpdSU // Jahrbuch für historische Kommunismusforschung. (Hg.) Arbeitsbereich DDR-Geschichte im Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Universität Mannheim. – Berlin, 1996.

- Boettcher E. (Hg.). Bilanz der Era Chruschtschow. – Stuttgart, 1966.*
- Neubert H. Der XX. Parteitag der KPdSU, der reale Sozialismus und die kommunistische Bewegung // Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. – Berlin, 1996, S. 27–37.*
- Burlackij F. Khrushchev and the first Russian spring. – London, 1991.*
- Ciesielczyk. Verfeinerter Stil. Die «Entstabilisierung», die keine war // Die politische Meinung. Zweimonatshefte für Fragen der Zeit. Osnabrück Jg. 31, 1986. H. 226. S. 49–58.*
- Crusius R., Medvedew R. Entstalinisierung: der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen. – Frankfurt am Main, 1977.*
- Die gefährlichen Manöver der Chruschtschowgruppe im Zusammenhang mit dem sogenannten Kampf gegen den «Personenkult» muß man bis zum Schluß enthüllen // Zari i Popullit. Vom 12, 13 und 14 Juni 1964. – Tirana, 1964.
- Eckert R., Plato A., Schutrump J. (Hg.). Wendezeiten – Zeitenwende: Zur «Entnazifizierung» und «Entstabilisierung». 1991.*
- Entwicklung und Grenzen der 'Entstalinisierung'. – Köln, 1964 (Bundesinstitut zur Erforschung des Marxismus-Leninismus / Institut für Sowjetologie / Materialien der Institutskonferenz vom 2. und 3. Dezember 1963).
- Fedossov P. «Glasnost» und «perestrojka» machen auch um die Geschichte keinen Bogen // Entwicklungen und Diskussionen in der Sowjetunion. Blätter für deutsche und internationale Politik. – Köln, Jg. 32, 1987. H. 9. S. 1152–1163.*
- Filtzer D. Die Chruschtschow-Era: Entstalinisierung und die Grenzen der Reform in der UdSSR, 1953–1964. – Mainz, 1995.*
- Filtzer D. The Khrushchev era: De-Stalinisation and the limits of reform in the USSR, 1953–1964. – Basingstoke, 1993.*
- Freidweg E., Wauer H. Entlarvung der heimtückischen und verlogenen Geheimrede Chruschtschows an den XX. Parteitag der KPdSU. (Hg.: Kommunistische Partei Deutschlands, Zentralkomitee, Presse-, Publikations und Informationsdienst). – Berlin, 1998 (Schriftenreihe der Kommunistischen Partei Deutschlands, 41).*
- Gabrcr J. (Hg.). SED und Stalinismus: Dokumente aus dem Jahre 1956. Berlin, 1990. – Mainz, 1992.*
- Gradski F. Die großen Säuberungen Stalins // Kontinent, Jg. 13, 1987. H. 3. S. 27–38.*
- Lazic B. Istoriceskij ocerk: Nikita Chruscev. Doklad na zakrytom zasedanii XX sezda KPSS. – London, 1986.*
- Lynch M. Stalin and Khrushchev: The USSR, 1924–64. – London u.a., 1990.*
- Medvedev R. The 'secret speech'. – Nottingham, 1976.*

- Nach dem Ende der Sowjetunion – ein Neubeginn? // Osteuropa, H. 12, 1992.
- Paloczi-Horvath G.* Chruschtschow. – Frankfurt am Main, 1960.
- Pistrak L.* The grand tactician. Khrushchev's Rise to Power. – New York, 1961
- Pries A.* Khrushchev's 'secret speech': Confusion of Tongues // Journal of Communist Studies. Vol. 6. No. 1. March 1990.
- Richter J.* Khrushchev's double bind: International pressures and domestic coalition politics. – Baltimore, 1994.
- Schiller D.* Kulturdebatten in der DDR nach dem XX. Parteitag der KpdSU // Texte zur Krise des Sozialismus – Berlin, 1990. Buttcher K. (Hg.).
- Schröder H.-H.* «Lebendige Verbindung mit den Massen». Sowjetische Gesellschaftspolitik in der Era Chruschtschows // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. – München, Jg. 34. 1986. H. 4. S. 523–560.
- Stalins Verbrechen: Chruschtschows Geheimbericht und die historischen Tatsachen. Helmer M (Ed.). – Bonn, 1956.
- The Stalin dictatorship: Khrushchev's 'secret speech' and other documents. Th. H. Rigby (Hg.). – Sydney, 1968.
- Timmermann H.* Chruschtschow und das kommunistische Parteiensystem: Konzeptionelle Neuansätze und ihr Scheitern. – Köln, 1986 (Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien).
- Tompson W.J.* Khrushchev: A political life. – Basingstoke 1995.
- Zentralbüro der Kommunistischen Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten (Hg.). Der sogenannte Kampf gegen den «Personenkult» und seine Folgen: Über das Manöver der Chruschtschowgruppe zur Liquidierung der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion. – (West) Berlin.
- Zwischen Personenkult und «Tauwetter»: Mecklenburg – Versuch einer ersten Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte // Et cetera PPF. Siegen, 1996. H. 2. S. 34–35.

---

## Шесть лет перестройки в области культуры – предыстория и ход событий\*

Прошло почти шесть лет с того момента, когда в начале 1985 года Горбачев принял на себя руководство страной. Каждый, кто сравнит тогдашнюю ситуацию в области средств массовой информации, а также в области литературы, кино, театра, музыки или изобразительного искусства с сегодняшней, должен признать, что изменилось многое. Перелом налицо: имеется достаточное число признаков сдвига, возвращения к утраченным традициям и восполнения возникших ранее белых пятен. В то же время сейчас нельзя не признать, что ввиду патовой ситуации в политике положение в сфере культуры становится все более противоречивым, а возможности ее развития в значительной мере ограничены из-за плачевного состояния экономики страны. Складывается впечатление, что в настоящий момент все силы, которые хотели бы задать тон происходящему, слишком слабы, чтобы осуществить свое намерение.

Будущее, с их точки зрения, не представляется в достаточной степени обозначившимся, а следовательно, не дает оснований для того, чтобы действовать с полной уверенностью в благоприятном исходе.

Чтобы понять создавшееся положение вещей, необходим исторический экскурс, в котором были бы прослежены обстоятельства, предшествовавшие данной ситуации и способствовавшие ее возникновению. С его помощью можно хотя бы частично оценить всю сложность общественно-психологических, идеологических, эстетических и государственно-политических аспектов данной проблемы. Благодаря публикациям последних лет легко убедиться в том, что сегодняшние вопросы являются вчерашними и что во все более оживленных дискуссиях раздается призыв об-

---

\* Из: *Slavia orientalis*. Т. XLI. 1992. № 1. С. 79–92.



ратиться не только к началу двадцатых годов, но и погрузиться в глубины XIX века. Прояснить смысл современной ситуации поможет, таким образом, обращение к прошлому, как к некоей сущности, которая в то же время является неотъемлемой частью настоящего.

## Первый взгляд в прошлое: с двадцатых до пятидесятих годов

Самый беглый взгляд на ход советской истории с двадцатых до пятидесятих годов показывает, что в позициях людей по отношению к новому государству, построенному в результате Октябрьской революции, в зависимости от исторической фазы запечатлелись или настроения вырвавшейся на волю души, энтузиазма, свободного порыва, или же настроения разочарования и ему подобных чувств. Настроения могли быть различными в зависимости от индивидуального опыта, могли повторяться от поколения к поколению, как в положительном, так и отрицательном смысле. Пятидесятые годы, то есть период после смерти Сталина, прежде всего принесли с собою больше отрезвления, чем положительно-отождествления с государством и связанной с ним идеологией.

Что касается области культуры, то в двадцатые годы предметом дискуссии был две модели, за которыми стояли две общественно-политические ориентации и которые диаметрально противостояли друг другу как концепции поведения и две позиции, послужившие основанием для кипевшей в то время культурно-политической борьбы:

– первая («индивидуалистическая») концепция исходила из того, что в основе любого культурного и общественного порядка лежит индивидуум, и что от его совершенствования зависит то, будет ли общество улучшаться;

– вторая («коллективистская») концепция, напротив, исходила из того, что общественные отношения должны быть усовершенствованы таким образом, чтобы индивидууму жилось лучше и счастливее.

Не позднее, чем со второй половины двадцатых годов спор между обеими этими еще недавно взаимосвязанными концепциями по политическим соображениям и при помощи институ-

тов, связанных с партией, был решен в пользу второй («коллективистской») модели, которая в конце сороковых годов (1946–1952/3) выродилась в ждановщину – единственную, безраздельно господствовавшую сталинскую систему, определявшую собой количественно и качественно все культурные явления. Лишь когда после двадцатого съезда КПСС в 1956 году эта модель начала со всей осторожностью подвергаться сомнению, на поверхность всплыли альтернативные модели и была предпринята попытка исправить ненормальное положение вещей – односторонность господствовавшей доселе модели.

## Второй взгляд: пятидесятые годы

С 1957 года наблюдается по меньшей мере склонность к тому, чтобы вновь осторожно оспаривать политические функции аппарата, осуществляющего руководство культурой, а также идеологических принципов, которые он культуре навязывал. Во время этой первой перестройки пятидесятых годов (в то время, правда, ее называли оттепелью) речь шла о свободе творческого действия, о переоценке условий, необходимых для общественного перелома, то есть о нормах поведения, которые могли быть без зазрения совести повсеместно приняты людьми. Борьба за нормальную ситуацию в культурном сообществе создала отныне духовные и психологические предпосылки для изменений, наблюдаемых во всех областях жизни государства.

Особые вопросы, которые обсуждались в ходе весьма осмотрительной, руководимой сверху дискуссии, касались цензуры, гласности, доверия к слову, полноты информации и тому подобных вещей. Начиная со второй половины пятидесятых годов внимание стало концентрироваться вокруг искупления грехов, которые тяготели над обществом с двадцатых годов и заключались в постройке разного рода потемкинских деревень в культуре и всех прочих системах информации. Между тем расхождение между словом и делом достигло такой степени, что начало сильно препятствовать процессу принятия разумных решений. Манипулирование датами при одновременной ссылке на общественно-политическую ситуацию нередко приводило к иррациональным выводам и ошибочным решениям. Все это представляло из себя

такую же роковую для судеб государства и его граждан тенденцию, перед опасностью которой уже в двадцатые годы во время бушевавших тогда дебатов предостерегали Луначарский, Бухарин, Троцкий и многие другие равнозначные им деятели культурной политики.

Независимо от этих дебатов все стремления были направлены на то, чтобы правда и ценности, которые несет с собой информация, были сосредоточены в казенных тайниках тоталитарного государства или на то, чтобы восстановить расхождение между фактами и псевдоинформацией о них.

Первые подобного рода попытки в области гласности наблюдаются уже вскоре после смерти Сталина в 1953 году. Это было время, когда вслед за фазой безмерного приукрашивания действительности раздавались призывы критиковать недостатки и когда в литературе предпочитали говорить об «искренности» вместо «правды» (В.М. Померанцев).

Подобным образом в период «прелюдии к перестройке» (1985–1987) в политических выступлениях и литературных произведениях в качестве художественных метафор и композиционных элементов появляются упоминания о пятидесятых годах, которые изображаются как предпосылка для «перестройки» важнейших структур политической и административной системы, установленной более чем 70 лет назад, и как исторический опыт, который мог бы быть использован в процессе установления более «демократичных» (в ленинском смысле слова) норм жизни. Так это интерпретировал хотя бы А.Я. Яшин в рассказе Рычаги (1956), где описана «удушающая атмосфера» партийного собрания, которую внезапно меняет «свежий воздух», ворвавшийся извне. Этот «воздух» связывался с подготовкой двадцатого съезда партии и с надеждами, им порождаемыми.

В этой связи как в 1956, так и в 1986 году появляются попытки вновь сравнить происходящее с энтузиазмом первых послереволюционных лет и вернуться к истокам советского государства, начать все как бы еще раз с начала, но на этот раз зная все опасности ошибочного развития в сущности полезной государственной идеи. Однако сейчас, в 1991 году, почти ни у кого нет желания еще раз начать с революции 1917 года. Иллюзии исчезли, социализм советской пробы окончательно дискредитирован; он расценивается как бесчеловечный эксперимент. Вместо этого предпринимаются попытки восстановить в правах жизнеспособные духовные и этические начала, проявившиеся в XIX веке и на заре нашего столетия. К сожалению, однако, делается это в ти-

пичной для переломной ситуации форме: происходит борьба самых различных, идеологически полярных позиций, признаки которой обнаруживаются все выразительнее начиная с 1988–1989 года. В противоположность этому в пятидесятые – шестидесятые годы речь шла все же только о планах дальнейшего развития, которые не затрагивали столь открыто государства и его идеологических основ: об увеличивающемся многообразии культурной жизни, о постепенном преодолении отгораживания от безразличной в политическом отношении «чуждой» культуры, что было обычным явлением при Сталине; речь шла о том, чтобы осторожно разыграть конкурирующие друг с другом модели поведения, чтобы едва дотронуться до злоупотреблений в цензурной практике, чтобы допустить частичное лишь противостояние альтернативных эстетических принципов и о многом другом. Для поддержки «либерально-динамичной» или «консервативно-стабилизирующей» стратегии аргументации люди пятидесятых годов вновь обратились к моделям, сыгравшим свою роль в культурно-политических дискуссиях двадцатых годов, поскольку в них отражалась или забота о культурном многообразии и полифункциональности в литературе и искусстве, или же о сохранении нивелирующей «генеральной линии», ставящей культуру в зависимость от партии. В 1987 году дискуссия, заглушенная после 1968 года, не просто возобновляется, а звучит со всей откровенностью. Вопросы о причинах появления догматизма, бюрократизма и культурной односторонности ставятся в прямую связь с принципиальной критикой господствующей системы. Ненормальность действия согласно только лишь политическим ориентирам, а талоне неэффективность культурной сферы, ее духовные возможности, активизированные в весьма скромном размере, были при всем том вскрыты и заклеены, как причины очевидной на каждом шагу общественной отсталости.

### Третий взгляд: шестидесятые – семидесятые ГОДЫ

Рассматривая культурное движение шестидесятых годов как на фоне сталинской модели, так и совершенно непохожей на нее ситуации последних пяти – шести лет, можно сделать следующее обобщение: тогдашняя «отдушина свободы» представляла собой

компромисс, определяющим\* факторами которого были как «полуласковые» решения и направляющие действия, так и допущение к огласке неполной правды. Все это в конце концов должно было привести к расчлененности, дифференциация советской культуры, а благодаря многочисленным непоследовательным действиям привело и к ее решительному расколу на две части. Вопрос о принадлежности к официально одобренной или же к альтернативной культуре, которая заявляла о себе в подвалах, на чердаках или на кухнях, окончательно решался на основании того, на какую степень правды претендовал тот или иной художник. Власти или допускали существование «неофициальной» культурной деятельности, или изолировали ее, или расправлялись с нею различными методами в зависимости от того, бросала ли она вызов государству.

Поскольку результат данного процесса дифференциации явился причиной появления многих новых ожидаемых (но также и нежеланных) течений в период перестройки, мы склонны ближе присмотреться к этой фазе развития. Одним из главных событий культурно-политической жизни шестидесятых годов была так называемая выставка в Манеже, устроенная по случаю тридцатилетия московского отделения Союза художников в декабре 1962 года. Она явилась завершением острого спора между представителями аппарата власти и деятелями искусств. Речь в этом споре шла о выборе между искусством на пользу государства и искусством, свободным от идеологии. В ходе все более острой дискуссии, охватившей области пластики, литературы, музыки и кино, несмотря на резкое вмешательство идеологически консервативных кругов, все более явным становилось противостояние двух эстетических норм, практиковавшихся в публичной жизни СССР и приведших к далеко идущим затруднениям различного рода. Эти нормы в области литературы проявились в противостоянии журналов «Новый мир» и «Октябрь», тогдашние главные редакторы которых, А.Т. Твардовский и В.А. Кочетов, были сторонниками прямо противоположных литературных программ. Кочетов подчеркивал социально-педагогический аспект искусства, Твардовский же социально-критическую функцию поставил в центр своей издательской деятельности. Дифференциация в области литературы, которая в действительности означала не принципиально отличную от предшествовавшей ситуацию, а лишь иную степень того же самого, должна была вскоре после того ощущаться не как перспектива долговременного эволюционного

развития, а как ограниченный во времени прорыв к свободе. Окончательные выводы, которые были извлечены из скандала в Манеже и распространены на области кино, театра и изобразительных искусств, сводились к тому, что вместо коренного преобразования культуры преимущество было отдано модели, согласно которой устанавливался контроль за любым проявлением культурной деятельности и узаконивалось противодействие всем попыткам, которые могли оказаться дестабилизирующими для государства. Результатом проведения в жизнь этой тенденции, определявшей все решения властей и приведшей к сужению поля публичной художественной деятельности, неизбежным стало разделение советской культуры на два расходившиеся в разные стороны и существовавшие независимо друг от друга лагеря. В то время, как одни писатели сочиняли так, чтобы их могли публиковать в Советском Союзе, другие, как некогда в сталинские времена, писали «в ящик», все чаще прибегали к помощи самиздата у себя на родине или «тамиздата» в эмиграции. Сложившаяся критическая ситуация, затронувшая как причастных к делу культуры, так и аппарат, начиная с 1964 года стала приводить к таким результатам, как известные процессы Бродского, Амальрика, Синявского, Даниэля, Гинзбурга и многих других. Судебные приговоры, выносимые писателям за неофициальные, то есть за неразрешенные публикации, были характерные именно для шестидесятых годов – лишь в семидесятые годы это будет заменено дифференцированными методами в обращении с писателями. В этом смысле семидесятые годы являются одним из культурно-политических компромиссов. Это было время, которое отличалось внешней неподвижностью, за что Горбачев после 1985 года назвал его застоєм.

Развитие изобразительного искусства выглядело иначе. Внутри традиционалистского, консервативного Союза художников в начале шестидесятых годов все же предпринимается попытка дифференциации эстетических норм, воплотившаяся в «Левой секции» (Левый МОСХ), которая постепенно уклоняется от соблюдения канона, состоявшего из запретов и команд. Однако, как показал скандал на выставке в Манеже, этой тенденции развития суждено было жить недолго. «Левая» фракция Союза художников подвергалась точно такой же критике и должна была так же оправдываться, как все другие художники, которые – подобно «нонконформистам» – игнорировали канон или слишком сильно его модифицировали. В отличие от «нонконформистов» «левые»

быстро исчезают со сцены. Семидесятые годы они переживают в полуофициальных структурах. «Нонконформистов» же, напротив, постигает судьба, подобная той, что испытали несогласные с официальной линией писатели. Они уходят в подполье и пытаются «перезимовать» известный период в надежде на пришествие лучших времен. К подобному компромиссу, к этому специфическому для искусства способу существования, сводился ход развития кино и театра. Компромисс, однако, никого не удовлетворял. Появлялись экспериментальные фильмы, с которыми знакомились только товарищи по профессии и посвященные особы, так что можно, пожалуй, говорить даже о своего рода официальном признании подполья, подобно тому, как это было ранее с «левыми художниками», несмотря на то, что кинематографистам также приходилось работать в укрытии. Что же касается театра, то здесь обращает на себя внимание существование в тени, в стороне от официальных подмостков, маленьких сцен – студий, доступность которых для зрителя была ограничена. Они жили благодаря устной молве и были «публичными» только для членов клубов или для гостей, которые получали «особые» приглашения на спектакли. В области музыки наблюдались определенные модификации: тут совершенно нормальным явлением были концерты на частных квартирах. «Убежища» в виде долгоиграющих пластинок были скорее исключением для композиторов, которые уже ранее добились признания за границей. Функция алиби в качестве доказательства фактической доступности для публики была в данном случае – как и в случае экспериментальных театров – более чем очевидной.

Все это является самой общей и поверхностной характеристикой сложного по своей сути и подчас болезненного развития. Она призвана разъяснить, какие попытки были предприняты с разных сторон в разные периоды послесталинской эпохи, чтобы преодолеть наследие тридцатых – пятидесятых годов. Теперь же решения, которые были найдены и представляли из себя лишь ничтожные компромиссы, составили между тем новое брежневское наследие. Горбачев в момент вступления на свой пост в 1985 году столкнулся как с трудным «наследием двадцатых» и «эпохи Сталина», так и с нерешенными проблемами хрущевских и брежневских времен. В итоге получается, что творчество таких писателей, как Маканин, Распутин, Тендряков, Трифонов, Шукшин и другие, могло развиваться в условиях литературного и культурно-политического лицемерия семидесятых годов, и вопреки мно-

гим ограничениям они оставались в полной мере верны своей индивидуальности, а потому их голоса, раздававшиеся внутри советской культуры, в значительной степени обставленной запретами, могли быть услышаны. Эта литература развивалась, не подвергая открыто сомнению идеологические принципы, не нарушая радикальным образом эстетических канонов реализма и даже не критикуя их публично. Литературная критика ей также не докучала, и не без причины. Литературно-критическая практика сама выработала в те годы разнообразные речевые приемы (формулировки, имитирующие сообщение действительной информации, замкнутый круг известных аргументов или же специфический эзопов язык), при помощи которых затушевывалось очевидное расхождение между ожидаемой и фактической нормой или между художественным творчеством и буднями общественно-политической жизни. Поэтому сквозь цензурное сито могли просочиться к читателю многие укрытые смыслы.

Попытки некоторых писателей проигнорировать негласные правила поведения, действовавшие в публичной среде, и непосредственно, в обход цензуры дойти до читателей (первая такого рода попытка была предпринята в 1957 году), подобно тому, как попытки художников (например, организация в 1974 году выставки нонконформистского искусства в пригороде Москвы, в чистом поле, которую разогнали с помощью бульдозеров), неотвратимо должны были привести к столкновению с объединенными силами «творческих союзов» и органов безопасности, что и нашло свое выражение в деле Метрополя в 1979 году. Публикация этого сборника, куда вошли произведения, не содержавшие заостренных политических акцентов, была сорвана в Москве и могла вновь осуществиться – как это бывало в шестидесятых годах – только за границей. Недееспособность аппарата, призванного управлять культурой в брежневскую эпоху и оказывавшего на известных неугодных ему деятелей искусства сильное давление, приводила лишь к тому, что их исключали из творческих союзов, запрещали публикацию произведений; некоторые писатели (Аксенов, Лимонов, Мамлеев, Владимов) и многие художники вынуждены были эмигрировать.

Несмотря на напряженную ситуацию того времени следует, однако, констатировать следующее: брежневская эпоха обладала для многих тем недостатком, что деятели искусств не могли нормальным образом функционировать публично, но было в ней и то достоинство, что те художники, которые не выходили на улицу



и не создавали тем самым проблем, которые не получили известности, подобной той, какую приобрел Сахаров и другие диссиденты – те художники могли работать спокойно.

Подозрительным был – как и прежде – решительно каждый, кто не поддерживал государства. Но жестоко преследовались, в принципе, лишь те, кто открыто провоцировал аппарат власти, в чьих действиях беспощадным образом вскрывалось расхождение между видимостью и насущным бытием.

В то время, как для литературы было характерно своего рода сосуществование, то в области изобразительных искусств границы между санкционированной официальной и «двурушнической» неофициальной были проложены по принципу «наши» – «не-наши». Вопрос о правде, в том числе об исторической правде, или вопрос об ориентации искусства (что важнее: эстетические или общественно-политические ценности), поставленные в пятидесятые годы, так и остались нерешенным в семидесятые, а степень официально допущенной гласности регламентировалась от случая к случаю, что вызывало неудовлетворенность. Недостаток гласности в сфере культуры в конце концов привел к тому, что так называемые «творческие союзы» (Союз писателей, художников, кинематографистов, композиторов и т. п.) деградировали, вырождаясь в однобоко организованные и отчасти подверженные коррупции организации по снабжению товарами и услугами. Битва за доступ к кормушке, как это часто называют, для многих была важнее художественного творчества.

Число нерешенных или неудовлетворительно решенных проблем, застой, охвативший огромный духовный потенциал, достиг в восьмидесятые годы высшей точки. Это все отрицательнее сказывалось на способности к социально-психологическим изменениям во всех сферах общественно-политической жизни и в окончательном итоге вызывало у многих глубокое разочарование.

## Четвертый взгляд: первая половина восьмидесятых годов

Ситуацию восьмидесятых годов, непосредственно после прихода к власти Андропова и до момента смерти Черненко, можно представить следующим образом: к экономическому застою и выра-

жаемой иногда спокойно, а иногда демонстративно благонамеренности у большей части деятелей культуры прибавилось еще иное: на базе брежневского принципа 1982 года, который гласил: «Спокойствие – первейшая обязанность гражданина», – доходило до требований клятвы, подтверждавшей откровенность помыслов и убеждений, которая была для всех, кто сохранил здравый политический смысл, явным сигналом того, что сама суть государства находится под угрозой. В области культуры, суженной, по-видимому, до границ литературной критики, речь, в сущности, шла все же об истинном существе идеологии, задававшей тон во вне этого узкого круга. Таким образом, клятва в откровенности помыслов призвана была, кроме всего прочего, подтвердить, что теория и практика социалистического реализма, вопреки всей вычурной риторике своего «научного» обоснования, больше уже не действует, а потому давался совет, чтобы эта область культурной жизни все более и более освобождалась из-под контроля. Вместо того, чтобы быть идеологически бдительным и целеустремленным, лучше поощряюще похлопывать друг друга по плечу. Беспечность критики была вполне понятна, так как реальность выглядела не так, как того требовала теория. Царила атмосфера благосклонности, писатели и художники устраивали себе заграничные поездки, квартиры и т. п. Подозрительным был тот, кто действовал слишком ревностно, да еще пытался собрать вокруг себя единомышленников. Каждая форма казалась отныне столь предосудительной, сколь и опасной, как вообще любая причастность к группе лип. И тут функция контроля за литературой, дополнительно возложенная на цензуру, перестала выполняться; в виде опыта от культуры стали требовать не фактических успехов, а разве что достижений на словах. Это становится более чем ясным хотя бы оттого, что число циников в то время после прямо пропорционально числу алкоголиков.

Как встречная реакция на хорошо осознанный за кулисами публичной жизни итог многолетней практики, заключавшейся в том, что каждый по-тихому занимался своим делом, а потому все реже и только лишь для вида присягал на верность идеологии, между 1982 и серединой 1985 года появились публикации, в их числе также анонимные передовицы, которые напоминали по тону, лексике и фразеологии сталинские постановления времен ждановщины (1946–1948 годы). Их нужно рассматривать, как последнюю попытку отыграться, возродив с помощью предохрани-

тельно-репрессивных мер хорошо известный, но канувший в Лету идеологический контроль.

Наряду с этим тогда же существовали тенденции, которые были попыткой компенсировать бессилие официальной идеологии по отношению к литературе семидесятых годов, содержащей критику, русофильскими, консервативно-националистическими мотивами. Эти стремления появились как реакция на внешнюю видимость идеологических решений того времени и, по всей вероятности, были связаны с событиями в ЧССР в 1968 году, с событиями в Польше в начале восьмидесятых годов, а также с процессами, имевшими место у нерусских народов СССР.

## Попытка изменений сверху

Горбачев пришел к власти в начале 1985 года, в ситуации, когда в стране было накоплено множество десятилетиями не решенных проблем, в том числе о области культуры. Решение открыть дорогу гласности еще не было принято, а судя по звучавшему в средствах массовой информации партийному жаргону все предвещало скорее новые ограничения и запреты, а не перемены. Понятие «перестройка», которое постоянно сопровождало разные пропагандистские кампании уже со второй половины двадцатых годов и означало повышение эффективности в экономике, и на этот раз не сулило доброго. Все ожидали решительных действий в сфере народного хозяйства и технического перевооружения без какой бы то ни было свободы в области культуры и без надежд на улучшение материального положения.

Почти одновременно с этим появились некоторые признаки перемен, которые разбудили первые надежды, но эти нерешительные перемены были столь противоречивыми, что несколько не могли приглушить ставший привычным скептицизм и царившее повсеместно неверие в их длительность и основательность. Тогда по телевидению все чаще стали показывать интересные фильмы, что было делом непривычным. Но вместо того, чтобы действительно стимулировать первые шаги в сторону обновления, демонстрация фильмов, долгое время бывших под запретом или в свое время изъятых, не могла смягчающим образом повлиять на позицию большинства интеллектуалов и вызвать у них

ожидаемую реакцию: этого было слишком мало. Однако решающим образом повлияло здесь и то, что тогда же (особенно под влиянием празднования сорокового юбилея «победы над фашизмом») была выпущена пропагандистская обойма в духе старой школы, а хвалебные гимны звучали рядом с грубыми нападками на авангардизм. Неясность эстетических и идеологических тенденций усиливала у многих убеждение в том, что и теперь ничего не изменится, что дозволенным новшествами, в области идеологии в первую очередь, не суждено долго продержаться. Этот скептицизм, имевший место в тот период, полностью оправдал себя, если речь идет об общественно-экономическом положении, но в области идеологии, как впоследствии оказалось, предчувствия скептиков не оправдались. Конечно, и сегодня нет верных оснований для оптимизма относительно того, насколько прочна идеологическая гласность. Мы ведь знаем, что назначение Кравченко на должность председателя Государственного комитета по радиовещанию и телевидению (Гостелерадио) в декабре 1990 года означало то, что отныне по крайней мере часть передаваемой по телевидению информации снова будет контролироваться в том смысле, чтобы в эфире преобладали передачи более легкого содержания, хотя интервенция советских войск в Прибалтике и кризис в Персидском заливе должны были бы склонить телевидение к предоставлению широкой информации и организации дискуссий на важнейшие темы. С апреля 1991 года возникло, однако, как результат противостояния отдельных советских республик и центральной власти, собственное телевидение РСФСР, которое не подчиняется Кравченко и дает повод к осторожным надеждам на лучшее.

Вернемся все же к ситуации 1985–1986 года.

Когда Горбачев во время поездок по стране и в многочисленных выступлениях изо всех сил старался воодушевить массы, интеллектуалы застыли в безмолвии и ожидании. Организаторы больших творческих союзов внешне казались активными и занятыми делом, но подарки сверху были по большей мере двусмысленными, опосредованными и в количественном отношении ничего не значившими, чтобы увлечь за собой все население.

Десятилетиями подрываемое доверие к любым формам жизни, регламентируемым государством, не могло снова быть восстановлено в столь короткое время. Вера в идею социализма перестала быть жизнеспособной, а большинство ее поборников уже с начала семидесятых годов по большей части были не убежден-

ными, вызывающими доверие людьми, а циниками. Горбачевская попытка оживить веру в социализм расценивалась как с давних пор знакомая риторика.

## Попытка изменений сверху и снизу

В этих обстоятельствах летом 1986 года произошел беспрецедентный в советской истории случай: на высшем уровне было решено, что преобразование общества и экономики невозможно без гласности в области культуры. Этому решению сопутствовал замысел, согласно которому средства массовой информации должны были выполнять ту же функцию контроля, какая в демократических странах приходится на долю оппозиции или на ряд политических партий. Таким образом, попытка реформировать общество была задумана совсем иначе, нежели в 1956 году. Культуре с самого начала предназначалась центральная, наиболее ответственная роль среди прочих направлений общественной жизни. Ожидалось, что ее живость и многообразие смогут мобилизовать людей, вызвать у них желание действовать в ожидаемом направлении. Потому важно было довести до них беспощадную правду обо всем, что касалось полностью разрушенного общества, его настоящего и будущего.

Неудивительно поэтому, что именно писатели сыграли важную роль в первый период начавшегося процесса перемен. Когда в декабре 1985 года на одном из заседаний их союза смогли прозвучать такие доклады, которые ранее были бы категорически запрещены, то тогда же появились писатели, которые потребовали опубликовать многочисленные произведения, преданные проклятью или изданные не полностью, а также вернуть русской литературе добрые имена своих коллег. Благодаря этим предложениям история русской и советской культуры должна была наконец стать доступной современности и широкому кругу читателей. Реорганизация литературных редакций, в том числе изменение их персонального состава и образование новых руководящих органов Союза писателей были первой реакцией, вскоре приведшей к оживлению общественной жизни.

Неверно было бы, однако, предполагать, что противники заново возрождающейся советской литературы и критического пе-

решения ее истории, недовольные существенно изменившимся положением в сфере официальной жизни, будут совершенно пассивно наблюдать все это, хотя и они – как и «разрушители» – прежде всего занимали позицию скептических оппонентов, не веривших ни в какую возможность реформирования страны.

Когда оно все же началось, они испугались не только за свою репутацию непреклонных защитников «старой правды», но также опасались утратить влияние в аппарате и предоставленные им ранее привилегии. Оправдывая свои действия – в противоположность тому, как это было ранее – «ретрограды» ссылались скорее не на дискредитировавшую себя идеологию, верность которой вот уже давно была внешним прикрытием их цинизма, а на «новые», то есть проверенные историей «старые ценности». В этом плане знаменателен тот факт, что русофилы или неославянофилы, которые заявили о себе в Союзе писателей, Союзе художников и т. п. союзах, а также в некоторых журналах (например, в «Молодой гвардии», «Нашем современнике») уже с конца шестидесятых годов, стали теперь открыто выступать в рамках вновь сформировавшихся группировок и пытались предложить собственные концепции стабилизации своеобразно понятой культуры и всего общества, ориентируясь при этом на восходящие к XIX веку теории, которые лежали в основе их убеждений.

Наиболее демонстративны перемены по инициативе сверху имели место в Союзе кинематографистов. Они привели к тому, что на экранах появились многие фильмы, лежавшие на полках зачастую еще с шестидесятых годов.

Кроме того, произошло существенное изменение в структуре административного руководства Союзом. Вызванная тем в самом постепенная ломка традиционных вертикальных механизмов принятия решений, а также параллельное существование полугосударственных и, так называемых, частных киностудий за последние два-три года до основания изменили прежний подчиненный государству Союз кинематографистов. Сейчас он похож на машинное депо, в котором многие трудятся по мере желания, для собственных целей, или же действует как своего рода профессиональный союз, члены которого стараются главным образом осуществить свое право на трудовое законодательство. За подобного рода изменениями и инициативами стоит тенденция, которая менее всего заключается в том, чтобы очистить от скверны ту или иную область культуры, вернувшись к нормальным отношениям, а скорее всего в том, чтобы воспользоваться аппаратом в своих

собственных интересах, которые видны как на ладони. В этом плане все это выглядит согласно образцам поведения, характерного и для других сфер общественных отношений.

Что касается сцены, то там новые принципы организации и свобода принятия решений как в хозяйственных делах, так и в составлении репертуара прежде всего благоприятствовали экспериментальным театрам и театрам-студиям. Речь идет об эксперименте, который, как это вскоре оказалось, почти совсем заглох; в последнее время не намечилось никакого улучшения данной ситуации. Правда, можно говорить об известном рода театральной оттепели, суть которой заключалась в появлении на сценах острополитических спектаклей обличительного характера, а также в усилении роли чисто игрового элемента в представлении. Однако ближайшее будущее показало, что новые начинания в области театра целиком зависят от активизирующе-злободневного характера пьес. А такие пьесы появлялись по-прежнему редко. Этим отчасти можно объяснить тот факт, что все заметнее пустеют зрительные залы.

Цензура существенно ослабела уже в 1987 году и, насколько нам известно, в принципе ограничивалась лишь тем, что и должно было отныне подлежать цензуре: военные и государственные тайны, пропаганда шовинизма, порнография и т. п. Между тем оказалось, что она бессильна противостоять наплыву порнографии и национал-шовинизму.

Под предлогом необходимости полового воспитания (что действительно было нужно) в стихийно размножавшихся частных и полугосударственных издательствах стали публиковаться такие вещи, которые мало чем отличались от порнографических картинок; о недоступном для контроля видеорынке секс-фильмов мы не говорим. Так же слабо реагировала цензура – очевидно, с одобрения заинтересованных кругов – на проявления апартеида в межнациональных конфликтах и на антисемитизм. Интересно притом, что издатели попросту больше не «засекречивали» публикаций, которые по своему содержанию не были «одобрены» цензурой, а цензурное ведомство, со своей стороны, не противилось такому положению дел или же попускало те издания, которые, согласно цензурному уставу, не могли появиться в печати из-за своего содержания. В середине января 1991 года, правда, была предпринята первая попытка подчинить центральную печать Верховному Совету. Печать эта была к тому времени почти во всех отношениях самостоятельной и действовала почти полно-

стью на свой страх и риск. Но как в других случаях, это мероприятие по повторной централизации не удалось. Это произошло, видимо, потому, что даже консервативные депутаты не желали, чтобы средства массовой информации зависели от центральных властей, и не поддержали это предложение.

## Попытка обобщения и перспективы на будущее

Происшедшие в 1986–1987 годах перемены развязали руки как тем, кто зимовал в укрытии культурной деятельности или ушел в подполье еще во время оттепели пятидесятых годов, так и тем, кому не суждено было в послехрущевский период взять на себя бремя мужества. Теперь они могли активно включиться в происходящие процессы «снизу» и свободно действовать в открывшемся пространстве. Расшатывание заскорузлых административных структур и духовно-интеллектуальных шаблонов, наступившее в результате и гласности, положило начало окончательному отказу от образа жизни согласно обозначившейся в брежневскую эпоху сталинистской культурной модели. Национальная изоляция уступила заново открытой традиции западноевропейских культур в их многообразии, в прошлом и настоящем. Весьма распространенной в последнее время стало беспощадное предъявление счета любым теориям прогресса, носящим утопический характер. Представление о настоящем как о непрерывной бездушной систематизации жизненной среды и человеческого сознания пополнилось новым, становящимся все более полнокровным образом прошлого. Сравнительно быстро осуществилась переоценка всех ценностей, и тогда впервые взорам людей открылась бездонная пропасть – неизвестное будущее. Иных она заставила ужаснуться. Целостная модель мнимо-благостного мира, которую на свой манер, в зависимости от обстоятельств, лепили Сталин и Брежнев, спустя немного лет сменилась новой, откровенно обнаженной, полной внутренних противоречий моделью; ныне она тут и там порождает неуверенность, которая к тому же усиливается из-за растущего дефицита в экономике. Широкие круги населения, обремененные будничными заботами, приучаются видеть мир согласно иной, непривычной культурной модели, которая не в си-



лах победить пустивший глубокие корни страх существования и потому кажется безнадежной и бесполезной. В определенном отношении она является для них даже антипродуктивной. Категории «сверху» и «снизу», «из центра» и «с периферии», воспринимаемые с точки зрения одновременности исторически неодновременного и гетерогенного, получают некоторый новый смысл и потому должны быть заново определены в их взаимозависимости.

Никто не готов к подобной ситуации. Между тем однородная и однозначная иерархия, которая в прошлом покоилась на принципе силы и власти, рушится на глазах и освобождает место для формирования заново возникающих кругов и центров со своей собственной, зависящей от обстоятельств иерархией. В то же время такая ситуация предоставляет широкое поле действия для разного рода шарлатанов, совращающих людей, мафии и бесчисленных миссионеров с их законоучениями, приспособленными к меняющейся обстановке.

Вышеописанная культурная модель – не что иное, как переход от старого, которое постепенно разрушается, к новому, которое, однако, еще не выработало форм и механизмов взаимодействия, применимых в условиях стабилизации. В целом это состояние, характеризующееся отсутствием единообразия, полное противоречий в своем развитии, направление которого еще не обозначилось достаточно ясно. Несомненно все же то – и это отчетливо подтверждается ходом событий за последний год – что нынешняя модель не является продуктом наблюдаемой динамики развития, я что и она в целом, и каждый составляющий ее элемент подвергает глобальному сомнению любую разновидность единой модели, включая общественный строй.

Прежде всего идут поиски новых моделей общества, которые смогли бы установить новые отношения между личностью и коллективом и, в конечном счете, соотноситься бы с «индивидуалистической» моделью («первая» модель двадцатых годов), которая исходила из особенных этических свойств личностного бытия. Эта модель, которая позволила бы преодолеть кризисное состояние, принята далеко не всеми; далеко не все именно так представляют себе будущее. Многие обращаются к самым различным историческим прототипам и пытаются следовать им и пропагандировать их.

Связи между людьми, которые возникают в ходе этого процесса, могут, по-видимому, стать исходным пунктом для формирования партий, групп или широких движений. Все это приведет

к поляризации и к выработке новых структур, способных к консолидации благодаря функционированию новых центров управления, которые постепенно займут место распадающейся старой власти. Именно сейчас, в последнее время, заявляют о себе зачатки новых концептов стабилизации, которые могут прийти на смену переходной модели.

Подобный ход развития, на наш взгляд, оставляет далеко позади себя множественность культурной дифференциации, которая в скрытом виде имела место в семидесятые и восьмидесятые годы. Мы наблюдаем подверженное постоянным изменениям переплетение взаимосвязей, которое предопределяется усилением инициатив «снизу»; ясно притом, что формирующиеся «снизу» силы еще совершенно не зависят от организованных структур, способных приспособиться к обстоятельствам. Доныне задающий тон аппарат Министерства культуры по-прежнему состоит из «бывших» и занят самим собой. Комиссии по культуре при ЦК КПСС или при Президиуме Верховного Совета все еще трудятся совместно с министерством над разработкой общих концепций, которые смогли бы среагировать на новую ситуацию, а прежде всего – найти способ заметно стимулировать широкую активность деятелей культуры. Претворение этих целей в жизнь, однако, терпит неудачу из-за нехватки квалифицированных кадров, способных решить возникающие проблемы, опираясь на свое образование и опыт.

Выдающихся личностей, которые как раз заявляют о себе в политике, экономике или в средствах массовой информации, явно недостает в культурном аппарате; зачастую они не желают предоставлять себя в его распоряжение. Из всего этого следует заключить, что в обстановке вакуума руководящей системы в последние два года сильно идеологизированные движения резко активизировали свою деятельность, создав при некоторых газетах и журналах непримиримые по отношению друг к другу полюса мнений, противостояние которых будет впредь усиливаться. Возможно ли тем самым достичь самоопределения личности, речь о котором шла в дискуссиях начиная с XIX века?

Ответ на этот вопрос может быть скорее всего скептическим. Историческая вина, ложившаяся на плечи страны в различные периоды ее развития и сделавшая страну до сих пор не выкупленной заложницей, в наши дни все еще кажется слишком большой. Сдвиги и перемены последних лет встречают на своем пути сопротивление тяжелого наследия прошлого.

---

# Одновременность неодновременного. Немецкий взгляд на культурные взаимоотношения России и Германии в XX веке\*

Принято считать, что вопреки или, скорее, «благодаря» двум мировым войнам отношения России с Германией были более интенсивными, чем с другими странами. И это близко к истине. Притом официальные – то есть финансируемые государством – культурные контакты играли в таком контексте не самую важную роль. Куда более значимыми оказывались многочисленные личные связи, в пространстве которых особое значение приобретали философские, художественные и публицистические тексты, выставки, фильмы, концерты и другие «площадки» обмена представлениями двух народов друг о друге.

Подобный обмен мог происходить случайно или целенаправленно, при решении тех или иных практических проблем, к примеру, таких, как совместное производство самолётных моторов в 1920-е годы или подготовка специалистов на базе AEG (Всеобщей компании электричества) в Берлине. Важной предпосылкой для двустороннего обмена стали – всегда непростые – встречи немцев и русских во время войн и после них. Помимо тесных торгово-экономических отношений, к подобного рода связям относится подготовка специалистов из ГДР в Советском Союзе и граждан СССР в ГДР.

Результат подобных контактов всегда оказывался неоднозначным для сторон, но на человеческом уровне чаще всего был позитивным. Такое взаимодействие создавало своего рода мозаичную память и в историческом, и в актуальном аспекте. Если в рамках традиционных культурных связей каждый участник получал информацию о другой стране из таких знаковых систем, как литера-

---

\* Из: Родина. № 11. 2012. С. 106–107.

тура, СМИ, кинематограф, то прямой контакт способствовал передаче новых, неоднородных, бесконтекстных сведений. Подобно камешкам мозаики, они принадлежали к тому пространству, которое редко можно было обзреть целиком. Если пространство памяти заполнялось только с одной стороны, оно могло создавать мифы, если же формировалось из нескольких источников – то способно было оказывать положительное воздействие на процесс взаимодействия. Это относится к фестивалям, выставкам, спектаклям, концертам, а также к обмену школьниками и прочим подобным ситуациям живого общения. Подчас, однако, происходило столкновение смыслов и ощущений – в зависимости от характера и степени официальности контакта. В этом случае память – как отдельного человека, так и социокультурной общности – формировалась нелинейно, самыми различными способами. Но именно в таком формате создаваемая память позволяла с большим вниманием и пониманием относиться к сходствам и различиям народов и их культур.

Однако надо сделать оговорку: далеко не в каждом случае обмен информацией или опытом – в жизни, искусстве или науке – непосредственно влияет на человека и социум. Гораздо важнее оказываются те соприкасающиеся поверхности, которые приводят к появлению альтернативного мышления и независимых поступков. Позитивным в истории германо-российских отношений был фактор уважения к чужой культуре – в противовес негативно воспринимавшемуся насильственному приобщению к государственной идеологии. Преобладание той или иной тенденции задавало в обществах обеих стран ориентиры поведения, склоняя выбор в сторону одобрения или осуждения, доверия или недоверия, восхищения или отвращения. В пространстве культуры все эти аспекты сосуществовали и сосуществуют. Но реализация их на деле или оценки их современниками каждый раз зависят от общественно-политической ситуации, от идеологических взглядов в кругах заинтересованных лиц. Статистика при этом ничего не говорит о характере самих взаимоотношений. Например, какое значение имеет тот факт, что в 1920-е годы в Берлине жило 200–300 тысяч русских эмигрантов и работало значительное количество русских издательств? Об интеграции российской культуры в немецкой среде в тот период речь могла заходить крайне редко...

Во время Первой мировой войны социокультурные факторы взаимовосприятия заработали в виде враждебных реакций по отношению к немцам в России. В 1920-х годах то же случилось

в отношении немцев к русским эмигрантам в Берлине. Особую роль играли попытки создания новых общественных моделей в обоих государствах, причём с участием художников, писателей, режиссёров и других деятелей искусства.

В ходе формирования того общественного порядка, который в итоге привёл ко Второй мировой войне, предлагалось сделать искусство общественно-политической инстанцией, задающей этические нормы. В этот же период сосуществовали две параллельные русские литературы, и, что характерно, обе они активно преследовались в Германии различными политическими силами.

Дальнейший этап развития отношений – с конца 1920-х годов и почти до завершения Второй мировой войны – характеризуется не только интенсивным навязыванием определённого типа культуры и идеологии в двух враждебных друг другу диктатурах, но и накоплением множества впечатлений – в ходе наблюдения за врагом в военные будни и в плену.

После 1945 года в Восточной и Западной Германии развиваются собственные литературы и новые направления искусства. Влияние Советского Союза приводит к переориентации во всех сферах культуры ГДР, несмотря на попытку отдельных деятелей искусства создать собственное пространство для творчества. В СССР также возникают альтернативные культурные модели, не становясь, однако, доминантными. За этой тенденцией внимательно следили и в ГДР, и в ФРГ, хотя в Восточной Германии это скрывалось, а в Западной, наоборот, открыто говорили о новой надежде на культурную открытость.

Новая фаза отношений была отмечена таким знаковым явлением, как гласность, декларированная в ходе перестройки. Этот период можно было бы назвать «одновременностью неодновременного». Происходит восстановление всего того, что ранее не было доступно обществу. Эта новая ситуация рассматривалась в обеих Германиях как частичный слом, но также и как прелюдия к событиям, которые могли бы произойти после воссоединения ФРГ и ГДР. Тогда у немцев появилась общая надежда на возобновление отношений, свободных от конфронтации эпохи холодной войны. В тогдашней лавине новой литературы можно было ощутить переживания, характерные для ритма сменявших друг друга эпох войны и мира, конфронтации и восстановления отношений, стартовавших после уничтожения фашизма в Германии и разрушения сталинизма в СССР. Официальная дистанция, охраняемая с помощью физических границ, преодолевалась взаимной

симпатией и близостью, бóльшей свободой передвижений и уже не регламентированными властями контактами между немецкими и советскими институтами, а также отдельными гражданами. Особенно от этого выиграли вузы.

Помимо этих культурных диспозиций, во взаимовосприятии двух народов в XX веке большую роль играли два разнонаправленных фактора. Во-первых, уже упомянутые личные контакты. Во-вторых, попытки СМИ с помощью пропаганды подчёркивать противоположности, «разжигать рознь». Стереотипам и мифам, бытовавшим в общественном сознании двух народов, пытались придать сугубо политическую функцию. Именно так одновременно рождаются, с одной стороны, надежда на разрушение советского большевизма, с другой – желание окончательно решить общественно-политические проблемы при победе коммунизма.

Тяжкая ноша конфликтов XX века повлияла и на научный анализ социально-культурных тенденций как в России, так и в Германии. Разумеется, там, где в этом присутствовал государственный интерес, власти содействовали обмену – здесь можно упомянуть и пакт Молотова – Риббентропа, и работу «культур-офицеров» из военной администрации в Германии, и акт возвращения картин в Дрезденскую галерею, и – уже позже – такие мероприятия, как «Дуйсбургские акценты», «Дни культуры» в Дортмунде, выставки «Берлин – Москва». Однако вопрос границ также нередко всплывал, например, при обсуждении «особого статуса» Западного Берлина и при решении вопроса о разделе трофеев.

Своим путём развивалось сотрудничество Советского Союза с ГДР. Большое внимание и та, и на другой стороны уделяли всем сферам культуры и образования – в этом, конечно, присутствовал политический умысел. Как поддержка, так и помехи, создававшиеся партийными и государственными структурами ГДР в отношении литературы, искусства, музыки и театра, по сей день остаются не до конца изученными. Взаимоотношения между СССР и Западной Германией в тот период несравнимы по масштабу с отношениями между СССР и Восточной Германией. После объединения ГДР и ФРГ ситуация изменилась в очередной и последний раз. Настал черёд развитию нормальных культурных взаимоотношений, хотя ещё долго они не достигали уровня, характерного для эпохи, предшествовавшей Первой мировой войне.

Что касается науки, то могу привести приятный пример из собственного постперестроечного опыта: около 130 немецких

и российских историков смогли в продуктивной и дружной атмосфере несколько лет работать над Вуппертальским проектом Льва Копелева, участвуя в ряде интересных дискуссий и публикаций. Ещё один проект, целью которого было изучение процессов, протекавших за кулисами советской культурной политики, был осуществлён с привлечением почти всех главных государственных архивов Москвы. Возможность сотрудничества получили и многие вузы, которые сегодня работают на основе долгосрочных договоров. И это лишь некоторые показатели стабилизации современных российско-германских отношений.

...Круг замыкается. Столетие страха и недоверия, антипатии и агрессии закончилось, у нас появился шанс. Ценою трагедий и потерь мы пришли к принятию истины: вмешательство политики или идеологии наносит вред нормальному культурному обмену и разъединяет то, что должно быть общим – пространство культуры.

*Перевод: Даниил Бордюров*

---

# V

## Биографические заметки



# От русского языка к диалогу с Россией\*

## Первые сближения

Я родился в Берлине в воскресенье, 2 января 1938 года, около 8 часов утра, во время сильной метели. Тогда я еще не мог знать того, о чем с ужасом узнал только во время учебы в старшей школе и в университете – о Гитлере, его диктатуре, развязанной им войне и уничтожении миллионов евреев, цыган и попавших в политическую опалу немцев и иностранцев.

Лишь с годами я также понял, что каждая тирания почти всегда сопровождается войнами и убийствами. Большинство солдат, которым пришлось отправиться на Вторую мировую войну, были еще детьми или молодыми людьми, которые только начали создавать свои семьи – как и всегда, надеясь на мирное будущее. У старших солдат еще были живы воспоминания о Первой мировой войне и ее бесконечных последствиях для экономики и культуры, не говоря о многих демографических и этнических изменениях, новая волна которых поднялась после Второй мировой и осталась в их памяти до конца жизни. О холодной войне во время моих спокойных домашних родов ни я, ни мои родители не могли и предполагать...

Мои воспоминания начинаются в тот момент, когда уже шла война – наверное, мне было около трех лет. Папа был призван на службу и иногда приходил домой в униформе. Поскольку он оказался не пригоден к участию в военных действиях, до конца войны он выполнял различные хозяйственные поручения в берлинском варьете «Скала». Несколько раз он брал с собой меня и других детей, чтобы мы могли бесплатно посмотреть представление, стоя рядом с одним из прожекторов. Лишь много лет спустя я осознал, что обе танцовщицы, которые временно жили у нас,

---

\* Из: Каталог «Мир без насилия. Творческий вызов Карла Аймермахера». Музей истории Гулага. – М., 2017.

выступали в том же самом театре. Они всегда были веселы и у нас дома тоже охотно демонстрировали свои длинные ноги. Всё это, впрочем, скорее несущественные осколки воспоминаний, пусть даже имевшие определенное значение для четырех-пяти-летнего мальчика.

Среди многих других наложивших свой отпечаток деталей, прежде всего, следует упомянуть те впечатления, благодаря которым я впервые узнал о войне и о ее воздействии на жизнь «за линией фронта», хотя я еще не понимал, почему вообще шла война и кто в ней участвовал. Война, как и для большинства детей в моем возрасте, проявлялась в различной форме, чаще всего связанной с суматохой, спешкой, в меньшей мере со страхом. Почти каждый день осуществлялись бомбардировки, поэтому ночи часто были очень беспокойны. Днем и ночью ревущие сирены предупреждали о воздушных нападениях, чтобы мы могли успеть найти укрытие. Неприятнее всего были ночные тревоги, которые прерывали глубокий сон, чтобы мы могли быстро добежать до бункера. Не всегда это удавалось. Бомбардировки и ярко светившиеся так называемые «рождественские елки» на небе, из-за которых ночью было светло как днем, производили крайне угрожающее впечатление. В особенно напряженных ситуациях, например, когда мы не успевали вовремя спрятаться в бомбоубежище, родители испытывали сильный страх. Теперь меня удивляет, что я не ощущал при этом опасности. Однако по сей день я чувствительно реагирую на громкий вой сирен, несмотря на то что они уже не выполняют функцию военной тревоги.

Следующие воспоминания, связанные со Второй мировой войной, начинаются после эвакуации моей мамы и нас, четверых детей. Сначала мы отправились к бабушке и деду в Исполиновы горы в Силезии. Оттуда в конце 1944 года, после многодневных скитаний, нас забросило в маленькую деревню в Нижней Баварии. Там, со вступлением американских войск, мы встретили окончание войны. Разговоры в это время постоянно велись о «русских». О французах и англичанах, которые также заняли большие части Германии, мы, дети, ничего не узнали. Только позже они попали в наше детское сознание.

Тем не менее со временем у меня появилось размытое представление о том, что внутри Германии есть «границы» (союзников), которые чаще всего можно было нелегально пересечь только ночью или при тумане. Это многократно удавалось моему отцу, оставшемуся в Берлине, благодаря чему он в итоге смог

легально перевезти семью из американской зоны оккупации в советскую. Политические соображения не играли при этом никакой роли, просто берлинский район Хозншёнхаузен, в котором мы жили до войны, перешел под советский контроль.

## Возвращение в Берлин, теперь уже в Восточный Берлин

На обратном пути в Берлин при переходе через границу мы встретили нашего первого «русского», советского солдата. Он был еще почти ребенком, но уже должен был охранять и контролировать важную границу, *свою* границу. Самое большое впечатление производил его автомат, по-видимому АК.

Окончательная победа союзников над гитлеровской Германией принесла солдатам – это было доступно и нашему детскому восприятию – различные свободы и ограничения. Американские солдаты быстро подружились с немецкими девушками, русские, как правило, появлялись в общественных местах только «под защитой»: чаще всего отрядами, на грузовиках или маленькими группами на спортивных площадках. Нередко еще в 1946–1947 гг. можно было увидеть, как они выступали на публике, играли на губной гармонике и танцевали. Иногда немки также спонтанно присоединялись к танцу. Это мирное сосуществование победителей и немцев выглядело в наших детских глазах совершенно нормальным, ведь оно создавало атмосферу спокойствия.

Как на Востоке, так и на Западе присутствие солдат входило в порядок вещей – во всяком случае, нам так казалось. В Восточном Берлине, где мы снова жили с 1946 года, солдат можно было увидеть довольно редко, поскольку они, как правило, проживали в казармах. Более того, советские офицеры и дипломаты жили в изоляции от населения в специально огороженных районах, куда немцы могли попасть только при наличии разрешения.

Для публики в целом послевоенные взаимоотношения между немцами и союзниками были в принципе ненапряженными, хотя при окончании войны, во время взятия Берлина советскими войсками, большое число женщин стали жертвами насилия. Об этих моментах многие вспоминали с ужасом. Впрочем, зачастую речь шла и о ситуациях, в которых советские солдаты оказывали свою

помощь. За любые нападки солдаты вскоре стали строго наказываться.

На наше послевоенное восприятие поначалу сильно влияли негативные оценки советских солдат. По большей части они основывались на случаях, о которых рассказывали наши родители. Фактически именно они на протяжении нескольких лет определяли наши воспоминания, хотя мы, дети, знали «русских» (для многих взрослых они были бывшими «противниками») скорее с их человеческой стороны. Таким образом, в обществе имелось двойственное отношение к русским (советским солдатам). Всё, что происходило наряду с этой «нормой» в ходе советизации восточной части Германии и возмутительных акций произвола при участии правительства СЕПГ и советских сил безопасности, мы смогли постепенно осознать – так же, как и преступления СС и вермахта, – только повзрослев. Однако тот факт, что преобладающая часть граждан ГДР была оппозиционно настроена к собственному правительству и тем самым также к «русским», с конца 40-х – начала 50-х гг. стал оказывать всё большее воздействие и на наше отношение к Советскому Союзу. Поэтому в школах обязательный предмет «русский язык» не пользовался особой популярностью. Мотивации для его изучения не хватало.

Тем не менее летом 1953 года это внешне мирное сосуществование русских и немцев изменилось с моей, еще детской точки зрения школьника радикально: недовольство восточноберлинских строителей на Сталин-аллее<sup>1</sup> увеличением норм выработки сначала вылилось в демонстрации с требованием повышения зарплаты, а затем, 17 июня, внезапно превратилось во всеобщую забастовку, направленную против правительства ГДР. В этой ситуации против протестующих были брошены танки Советской Армии, которая жестко подавила восстание. После этого советских (а не восточногерманских!) солдат еще долго можно было увидеть на улицах Восточного Берлина.

Благодаря этому событию мне и моим ровесникам (я уже учился в 10-м классе) впервые по-настоящему стала очевидна реальность раскола Германии, разрыва между западной и восточной оккупационными зонами, а также между очень большой частью общества и правительством ГДР. Отношение к советским оккупационным властям и к Советскому Союзу в целом было,

---

<sup>1</sup> После речи Хрущева на XX партийном съезде в 1956 году она снова, как и прежде, стала называться Франкфуртер-аллее.

вдобавок к общей антипатии ко всему «русскому» (на самом деле «советскому»), сильно испорчено. Казалось, что оно уже не сможет когда-либо снова нормализоваться. В такой атмосфере почти никто из школьников не хотел учить русский, смотреть русские либо восточногерманские фильмы или читать русскую литературу. Во многих случаях эта позиция скрытого бойкота была неоправданна. Но всё «русское», прежде всего, в подсознании отождествлялось с «советским» и поэтому изначально представляло в негативном ключе. Хотя окончательный захват Берлина, взятие рейхстага и вынужденная капитуляция подавались как заслуги советских войск, в то же время выражением победы над Германией была также встреча с остальными союзниками на Эльбе, которая прочно закрепилась в общественном сознании.

В Берлине эта общая победа нашла воплощение в представленности главных противников, которым было передано управление четырьмя секторами – советским, британским, французским и американским. Так в Берлине появилась возможность в повседневной жизни сталкиваться с разделением на Запад и Восток, которое было усилено сталинской блокадой Западного Берлина в 1948 г. и стало наглядным выражением нового конфликта – холодной войны. При этих обстоятельствах становится понятным, почему большая часть берлинцев (и восточных, и западных) была ориентирована на Запад. «Советы» были уже не только «освободителями» в прошлом, но и противниками в настоящем. Конечно, с советской и гэдээровской точки зрения всё было наоборот: союзники окончательно стали врагами. Берлин стал центром конфронтации и местом сбора – как мы узнали позже – разведывательных служб самого разного происхождения. Будучи в те годы детьми, мы понимали это не так отчетливо. Большинство слушали и смотрели радио- и телепередачи как с Запада, так и с Востока. Однако в случае новостных выпусков большее доверие вызывали западные каналы, в то время как новости из ГДР вызывали раздражение новым типом пропаганды или идеологической индоктринации.

Отношение к гэдээровской системе во многих сферах было более чем напряженным и от года к году приводило ко всё более масштабным волнам эмиграции в Западную Германию. Поток беженцев достиг своего максимума в августе 1961 г. Строительство Берлинской стены Восточной Германией при участии советской армии положило конец эмиграции квалифицированных специалистов.

## Переезд из Восточного Берлина в Западный

Хотя я не принадлежал к какой-либо волне эмигрантов, в конце концов, летом 1956 года, я тоже оказался в Западном Берлине. Причиной было не мое критическое отношение к ГДР. Оглядываясь назад, я могу сказать, что жаловаться на свою жизнь в ГДР, то есть до момента получения аттестата, я не имею права. Конечно, до 1956 г. я еще ходил в школу и не сталкивался, как взрослые, с политическими конфликтами на работе. В то же время специалисты, которые всё в большей степени должны были отвечать политическим требованиям, после оказанного на них давления или самостоятельно принятого решения отваживались бежать. Например, отец моей одноклассницы профессор Граупнер, всемирно признанный музыковед из Гумбольдтского университета, которому в 1954 году я помог перебросить его библиотеку из Восточного Берлина в Западный. С моей стороны это было, как я сейчас понимаю, очень наивно. Мы, школьники, в это время почти на каждом шагу узнавали о явно несправедливых доносах и арестах невинных людей как последствиях всеобщей советизации. И хотя в это время мне самому еще не пришлось ощутить на своей шкуре результатов советизации, мне все-таки уже был очевиден глубокий разрыв между народом и властью. 17 июня 1954 года, то есть ровно год спустя восстания в 1953-м, меня ввиду семейных обстоятельств не было в школе. Спустя пару дней два комсомольца из моего класса принудили меня по поручению директора школы, то есть по поручению «сверху», подробно объяснить, почему я отсутствовал на занятиях, предполагая, что я якобы был в Западном Берлине, где отмечали годовщину событий 17 июня. Звучит смешно, но в то же время было понятно, что правительство боялось переворота или пусть даже подспудной подготовки к нему. С этого времени, а особенно после подавления Венгерского восстания в 1956 г., правительство ГДР начало строить в окрестностях Берлина, в Вандлице, собственные, отграниченные «от народа» дома и оранжерейный парк. В середине 50-х гг. уже было ясно, что предпринимаемые государством меры, при формальном сохранении гражданских правовых институтов, всё больше и больше усиливали власть, нарушая при этом конституцию, особенно когда речь шла о политических вопросах.

Но независимо от такого критического отношения к общей политической ситуации сперва я все-таки хотел изучать русский язык в той части города, где я жил, то есть в Гумбольдтском университете. Однако мне отказали. Отказ мне не был понятен, поскольку всем было известно, что мало кто любил русский язык, воспринимая его как основу всего советского. Тем не менее я уже с детства подсознательно различал русский язык и советское государство... В действительности не взять меня могли только по двум причинам. Либо моих знаний русского, полученных в школе, было недостаточно, либо это было связано с принятыми тогда социально-политическими установками: мой отец был кондитером и владел небольшой продуктовой лавкой, в которой работали он и моя мама («чтобы эксплуатировать себя, а не наемных рабочих»). Таким образом, мои родители принадлежали к так называемому буржуазному среднему классу, чьи дети необязательно должны были получать помощь в образовании или профессиональной карьере. Гораздо более существенная поддержка оказывалась детям крестьян и рабочих. В конце концов я решил поступить в Свободный университет в Западном Берлине. В принципе это было легко, так как западная и восточная часть города еще не были разделены стеной и добраться из Восточного Берлина в Западный можно было обычными средствами транспорта.

Однако в этом по сути логичном решении кое-что было не учтено. Школьное образование в Западном Берлине длилось на год дольше: в Восточном Берлине экзамены сдавали после 12 классов, а в Западном – после 13. В результате я, как лишь немногие немцы, получил два аттестата!

И снова вставал вопрос о том, какое образование в этой новой социально-политической ситуации было бы выгоднее получить. Я колебался между очень разными направлениями: юриспруденция, экономика, строительное дело, но, кроме того, германистика и классическая филология. Русский язык и славистика поначалу уже не входили в поле возможностей. Тем не менее обстоятельства сложились таким образом, что летом 1956 года стало поступать всё больше подробностей о десталинизации и либерализации в Советском Союзе после XX партийного съезда. Так могли возникнуть новые контакты между Западом и Востоком, которые, как мне тогда казалось, привели бы в итоге к окончанию холодной войны и создали бы ощутимую потребность в преподавателях русского языка. Таким образом, я решил все-таки стать учи-

телем русского и поступил в Свободный университет, выбрав специализацию «славистика и (немецкая) история» (а также педагогика и философия).

## Изучение славистики с 1957 года

Решение изучать русский язык было принято мной из прагматических соображений и никак не было связано с любовью к России, ее культуре или ее жителям, как кто-либо мог бы предположить. Тогда мои знания о стране и ее людях были очень и очень невелики.

Изначально я полагал, что буду иметь дело только с русским языком. Это было наивной мыслью. Быстро стало понятно, что область славистики была весьма обширна и по сути включала в себя все славянские языки и литературы, а на самом деле также и историю культуры восточных, западных и южных славян. Так, при начале учебы в Свободном университете оказалось, что профессор Макс Фасмер, один из основателей немецкой славистики, преподавал дисциплину на основе ее положения в индоевропейском языкознании и при рассмотрении сравнительных черт славянских языков. Школьный предмет «русский язык» фактически не имел при этом никакого значения, поскольку систематической подготовки учителей русского языка в том виде, в каком она велась в ГДР, в Свободном университете не было. Поэтому я учил русский скорее «на улице», во всяком случае, не в самом университете. Если же говорить о лингвистике и филологии, то эти лекции и семинары проходили на очень высоком научном уровне. То же касается и берлинской исторической школы, которой я многим обязан.

Расхождение между славистикой и изучением русского было более чем очевидно. Безусловно, наше гэдээровское знание русского после (в моем случае) семи лет в школе было паршивым. Поэтому несколько недель я брал частные уроки у моего бывшего школьного учителя, поволжского немца, переселившегося в ГДР. Но внезапно и ему, как и многим другим, пришлось бежать из-за придуманных доносов. Со своим советским опытом он сразу понял, что надо срочно оставить свой дом, свой сад, своих любимых пчел и навсегда покинуть новую родину (в отличие от меня, переехавшего, а не бежавшего в Западный Берлин).



По факту у нас в Западном Берлине не было русских профессоров. Несмотря на то что Макс Фасмер (лингвист), Валентин Кипарский (лингвист) и Юрий Штридтер (литературовед) родились в России / СССР, а Фасмер даже преподавал в Саратове до Октябрьской революции, никто из них не говорил о своем «русском» или «советском» прошлом и не демонстрировал в лекциях своих политических убеждений. Фасмер после войны был профессором Гумбольдтского университета, но после короткой поездки в Стокгольм вернулся прямо в западную часть Берлина. Про Юрия Штридтера мы знали, что он родился в Новгороде, но о том, как долго и при каких условиях он с семьей жил в Советском Союзе, я прочитал только в оставленных им воспоминаниях о жизни при Сталине и при Гитлере<sup>2</sup>.

Все наши преподаватели были высоко образованны и поступали очень по-человечески, сочувствовали нам и помогали во всех отношениях. В нашей группе было очень мало студентов. Что касается преподавания нам русского языка, то надо сказать, что его практическое знание не стояло на первом месте в университетском образовании. Мы должны были уметь читать все тексты по-русски и понимать их, и никто не требовал, чтобы мы владели разговорным языком. Нас подготовили как настоящих ученых с глубоким знанием методологии рассмотрения любого объекта языка и литературы, включая фольклорные тексты. Лекции по языку не способствовали фундаментальному усвоению предмета. Наш преподаватель русского языка, Сережников (эмигрант из Петербурга), однажды начал свой семинар так: «В прошлом семестре мы переводили “Критику чистого разума” Канта. В этом семестре я хотел перевести с вами “Будденброки” Томаса Манна, но понял, что адекватно роман на русский язык не переведешь. Поэтому продолжаем переводить Канта». После первых неудачных попыток справиться с таким сложным текстом я решил учить русский вне университета, то есть «на улице» у новых знакомых – сначала у пожилой дамы, русского архитектора первой волны эмиграции в Восточном Берлине, которая постоянно курила сигареты с длинным мундштуком и заботилась о бесчисленном количестве кошек и котов, живших у нее дома. Через нее я познакомился с советским торгпредом в ГДР, а через него – с

---

<sup>2</sup> *Штридтер Ю.* Мгновения. Из сталинской Советской России в «Великогерманский рейх» Гитлера. Воспоминания о детстве и юности (1926–1945). – М.: АИРО-XXI, 2012. – 479 с.

атташе по культуре и еще с несколькими людьми. После возведения Берлинской стены я брал уроки у пожилого, уже, к сожалению, ослепшего учителя, когда-то преподававшего немецкий язык в Петербурге. Яков Робертович был родом из Прибалтики, после войны попал в Берлин и преподавал русскую литературу XIX века и русский язык на примере текстов Бунина, Шмелева и т. д. Это был бесконечно доброжелательный человек, и его фотография до сих пор висит у меня в кабинете.

Мне повезло, что моими преподавателями были исключительно добрые, хорошие люди, которые со временем стали моими друзьями.

Другими словами, надежда и, возможно, также иллюзия, что двадцатый съезд внесет положительные изменения в напряженные отношения Запада и Востока и удовлетворит всеобщее стремление к смягчению опасностей холодной войны, фактически стала решающим стимулом к выбору специализации (славистика / русский язык). Впрочем, у желанья понимать русский во всех деталях и говорить на нем так же хорошо, как по-немецки, была своя предыстория.

Еще в детстве я мечтал выучить русский язык. Почему русский – понятия не имею. Конечно, я знал, что есть английский, французский и другие языки, но, по-видимому, особенно интересным мне казался совсем незнакомый язык, такой как русский. Помню, что в третьем классе я подал документы на поступление в одну из русских школ Берлина. Однако из этого ничего не вышло. Причин отказа я так и не узнал. Но не всё, что не удастся в жизни – таков мой опыт и в других ситуациях, – следует рассматривать в негативном ключе. Вероятно, как у ребенка, родившегося в воскресенье, у меня был свой ангел-хранитель...

Школьные тексты из гэдэровского учебника были неубедительны и содержали в себе набор пропагандистских мотивов. Классическая литература существенно отличалась от советской («Поднятая целина» Шолохова, «Как закалялась сталь» Островского и т. д.), которая не способствовала моему выбору русского языка.

## Завершение учебы в 1963 году

Я окончил университет в 1963 г., получив специализацию в преподавании русского языка и истории, чтобы затем начать учительскую практику. Одновременно, в том числе по рекомендации Фасмера, который хорошо знал меня по многочисленным лингвистическим семинарам, и Юрия Штридтера, который занимался преподаванием и исследованием славянской литературы, особенно русской и польской, я получил предложение остаться в университете в должности научного сотрудника. Но поскольку я изучал не славистику, а только русский и историю (включая педагогику и философию), мной не были удовлетворены все требования, необходимые для защиты диссертации по славистике, которая, в свою очередь, была условием для получения предложенной должности. Нужно было выучить еще два славянских языка, а также греческий. Что касается латинского, то здесь мне повезло, так как я уже выучил так называемую «малую латынь» в школе в Восточном Берлине и теперь должен был только дополнить знания «большой латынью».

Для изучения сербохорватского Штридтер отправил меня на годичную стажировку в Сараево. В качестве третьего языка я выбрал чешский. Моей сферой исследований в университете должна была стать современная советская литература, изданная начиная с 50-х гг., – новая научная область в немецкой славистике. К этой работе я приступил после возвращения из Югославии. В 1966 г. я защитил диссертацию о русских глаголах с суффиксом «-ну-».

Моя деятельность в рамках новой сферы занятий состояла преимущественно в том, чтобы следить за новейшими публикациями в крупных литературных журналах и за литературно-критическими дискуссиями и периодически составлять о них отчеты. Для этого мне понадобилось создать обширную картотеку, так как советские вспомогательные материалы (справочники, библиографии) были очень однобоки и их достоверность зависела от сильных культурно-политических течений, то есть пользу они приносили далеко не всегда. Политически неблагонадежные писатели прошлого и современности, как правило, не попадали в рассмотрение, не говоря уже о писателях в эмиграции.

В литературно-критических дискуссиях примерно с 1956–1957 гг. я обнаружил скрытое обсуждение проблем из области

культуры и власти, которые косвенно отсылали к дискуссиям двадцатых годов. Чтобы понять современный дискурс, мне пришлось реконструировать культурно-политическую дискуссию 20-х гг. При этом выяснилось, что эта дискуссия, которая велась в нескольких журналах и газетах, в значительной мере замалчивалась советскими справочниками либо на протяжении нескольких десятилетий подавалась односторонне и фрагментарно. Сопоставление дискуссий 20-х и 50–60-х гг. позволяло сформулировать выводы об основных принципах и проблемах советской культурной политики, которые затрагивали не только литературу, но и другие области искусства, такие как музыка или изобразительное искусство<sup>3</sup>.

Позже, когда для нового исследования о литературных группах в России 20-х гг. я на два месяца отправился в Прагу, я увидел фотографии работ московского скульптора Вадима Сидура, о котором прежде – как и о многих других нонконформистах – я ничего не слышал. Это открытие было для меня сенсационным, поскольку до этого ни в официальной прессе, ни в западных публикациях я не встречал упоминаний об «альтернативном» советском искусстве. Так я решил написать по крайней мере одну книгу о творчестве Сидура с точки зрения развития официального искусства начиная с 50-х гг.

В конце 1970 – начале 1971 гг. для исследовательской работы о литературных объединениях двадцатых годов я провел почти четыре месяца в Москве, чтобы, помимо советской литературы того времени, в духе Юрия Тынянова (т. е. с точки зрения соотношенности литературного ряда с другими историческими рядами, ср. также тезисы Тынянова и Якобсона в журнале «Лэф») детально изучить развитие культуры после Октябрьской революции.

В ходе этой поездки я связался с Сидуром и довольно часто заходил к нему в мастерскую. При этом мне стало ясно, что в подвале на Комсомольском проспекте собрано необозримое количество скульптур, которые еще никогда не были упорядочены

---

<sup>3</sup> В тисках идеологии. Антология литературно-политических документов. 1917–1927 гг. – М.: Книжная палата, 1992; *Аймермахер К.* Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917–1932. – М.: АИРО-XX, 1998. – 204 с.; *Eimermacher K.* Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur. – Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1995. – 765 S.

ни хронологически, ни тематически. Я чувствовал себя археологом, который очень медленно, поочередно, подетально разбирался в творчестве Сидура. Однако для выполнения этих задач по «раскопкам» и систематизации, ввиду моих исследований советской литературы, у меня почти не оставалось времени. Поэтому я вернулся в Германию только с первыми впечатлениями от увиденных работ, а также с рядом фотографий, которые послужили основой для моего анализа произведений.

Работа над запланированной книгой постоянно прерывалась, поскольку, с одной стороны, я должен был вести занятия, с другой, я занимался публикациями в области русской литературы и литературоведения, а именно структурализма и семиотики<sup>4</sup>.

Параллельно с этими исследованиями прошли первые выставки: в 1971 г. в швейцарском Фрауэнфельде (совместно с Эрнстом Неизвестным), а в 1974 и 1975 гг. в Констанце. Они создали новый стимул для подготовки издания о Сидуре.

Книга о Сидуре была завершена летом 1977 года. Само издание, средства на которое были собраны с трудностями и лишь благодаря многочисленным друзьям, вышло в свет в декабре 1977 г. (однако по техническим причинам в качестве года публикации указан 1978<sup>5</sup>).

В то же время с годами накопилась обширная переписка не только с Сидуром<sup>6</sup>, но и со многими немецкими и мировыми коллекционерами творчества Сидура, а также спонсорами и организаторами около 20 личных выставок его произведений<sup>7</sup>.

С помощью многих связей, установившихся в ходе планирования и проведения экспозиций Сидура в Германии (см. переписку, которую мы вместе вели более 15 лет), получилось сделать так, что Сидур, посредством собственных произведений, вел косвенный диалог с посетителями его выставок. Об этом свидетельствуют реакции зрителей и письма Сидура, поступавшие после открытия некоторых его выставок и установки его скульптур в общественном пространстве. Особую роль при этом играли про-

---

<sup>4</sup> Тексты советского литературоведческого структурализма. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. – 647 S.

<sup>5</sup> Vadim Sidur. Skulpturen, Graphik. Text: Karl Eimermacher, Fotos: Eduard Gladkov. – Konstanz: Universitätsverlag, 1978. – 167 S.

<sup>6</sup> Вадим Сидур – Карл Аймермахер. «О деталях поговорим при свидании...» – М.: РОССПЭН, 2004. – 1152 с. (Оригинал хранится в РГАЛИ.)

<sup>7</sup> Эта переписка находится в Исследовательском центре Восточной Европы при Бременском университете.

блемы войны, Холокоста, любви, а также задача напоминания о прошлом, которую должен выполнять художник нашего времени. Это подтверждают памятники Сидура, которые с годами были открыты в городах Германии: Треблинка (Берлин), Памятник современному состоянию (Констанц), Памятник погибшим от насилия (Кассель), Памятник погибшим от любви (Оффенбург), Портрет Альберта Эйнштейна (Ульм) и т. д. Так работы Сидура объединили тысячи людей и создали новую прямую и косвенную связь с Россией помимо официальных, государственных культурных контактов.

## Сидур и другие нонконформисты

Мои интенсивные занятия творчеством Сидура остались не без последствий. Постепенно сформировалась новая область, которая, становясь известной, способствовала появлению новых мостов между Россией и Германией. Эта область позволяла взглянуть на русскую культуру с той точки зрения, которая оставалась недоступной читателям СМИ, сообщавших, как правило, только об актуальных, чаще всего политических новостях и заявлениях. Можно даже утверждать, что контакты на уровне общественных институтов скорее создавали политические барьеры, в то время как литература и искусство могли превратить в близость частую схожесть человеческих проблем на Западе и Востоке.

Эта сфера образовалась после моего возвращения из исследовательской поездки в Москву. Я стал чаще получать предложения выступить с докладом не только о Сидуре, но и о культурной ситуации (в литературе, литературной критике, литературоведении, изобразительном искусстве и культурной политике) в целом. Неизбежным образом это привело к необходимости сбора материала о неофициальном искусстве СССР. В результате мне удалось ознакомиться со многими остававшимися прежде недоступными аспектами широкого процесса развития альтернативной культуры, который начался после XX съезда партии в 1956 г., протекал параллельно с официальной культурой и как раз к середине 70-х стал выходить в общественное пространство. При реконструкции этого процесса главное место занимал вопрос о том, как в герметичной, внешне изолированной культурно-политической системе,

такой как сталинская, но также хрущевская или брежневская, благодаря инициативе отдельных новаторов возникла частично открытая система в области изобразительного искусства, которая вступала в прямую конкуренцию с доминировавшей в обществе и сохранявшейся вплоть до перестройки официальной художественной нормой. Об этом рассказывает моя книга «От единства к многообразию»<sup>8</sup>. Многих из упомянутых в ней художников я и моя жена Гизела Рифф посещали в их собственных мастерских. Так появилась не только книга, но и обширная документация с фотографиями, диафильмами, текстами и интервью<sup>9</sup>.

Информация, которую мы собрали при общении не только с Сидуром, но и со многими другими художниками, в том числе Берлиным, Целковым, Кабаковым, Кантором, Немухиным, Плавинским, Рабиным, Соостером, Свешниковым, Заборовым, Зверевым, Штейнбергом, Жутовским, Брускиным, Булатовым, Васильевым, Приговым, Шелковским и прочими, а также с коллекционерами в Москве (Глезер, Нутович, Талочкин и др.), Афинах (Костакис), Кёльне (Людвиг), Вашингтоне (супруги Додж), Эмдене (Наннен) и других городах, легла в основу серии научных конференций в Бохуме и Билефельде, а также исследовательского проекта Рурского университета в Бохуме по инвентаризации творческих произведений и научных материалов в области альтернативного искусства. В его рамках при сотрудничестве Евгения Барабанова и Беаты Яспер-Воловников была создана подробная библиография с указанием почти всех публикаций о неконформистском искусстве в СССР начала 50-х – конца 90-х гг. (она до сих пор не опубликована). После проведенных Гансом Гюнтером выставок и конференций (в Бохуме и Билефельде) схожей направленности мои студенты, позже ставшие моими коллегами, Сабине Хенсен и Георг Витте, занялись документацией и анализом творчества тогда еще «молодых деятелей искусства», таких как Булатов, Васильев, Алексеев, Альберт, Кизевальтер, Монастырский, Пригов, Захаров и др. В ходе более двух десятилетий деятельности, связанной с современным неофициальным искусством, были также написаны докторские диссертации и, кроме того, выпущены

---

<sup>8</sup> От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 1950–1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.

<sup>9</sup> Этот материал хранится сегодня в Исследовательском центре Восточной Европы при Бременском университете, а также в библиотеке Рурского университета в Бохуме. Часть документов я смог также передать Российской государственной библиотеке и РГАЛИ.

сборники документов на немецком языке в Бохуме и Бремене (составленные Вольфгангом Шлоттом). Помимо публикаций о Сидуре я и моя жена издали две монографии о Звереве и Яковлеве.

Основные этапы принятия, понимания и распространения нонконформистского искусства были пройдены еще до начала перестройки. Художники были рады обладать связями и помощниками в западных странах. Таким образом, имел место поначалу асимметричный «диалог», который был направлен в сторону Запада и заключался прежде всего в трансляции и интерпретации развивавшегося альтернативного искусства и художественной культуры. Немаловажными, кроме того, были контакты с философом Мамардашвили, а также с композиторами Денисовым и Шнитке, музыкальным критиком Мачавариани и лингвистами Гвахария и Гамкрелидзе (Тбилиси). Каждая встреча являлась приобретением новых знаний. Не следует недооценивать и личные контакты, которые с годами привели к тесной дружбе и постоянному обмену идеями, что позволяет говорить об обоюдном человеческом обогащении.

## Советская литература и теория языка и литературы

Помимо области нонконформистского искусства имелись и другие области, которые также внесли вклад в понимание русско-советской культуры и по-своему способствовали как прямым, так и косвенным «диалогам» – советская литература и литературная критика, а также языкознание и литературоведение Московско-Тартуской школы, которые стали предметом ряда исследований и публикаций<sup>10</sup>.

Исходным импульсом к изучению этих двух комплексов было желание, с одной стороны, ознакомить студентов с культурным контекстом литературных дискуссий с начала XX века, с другой – провести анализ развития методологических изысканий в литературоведении и языкознании России / СССР и сделать его доступ-

---

<sup>10</sup> Выборка этих работ представлена в: *К. Аймермахер. Знак. Текст. Культура.* – М.: РГГУ, 2001. – 394 с.; *Semiotica Sovietica I, II.* – Aachen: Rader Verlag, 1986. – 956 S.



ным для западных исследователей. Оба комплекса должны были рассматриваться на фоне советской политики в отношении культуры и науки после Октябрьской революции – точки зрения, которая была особенно актуальна в период не только после Сталина, но и после нацистской диктатуры. По этой причине речь шла сколь о «советской», столь и о «немецкой» проблеме европейского масштаба. Большой интерес представляли изменения в немецкой и русской литературе и литературоведении, оказывавших с XIX века взаимное влияние друг на друга. Эти изменения относительно своей изначальной функции они испытали в XX веке под воздействием двух мировых войн, Октябрьской революции, а также демократического и диктаторского режима. Схожий интерес представляло и то, как зависимость литературы и литературоведения снова «восстанавливалась» под воздействием внутренних тенденций и направленности к автономному статусу в рамках культуры в целом. Подобие и различие этих тенденций можно по праву охарактеризовать как прямой и косвенный диалог России и Германии, который вели, в первую очередь, отдельные личности и который давал надежду на то, что каждая историческая ошибка всегда может быть исправлена.

## Советская литература 20-х и 50–60-х годов

При рассмотрении советской литературы 20-х гг. центральное место занимал вопрос о том, как цензура, журнальная и издательская политика при всё более ощутимой сталинизации создали политически зависимую литературу, высшая точка развития которой пришлась на ждановщину 40-х годов. В случае литературы 50-х и 60-х речь шла, напротив, о реконструкции обратного процесса – освобождения от традиционной системы художественных норм соцреализма, реализованного отдельными писателями (Дудинцев, Войнович, Гранин, Аксенов, Евтушенко, Солженицын, Тендряков и многие другие), то есть о тенденции, подобной той, которая наблюдается в изобразительном искусстве.

Этот процесс был также помещен в более крупную систему взаимоотношений и описан, а также проанализирован с точки зрения скрытых дискуссий между советской, польской, чешской, югославской и гэдээровской литературой. Впоследствии в отно-

шении этого периода можно было говорить даже о процессе европейского масштаба, в котором советская сторона играла отнюдь не второстепенную роль.

## Теория литературы и культуры

Этот вывод имел значение и для занятий другими сферами культуры в России / СССР, например теорией литературы и культуры. Было более чем очевидно, что отдельные области советской культуры, с одной стороны, были замкнуты в себе, с другой – оказывали взаимное влияние друг на друга (тезисы Тынянова, см. выше), то есть образовывали систему на культурном и культурно-политическом уровне, что не всегда отражалось в исследованиях в рамках отдельных научных дисциплин, таких как история советской литературы и литературоведения.

## Московско-тартуская школа

Решающее значение для моего понимания культуры имели исследования конца 60-х гг. в Москве и Тарту по кибернетике, структурализму и семиотике, которые в конечном итоге оказали влияние и на мою образовательно-политическую деятельность с конца 80-х гг. Опиравшиеся на фундаментальные труды русских формалистов 20-х годов (Бернштейн, Брик, Эйхенбаум, Шкловский, Тынянов и др.), которые мы, слависты университета в Констанце, начали переводить с русского на немецкий в середине 60-х<sup>11</sup>, работы Лотмана (Тарту), Топорова, Иванова, Лекомцева, Неклюдова, Ревзина, Пятигорского, Успенского (Москва) и других являлись абсолютно новаторскими. Они показывали, что литература, искусство базируются не только на национальной основе, но и на общих антропологических принципах, которые при всех отличающихся чертах имеют значительное сходство. Данное

---

<sup>11</sup> Texte der russischen Formalisten I, II. – München, 1969, 1972; *V. Propp. Morphologie des Märchens.* – München, 1972 (см. также расширенное издание, включающее работу «Трансформация волшебных сказок»: Frankfurt a.M., 1975) и др.

наблюдение создавало условия для того, чтобы рассматривать культурные взаимосвязи не как сопряжение национальных идентичностей, а как постоянную дискуссию о возможностях человеческого сосуществования в контексте семиотических принципов. Этот импульс побудил меня и других немецких славистов к тому, чтобы опубликовать эти работы в Германии в качестве демонстрации значимого вклада русских исследователей в эпистемологические дискуссии в области гуманитарных наук.

Семиотический анализ любых широко понимаемых культурных связей при ежедневном преподавании в университете и долгосрочном исследовании имел решающий эффект: литература и изобразительное искусство могли при такой точке зрения разбираться и интерпретироваться не только как вещь в себе, но и вместе друг с другом. Да, их основополагающие принципы также подлежали взаимообмену или дополнению новыми функциями. Было очевидно, что каждая культура, несмотря на стабильный и долговременный характер, являлась открытой системой, которая могла изменяться и приобретать новые задачи. И именно в этом заключалось условие для креативного подхода к ней. Конечно, всегда существовала возможность обратить открытость культуры в ее противоположность, как мы знаем в том числе из истории возникновения диктаторских режимов. При наличии подобной дихотомии казалось естественным рассматривать развитие культуры в России и других сравнимых с ней политических системах как противоречивый процесс, балансирующий между свободой и несвободой.

## Основание Института имени Лотмана в Рурском университете в Бохуме

Мультикультурные и междисциплинарные изыскания в Тарту и Москве стали решающим фактором для разработки концепции и основания в 1989 году Института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана. Сейчас я могу говорить о том, что в том числе Лотман, Топоров, Иванов, Ревзин были моими настоящими учителями, хотя я никогда не у них не учился, а только с большим увлечением читал их труды.

В данном случае в очередной раз становится очевидным, что механизм действия культурных контактов напоминает снежный ком: импульс для культурно-теоретического, семиотически обоснованного подхода к гуманитарным наукам поступил из России. Эти новаторские тексты – так же, как и при издании сочинений русских формалистов в 60-х гг. – были переведены немецкой стороной и выпущены в виде снабженных необходимыми комментариями сборников документов, которые стали учебными пособиями для университетов Германии. Исторические исследования, посвященные русской и советской культуре, теперь заняли прочное место и в немецких гуманитарных науках.

Имелось еще две области, в отношении которых можно говорить о взаимном культурном обмене, пусть даже ограниченном сферой науки и высшего образования.

В ходе перестройки в конце 80-х, начале и середине 90-х годов прошлого века появились новые возможности для прямого сотрудничества на уровне университетов в России и Германии. Стимулом для него служила идея о единой Европе, в которой государства и культурные сообщества укрепляют друг друга в своем развитии, а не существуют во взаимной изоляции. В этой ситуации речь зашла о возможностях обновления советской системы высшего образования. По инициативе Рурского университета в Бохуме в МГУ был создан Русско-германский институт, а в РГГУ – Институт европейских культур, для того чтобы дать юным ученым возможность выработать в общих дискуссиях новые содержательные и институциональные формы сотрудничества в сфере университетского образования. При этом в основу ИЕК легла модель бохумского института им. Лотмана, несмотря на то что в РГГУ внимание уделялось европейским культурам в целом, а не одной-единственной европейской культуре (русской). Так изначально развитые в Москве и Тарту идеи об Институте имени Лотмана в результате реального культурного обмена вернулись в Москву, снова воплотившись в форме института.

### «Бохумская модель»

Параллельно с этими инициативами по основанию институтов мы в Бохуме (вместе с бохумским германистом профессором Клуссманом) также создали «Бохумскую модель» для переподго-

товки российских германистов. Профессоры-германисты из России были приглашены, чтобы получить возможность ознакомиться с новыми исследованиями в сфере германской филологии и принять участие в дискуссиях. Проект длился более пяти лет. С помощью «модели» мы хотели преодолеть односторонность русской германистики, почти исключительно сформированной в духе ГДР (в области истории и теории литературы), и дополнить ее новыми точками зрения на современную немецкую литературу и культуру. Многие из приглашенных российских германистов лишь в Бохуме, по сути, «обходным путем», расширили свои знания теориями московско-тартуской семиотики.

В основе этой формы научного и культурного контакта лежала только личная, собственная инициатива, свободная от государственного регулирования немецкой или российской стороной.

## Уполномоченный по связям с Россией

Наглядный успех перечисленных проектов и начинаний привел к тому, что европейские чиновники и многочисленные научные фонды также стали оказывать поддержку инициативам по сближению государств Европы, по крайней мере на уровне науки и культуры. Конечным следствием этой инициативы «сверху» стало назначение меня уполномоченным Северной Рейн-Вестфалии по связям с российскими университетами. В этой должности я мог предоставлять консультации (но не финансовую поддержку) университетам по укреплению их связей с Россией или, наоборот, с Германией. В рамках этой деятельности в Бохуме было проведено более десяти конференций как с немецкими, так и с русскими участниками, посвященных ключевым вопросам развития высшего образования в период его реорганизации (то есть после перестройки) и выпущено свыше десяти сборников материалов по их итогам.

Подобные мероприятия создали новые возможности совместной научной работы и получения денежной помощи для реализации общих исследовательских и издательских проектов по актуальным вопросам советской и российской исторической науки в переходную фазу, наступившую вслед за перестройкой (почти 20 публикаций вместе с Геннадием Бордюговым). Наконец, особую

важность для меня представлял масштабный проект с участием главных российских архивов, результаты которого опубликованы в почти 15 объемных томах документов и интерпретаций (серия «Культура и власть от Сталина до Горбачева»). Идея состояла в том, чтобы на основе архивных материалов по истории Советского Союза и их подробного анализа выдвинуть аргументы, способные разрушить широко распространенные мифы.

Помимо обнаружения источников, которые раньше нельзя или только с большим трудом можно было найти в открытом доступе на русском языке, эти издательские проекты имели плодотворный эффект для общего культурного обмена. Дискуссии вокруг совместной реконструкции исторической правды укрепили доверие к широкому, деятельному сотрудничеству и способствовали установлению тесных человеческих отношений. Идея о том, что русские и немцы навсегда останутся непримиримыми врагами, остававшаяся распространенной после Великой Отечественной войны и поддержанная пропагандой холодной войны, была опровергнута совместными актуальными проектами, так же как и личными контактами ранее. Оказалось, что при объективном решении сложных, прежде идеологически нагруженных вопросов можно опираться на общеевропейские традиции историографических исследований.

## Копелевский проект

Весь этот опыт оказался чрезвычайно полезен и при еще одном важном в рассматриваемом ряду исследовательском начинании – основанном Львом Копелевым так называемом Копелевском проекте. После вынужденной эмиграции в Германию в середине 70-х гг. Копелев задался целью изучить немецко-русские культурные отношения от самых истоков и до Первой мировой войны с точки зрения возникновения взаимных предубеждений. Идея основывалась на наблюдениях, собранных Копелевым в годы службы офицером пропаганды Красной Армии в Великой Отечественной войне, где предрассудки использовались в качестве фундамента пропагандистской деятельности. В то же время – и это также урок, извлеченный из войны, – ему было ясно, что предрассудки отравляют атмосферу между странами и народами

и оказывают содействие агрессии. Базируясь на этой предпосылке, его исследования совместно с целой командой ученых преследовали задачу проанализировать предрассудки немцев о России и русских о Германии и сделать их таким образом более очевидными. В этом, по мнению Копелева, заключалась стратегия подавления взаимной антипатии, которая играет заметную роль особенно при подготовке к войне. Когда масштабные исследования, охватывавшие временной промежуток с XVII века до Первой мировой войны, были завершены, Копелев, ввиду своего преклонного возраста, попросил меня, в качестве нового руководителя, продолжить проект до эпохи после Второй мировой войны.

Благодаря падению «железного занавеса» в ходе перестройки около сотни немецких и российских историков смогли почти в равной доле распределить между собой темы работ, рассматривающих период с начала XX века. Результатом стали три больших тома (около 4000 страниц), которые были опубликованы на немецком и русском языках<sup>12</sup>.

Завершение этих исследований увенчало все мои усилия по улучшению германо-российских отношений в научной сфере. Это было равноценно тому, что я мог сделать в литературоведении и искусствоведении, теории культуры, а также для избавления от предрассудков. Удалась нормализация осмысленного сотрудничества немецких и российских коллег и друзей.

Так периоды многолетнего политического противостояния, в течение которых из-за ограниченного доступа к информации были невозможны культурные контакты, стали новым основанием для взаимного обмена опытом и достижениями между русскими и немцами.

Однако прежде чем я смог достичь окончания своей карьеры в должности университетского профессора, я должен был пройти через стадию пассивного получения знаний во время учебы, поскольку прямые контакты с русской культурой тогда были возможны только спорадически и в особых ситуациях. Комплексные исследования, на основе которых могли бы быть сформированы концепции общих проектов, в то время также отсутствовали.

Знакомство с Сидуром и его творчеством изменило ситуацию. Начался открытый диалог о войне, искусстве и общественно-политических проблемах, который был во всех отношениях интересен для обеих сторон. Разница в возрасте, асимметрия жизненного опыта и многое другое оживили наши разговоры и выводы.

---

<sup>12</sup> Россия и Германия в XX веке. В 3-х томах. – М.: АИРО-XXI, 2010.

## От науки к искусству

Помимо работы над творчеством Сидура, эпистемологическими вопросами семиотики и проблемами культуры и политики, с годами образовалась еще одна сфера занятий. В ней сходятся вместе те впечатления, которые я мог собрать в перечисленных областях в ходе своей научной деятельности. Речь идет о собственном творчестве, в котором я осмыслял и интерпретировал вопросы человеческого существования и сосуществования, а также проблемы ответственности каждого за себя и перед другими. Легко понять, что с этими же темами в ходе своего развития имели дело и другие средства коммуникации.

На фоне как позитивных, так и негативных моделей поведения человека, которые мы наблюдаем в различных видах искусства, встает дилемма о том, являются ли подобные проблемы исторически обусловленными или же они и вовсе относятся к типовым антропологическим образцам человеческой жизнедеятельности. При этом я, как и многие до меня, задавался вопросом о том, какими художественными средствами мы располагаем, чтобы остановить круговорот преступления и наказания, войны и мира.

Подобные вопросы проявлялись в течение моей жизни всё более отчетливо. Безусловно, они связаны с моими ранними воспоминаниями о войне. Вторую мировую войну я частично пережил уже в сознательном возрасте; в начале 50-х годов постоянно поступали новости о Корейской войне... И когда я восстанавливаю в памяти политические кризисы, предшествовавшие моим выпускным экзаменам в 1956 и 1957 гг. (события 17 июня 1953 года, венгерское восстание в 1956 году), у меня создается впечатление, что они косвенно повлияли на мой выбор университетского курса «история» и позже сыграли по крайней мере непрямую роль в создании публикаций по культуре и истории – прежде всего, России. Мне была важна объективность, справедливость, истинность исторического положения вещей и, таким образом, выработка надежных аргументов против любого вида пропаганды и образования мифов. Я хотел – в том числе после карательных акций гитлеровского режима – разобраться в истоках преступлений независимо от места и времени. Казалось необходимым выяснить, не только как они трактуются с точки зрения исторической науки, но и как подобные экзистенциальные события интерпретиру-



ются художественными средствами литературы и изобразительного искусства. Я осознал, что после моей научной и образовательно-политической деятельности я должен сам окунуться в эту вечную проблематику в качестве художника. При этом мне всегда было очевидно, что я, как и многие другие до меня, не смогу найти панацею от всех зол.

Находясь в такой позиции, мое творчество занимает место в ряду многих попыток художников озадачиться вопросами человеческого бытия, сосуществования и взаимоотношения народов. Боюсь, что это бесконечные усилия, обреченные на отсутствие конкретных решений...

Мое занятие творчеством Сидура, а позже также творчеством других скульпторов и художников породило вопросы об условиях возникновения войн. По существу, они были отправной точкой для интерпретации схожих тем, которые поднимали в своих произведениях Сидур и другие художники по всему свету<sup>13</sup>.

Кроме того, мой опыт работы с основами семиотики облегчил мне свободное обращение с различными материалами и формами изображения. Я чувствовал себя свободно в выборе материала, его естественной или технической структуры и наделения его функциями, связанными с реализацией общих высказываний. Материал был обусловлен не определенным стилевым образцом, а тем, имелись ли возможности для нахождения интересных и действенных способов изображения с целью оптимального высказывания по той или иной проблеме.

Этот процесс проходил поэтапно. В начале 80-х гг. появляются мои первые эскизы скульптур. Их можно найти в оригинале нашей переписки с Сидуром, которая хранится в РГАЛИ. Мой эскиз «Юлия с ребенком» Сидур тогда сразу же поручил отлить в бронзе, добавив, кроме того, мужское лицо, свое лицо. Обе работы называются «Медаль имени Карла Аймермахера»; при этом, согласно идее, медаль с женским изображением должна была вручаться мужчинам, имевшим заслуги перед Сидуром, а медаль с мужским изображением – женщинам. Начиная с конца 90-х гг. возникают первые забавные, но уже самостоятельные произведения из пробок и мюзле от бутылок шампанского и коньяка, а также фигурные и абстрактные эскизы скульптур из проволоки. В последующие годы уже возникли работы из алюминиевой жес-

---

<sup>13</sup> К. Аймермахер. Взаимоотношения искусства и политики: Из опыта исследователя и художника // Культура и искусство. № 2/2011. С. 14–21.

ти и отходов производства. Пересечения с творчеством Сидура заключались только в использовании классических сюжетов европейского искусства (Сусанна и старцы, Святое семейство и т. д.) и их новом художественном осмыслении. Три войны в Персидском заливе, война в Афганистане и многие другие войны (например, Вторая мировая война), а также преступления против человечности, сопровождавшие все эпохи, попадали в поле зрения и требовали новых интерпретаций. Задача работ состояла не в иллюстрации, а в частичном изображении события таким образом, чтобы возникло граничащее с символом ассоциативное пространство, на базе которого стало бы возможным обобщенное высказывание о подобных явлениях. Этот механизм применялся в европейском искусстве со времен Первой мировой войны также и другими художниками<sup>14</sup>. Всегда речь шла о старых проблемах истории культуры, которые требовали новых подходов. Тем не менее они не могли привнести что-либо в «улучшение человечества» и разрушали таким образом иллюзии художника. Но даже несмотря на этот факт, художники будут продолжать свою работу в будущем.

При поверхностном взгляде в таких переменных отношениях художников можно было бы увидеть «диалог культур», хотя на самом деле речь идет об открытой дискуссии художников, поднимающих проблемы европейской культуры и тем самым косвенно затрагивающих антропологические основы человеческого поведения.

Мы имеем здесь дело с общими творческими процессами, которыми полна история искусства, но которые не всегда сразу предстают перед зрителем в однозначном виде. К примеру, можно сравнить скульптуру Генри Мура «Король и королева» (мужская и женская фигура, сидящие на скамейке и смотрящие вдаль) и работу Сидура «Художник с женой в старости», а также мою работу «Король и королева в старости». Или: серию «Сусанна и старцы» Сидура и мою одноименную работу. Или: «Святое семейство» Сидура и мое «Святое семейство». Или: «Создатель с Адамом и Евой» Сидура и мое «Явление Иисуса Христа». Или: «Пулеметчик» Сидура и мою работу «1 сентября 1939» / «Война» (подвешенная газовая маска).

---

<sup>14</sup> Ср. К. Eimermacher. Krieg, Völkermord, Gulag aus der Perspektive von Evidenz und Zeugenschaft // Evidenz und Zeugenschaft. Für Renate Lachmann. Hg. von Susanne Frank und Schamma Schahadat (=Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 69). – München, 2012. – S. 549–562.

История искусства знает целый ряд множественных интерпретаций, которые, как правило, не имеют ничего общего со связью одного художника с другим. В гораздо большей степени они являются реакцией деятелей искусства на схожие проблемные положения. Созданные ими изображения, открытые также для зрительской интерпретации, в любое время и в любом поколении каждый раз приглашают к новому диалогу.

*Перевод: Даниил Бордюгов*

---

## Берлин, август 1961-го\*

Сартр считал, что каждый человек уже фактом рождения «вбрасывается» в заранее сконструированную историческую ситуацию, в определённый культурный контекст, к которому должен приспособиться, в рамках которого должен преодолевать препятствия и развиваться. Во время исторических переломов почти все культурные диспозиции приобретают ещё более драматический характер, вынуждая по-новому осознавать себя в контексте времени и обстоятельств. Берлинская стена была именно таким переломом в моей жизни, начавшейся в 1938 году и так поразившей меня, студента, на восьмом семестре изучения славистики, истории, философии и педагогики в Свободном университете Западного Берлина.

Летний воскресный день 13 августа 1961 года начался для меня спокойно. Многие берлинцы как обычно планировали поехать на озёра в пригороде. Чтобы узнать прогноз погоды, в семь часов утра мы включили радио и были ошеломлены новостью: правительство ГДР в течение ночи закрыло границу с Западным Берлином для всех своих граждан и оставило только несколько контрольно-пропускных пунктов для западных берлинцев. Спустя неделю и эти пропускные пункты закрылись, а телефонная связь была прервана. На границе «для гарантии» была установлена изгородь из колючей проволоки, которую позже заменили бетонной стеной высотой 3,9 метра, дополненной полосой из мин, земляных рвов и сторожевых вышек. В СМИ ГДР границу называли «антифашистской защитной стеной», «мирной границей», но никто и не сомневался в том, что сооружение это было направлено против своего же населения, а вовсе не против Запада.

Новость о стене вызвала перегрузку телефонной связи между Востоком и Западом: все хотели знать, всё ли в порядке у их друзей и родственников в другой части города, кто и где находится, будут ли ограничения на выезд граждан ГДР окончательными и могут ли жители Западного Берлина по-прежнему ездить в Восточный? В заявлении ГДР говорилось, что принятые «меры» по

---

\* Из: Родина. № 8. 2011. С. 71–72.

закрытию границы являются «временными» и будут действовать «до заключения мирного договора». Однако нам всем было ясно: поскольку мирного договора ни от кого не ждали, граница для граждан ГДР закрылась окончательно. Трём-четырёх тысячам человек, которые хотели в то воскресенье навсегда покинуть ГДР, уже не удалось выехать из Восточного Берлина. На вокзалах в восточной части города в течение нескольких часов творился хаос. Происходили семейные трагедии. В очередной раз всем пришлось привыкать к новому положению дел.

Сообщение по радио утром 13 августа взволновало до глубины души и меня. Я покинул Восточный Берлин в 1956 году, хотя и не как беженец. Вслед за мной уехали мама и двое моих братьев. В восточной части города оставался только старший брат Вернер со своей женой и тещей. Именно с ним мы хотели обсудить дальнейшие действия и, не откладывая, решили с женой ехать на Димитроффштрассе (район Пренцлауэр Берг), где жил Вернер. Это было возможно, если ехать на метро через ещё открытую для жителей Западного Берлина станцию Фридрихштрассе. Там нам нужно было сделать пересадку, и мы увидели, что, в отличие от ещё сонного Западного Берлина, центральные улицы восточной части были запружены сотнями грузовых автомобилей с вооружёнными пограничниками. Позже подъехали танки. Центр Восточного Берлина напоминал военный лагерь. Вскоре мы узнали, что в общей сложности было задействовано 15 тысяч вооружённых солдат, а советские войска были приведены в боевую готовность. До квартиры моего брата мы добрались без проблем. Она находилась в 300–400 метрах от контрольно-пропускного пункта Бернауэрштрассе. Но в эти выходные мой брат, как и обычно, был на даче, а значит, для нас, западных берлинцев, недоступен. Мы были и расстроены, и встревожены: улицы начали заполняться толпами наспех собравшихся людей, одержимых одной панической целью: как можно быстрее дойти до границы с Западным Берлином и навсегда покинуть «родную ГДР»...

Мы тоже поспешили к самому близкому КПП, чтобы как можно быстрее вернуться в Западный Берлин. Однако проход загородили войска ГДР, начав подготовку к возведению заградительных сооружений. В тот же момент подъехали танки. Тогда мы рванулись назад, к станции Фридрихштрассе, опасаясь, что и там нам не дадут вернуться в Западный Берлин. К счастью, после короткого и корректного контроля мы смогли покинуть Восточный Берлин. Но беспокойство всё нарастало и вопросы множи-

лись. Какой будет реакция западных союзников и НАТО? Как повлияет Стена на дальнейший ход холодной войны? Будет ли следующим шагом окончательное отделение Западного Берлина от ФРГ? Повторится ли блокада Западного Берлина, как в 1948–1949 годах? Может ли из-за Западного Берлина начаться война?

Из собственных наблюдений и переживаний, из сообщений по радио, из разговоров с друзьями складывалась мозаика впечатлений и воспоминаний, которая по сегодняшний день определяет образ 13 августа в моём сознании. Строительство стены остановило эмиграцию из ГДР. Но драматичные, лишь изредка удававшиеся попытки побега имели место. С верхних этажей домов, стоявших прямо на границе с уже замурованными окнами первых этажей, отчаявшиеся люди пытались спуститься по связанным простыням на сторону Западного Берлина; другие даже осмеливались на прыжок, их часто приходилось ловить растянутыми пожарными брезентами. Некоторые переплывали Шпрее в тех местах, где она сама служила границей, или бежали через канализацию, которая ещё связывала западную и восточную части города. Неожиданно люди стали крайне изобретательны в поисках способов бегства. Позже мы узнали, что до сентября 1961 года на Запад сбежали 85 пограничников, которые как раз и должны были не допускать попыток перехода в другую часть города.

Как на Востоке, так и на Западе уже давно были готовы к закрытию границы, хотя никому не хотелось в это верить. Берлинская граница оставалась лазейкой почти для всех жителей Восточной Европы. Весной 1961-го положение дел обострилось. Свидетельство тому – число беженцев, о которых ежедневно сообщалось в западных СМИ. Каждый день – от 800 до 1000 человек. Только в июле 1961 года сбежало 30 тысяч человек, а всего с 1946 года – 3,5 миллиона. Большинство это были квалифицированные специалисты всех отраслей, уставшие от идеологической опеки партии и государства. Оскорбления и ограничение права свободного передвижения, а также доступа к образованию (в моём случае это была русистика) – таковы были причины бегства. Ни для кого не было секретом, что уровень жизни и возможности роста для творческих личностей на Западе были намного выше, чем в ГДР, не говоря уже о бесправии во всех вопросах, затрагивавших монополию власти партии.

Мне всегда было ясно, что рано или поздно по демографическим или экономическим причинам ГДР будет вынуждена закрыть границу. Так, уже в 1952 году, во время укрепления грани-

цы с ФРГ, появилась идея отгородить Западный Берлин. Однако это предложение встретило отпор со стороны Советского Союза. Следующей попыткой был проект Хрущёва придать Западному Берлину статус «свободного города». Но на него наложили вето западные державы. В любом случае, единственной возможностью было строительство стены с подстраховкой со стороны СССР, хотя ещё 15 июня 1961 года Вальтер Ульбрихт это открыто отрицал («Никто не собирается строить стену»). Позже стало известно, что правительство ГДР в первой половине августа добилось в Москве разрешения на возведение стены, «на всякий случай» закупив в ФРГ нержавеющую колючую проволоку. Здесь же следует упомянуть заявление Хрущёва 7 августа по радио о необходимости усиления советских вооружённых сил на западных границах и призыва военнообязанных запаса. Всех берлинцев крайне волновало, чем окончится заседание Народной палаты ГДР в пятницу 11 августа. Поскольку 12 августа не последовало никаких сообщений, многие решили уже в субботу-воскресенье покинуть Восточный Берлин. Решение о закрытии границы было обнародовано в ночь на 13-е.

Это событие потрясло нас, хотя произошедшее и «висело в воздухе». В то же время западные державы и ФРГ – сегодня мы это знаем, а тогда могли только предполагать – располагали сведениями о предстоящем закрытии границы. Кеннеди охарактеризовал случившееся как «не лучшее решение, но в тысячу раз лучше войны», а Аденауэр призвал всех к «спокойствию и порядку». Мы же, берлинцы, и наш правящий бургомистр Вилли Брандт были разочарованы такой реакцией. Чтобы новость не была воспринята молча и без действий, 16 августа около 300 тысяч человек собрались в Западном Берлине на массовый митинг, после которого большая группа демонстрантов от чувства беспомощности направилась к заградительным сооружениям у Бранденбургских ворот и начала провоцировать пограничников на западной и восточной стороне. Лишь отважное личное вмешательство Вилли Брандта предотвратило худшее.

Западные берлинцы чувствовали солидарность с судьбой своих родственников и друзей из Восточного Берлина. Поскольку последние с политической точки зрения были абсолютно бессильны, они выразили свой протест бойкотом берлинского S-Bahn (городских электричек), который управлялся и обслуживался Восточным Берлином. Это наносило большой финансовый ущерб всей ГДР. Многочисленные нарушения в работе транспорта в ре-

зультате строительства стены привели к тому, что в Западном Берлине была поэтапно полностью перестроена система наземного и подземного транспорта. А из страха перед новой блокадой были созданы огромные запасы угля и нефти, а также продуктов питания, которых должно было хватить, по крайней мере, на два месяца. Кроме того, жителям Западного Берлина посоветовали создать у себя дома запасы продуктов, как минимум, на две недели. Многие крупные предприятия, такие как «Сименс», опасаясь дальнейших международных осложнений, переносили свои главные офисы в «надёжную» Западную Германию; владельцы недвижимости стали продавать свои участки и дома и перебираться в ФРГ.

Поскольку изначально советская сторона гарантировала западным державам право свободного передвижения по всему Берлину, Запад осудил строительство стены, но не предпринимал никаких действий. Несмотря на советские гарантии, гдээрзовские пограничники начали контролировать американских офицеров на КПП «Чарли» при проезде в Восточный Берлин. Вскоре маршал Иван Конев распорядился смягчить контроль. Однако эта ситуация сохранялась недолго. Помню, как 27 октября 1961 года мы с женой сидели в библиотеке неподалёку от границы, готовясь к экзамену. Неожиданно нас оглушил шум проезжавших мимо американских танков, которые на большой скорости направлялись к КПП «Чарли». Мы стали наивно наблюдать за происходящим и вскоре увидели, что с противоположной, восточной, стороны границы подъезжали советские танки. Стало ясно: одного случайного выстрела будет достаточно для начала новой большой войны... Слава богу, уже на следующий день танки были отведены, и западные союзные державы могли снова свободно осуществлять контроль в Восточном Берлине.

Ту атмосферу я никогда не забуду. Сартровский феномен «вбрасывания» человека в постоянно меняющийся мир в те августовские дни 1961 года нам пришлось в полной мере испытать на себе. Самой трагической стороной этих перемен для многих стало разделение семей. Один советский дипломат, мой знакомый, сказал мне тогда, что москвичи не допустили бы возведения такой стены в своём городе...

*Перевод: Даниил Бордюгов*



---

# VI

## Биобиблиография

## Избранные труды

1. Studien zu den Verba der II. Leskienschen Klasse im Russischen. Dissertation FU Berlin. Berlin 1966, 178 S.
2. Vorwort zu «Литературные манифесты. От символизма к Октябрю». Ч. I. (Serie: Slavische Propyläen, Bd. 64, I). München 1969, S. V–XIX.
3. Entwicklung, Charakter und Probleme des sowjetischen Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, in: Sprache im technischen Zeitalter, 30/1969, S. 126–157.
4. Vorwort zu «В.М. Жирмунский. Композиция лирических стихотворений», in: V.M. Zhirmunskij. München 1970 (Reihe: Slavische Propyläen, Bd. 73), S. V–VIII.
5. Kriegsliteratur /Deutsche und sowjetische/, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. Freiburg. Basel. Wien 1971, Bd. III, Sp. 1089–1111. Englisch: War literature, in: Marxism, communism and western society. A comparative encyclopedia. New York 1973, Vol. VIII, S. 328–340.
6. Die Literaturpolitik in der UdSSR, 1917–1968, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. Freiburg. Basel. Wien 1971, Bd. IV, Sp. 91–117. Englisch: Literary Policy in the USSR, in: Marxism, communism and Western society. A comparative encyclopedia. New York 1973, Vol. V, S. 249–262.
7. Nachwort zum Reprint der literaturkritischen Zeitschrift «На посту» (mit einem Anhang zeitkritischer Rezensionen), in: Na postu, (1923–1925). München 1971 (Reihe: Centrifuga, Vol. 1) S. 273–289.
8. Nachwort: /Methodologische Aspekte der wissenschaftlichen Arbeiten Ju.M. Lotmans/, in: Ju.M. Lotman. Vorlesungen zu einer strukturalen Poetik. Einführung. Theorie des Verses. München 1972.
9. Bibliographie zum wissenschaftlichen Werk von Ju. M. Lotman, in: Vorlesungen zu einer strukturalen Poetik. München 1972, S. 209–225.
10. Nachwort: /V. Propps Bedeutung für einige Fragen der heutigen literaturwissenschaftlichen Diskussion/, in: V. Propp. Morphologie des Märchens /Морфология сказки/. München 1972, S. 215–225; verbesserte und um «Transformationen von Zaubermärchen / Трансформации волшебной сказки» erweiterte Auflage, Frankfurt/M. 1975, S. 277–286.

11. Die sowjetische Literaturpolitik zwischen 1917 und 1932, in: Dokumente zur sowjetischen Literaturpolitik. Stuttgart 1972, S. 13–71; überarbeitet und auf den neuesten Forschungsstand gebracht, in: Die sowjetische Literaturpolitik, 1917–1932. Von der Vielfalt zur Bolschewisierung der russischen Literatur. Bochum 1994.
12. Zum Problem einer literaturwissenschaftlichen Metasprache, in: Sprache im technischen Zeitalter, 48/1973, S. 255–277.
13. Opaske o pojmu modela u znanosti o knji evnosti, in: Umjetnost riječi, XVII, Zagreb 1973, Nr. 4. S. 291–297. Deutsch: Bemerkungen zum Modellbegriff in der Literaturwissenschaft, in: (Hg.) R. Grathoff, W. Sprondel. Maurice Merleau-Ponty und das Problem der Struktur in den Sozialwissenschaften. Stuttgart 1976, S. 29–35.
14. Bemerkungen zu einer Semiotik als integrativer Kulturwissenschaft, in: Ju. M. Lotman. Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur. Kronberg/Ts. 1974, S.VII–XXV.
15. Arbeiten sowjetischer Semiotiker der Moskauer und Tartuer Schule (Auswahlbibliographie). Kronberg/Ts. 1974, 180 S. Mit einer Einführung 'Einige Charakteristika der sowjetischen Semiotik', S. VII – XV.
16. (Rez.) (Hg.) M. Dewhirst, R. Farrell. The Soviet Censorship. Metuchen, New Jersey 1973, in: Index on Censorship, vol.4, 1975, Nr. 2, S. 104–106.
17. Zum Verhältnis von formalistischer, strukturalistischer und semiotischer Analyse, in: (Hg.) D. Kimpel, B. Pinkerneil. Methodische Praxis der Literaturwissenschaft. Modelle der Interpretation. Kronberg/Ts. 1975, S. 259–281.
18. (zusammen mit S. Shishkoff), Selected Bibliography of Soviet Semiotics, in: Dispositio, Ann Arbor 1976, Nr. 3, S. 364–370.
19. Gattungssystem und Textstruktur (Zu einigen Fragen und Möglichkeiten der Deformation in der Literatur am Beispiel von Puškins 'Zar Saltan' und seinen Volksmärchenvarianten), in: Sprache im technischen Zeitalter, 60/1976, S. 278–293.
20. Zum Verhältnis von Textstruktur und der Konkretisation ihrer Semantik (V. Aksenov: «Tovariš Krasivyj Fura kin», 1964), in: Umjetnost riječi, (Izvanredni svezak), 1977, S. 151–181.
21. Zur Frage des Zusammenhangs von literaturpolitischen Entscheidungen und den Kulturkonzeptionen literarischer Gruppen in der ersten Hälfte der 20er Jahre, in: Russian Literature, VII-2, 1978, S. 103–153.
22. A. Belyjs Bedeutung für den gegenwärtigen Stand der literaturtheoretischen Diskussion, in: Umjetnost riječi, XXI, 1977, Nr. 1–3, S. 71–79. Nachdruck in: (Hg.) G. Ziegengeist. Slawische Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen vom 18. bis 20. Jahrhundert. Internationaler Sammelband. Berlin (Ost) 1982, S. 343–348.

23. (zusammen mit S. Shishkoff) Subject Bibliography of Soviet Semiotics. Ann Arbor 1977, mit einer Einführung «Some Aspects of Semiotic Studies in the Moscow and Tartu Schools», S. VII–X.
24. Vadim Sidur. Skulpturen, Graphik. Mit einer Einführung «Vadim Sidur: Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit...», S. 11–40. Konstanz 1978, 168 S., 177 Abb.
25. (zusammen mit R. Kloepfer) Semiotik in der Bundesrepublik Deutschland. (Tendenzen deskriptiver Semiotik), in: Zeitschrift für Semiotik, 1979, H. 4.1., S. 109–132.
26. (zusammen mit E. Gladkow) Vadim Sidur. Offenburg 1979, 22 S., 18. Abb. (darin: Vadim Sidur – Leben und Werk/, S. 3).
27. Einige Bemerkungen zum Charakter der sowjetischen Semiotik (Moskauer-Tartuer Schule) unter besonderer Berücksichtigung der Begriffe «Modell» und «Welt-Modell» in der Literaturwissenschaft. In memoriam I.I. Revzin, in: (Hg.) A. Lange-Seidl. Zeichenkonstitution. Akten des 2. semiotischen Kolloquiums Regensburg 1978. Berlin, New York 1981, Bd. I, S. 31–40.
28. Zeichenbildung und Zeichentransformation in N. Gogol's «Soro inskaja jarmarka», in: (Hg.) A. Eschbach, W. Rader. Literatursemiotik. II. Tübingen 1979, S. 179–202.
29. Zwei Interviews mit Vadim Sidur. In Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 3, 1979, S. 345–355.
30. Charakter und Funktion des russischen Realismus im 19. Jahrhundert, in: Rußlands große Realisten. Dichter, Maler und Musiker des 19. Jahrhunderts (4. Duisburger Akzente). Duisburg 1980, S. 13–16.
31. Der literarische Normenwandel in der russischen Literatur der 50er Jahre, in: Wiener Slawistischer Almanach, Bd. VI, 1980, S. 109–129.
32. O pitanju elementarnih i kompleksnih modela opisa i interpretacije u nauci o knji evnosti. Profesoru Zoranu Konstantinoviću za šezdeseti rođendan, in: Knji evna re , Nr. 152, 10. Okt. 1980, S.7. Deutsch: Zur Frage elementarer und komplexer literaturwissenschaftlicher Beschreibungs- und Interpretationsmodelle, in: (Hg.) F. Rinner, K. Zerinschek. Komparatistik. Theoretische Überlegungen und südosteuropäische Wechselseitigkeit. Festschrift für Zoran Konstantinović. Heidelberg 1981, S. 141–146.
33. The development of semiotics in Germany. In: Knji evna re . (International edition, Nr. 1), Sept. 1980, S. 5.
34. Skulptura najefikasniji oblik protesta. /Interview mit Vadim Sidur/, in: Knji evna re , Nr. 155, 25. Nov. 1980, S.1, 13+14. Russisch (Auszüge) in: «A-Ja» (Paris), 1983, H.5, S. 47–52. Deutsch in: Vadim Sidur. Skulpturen (= Veröffentlichungen zur osteuropäischen Kultur. Reihe: Dokumente und Beiträge zur russischen bildenden Kunst und Literatur, Bd. 1). Bochum 1984, S. XXXV – XL.

35. Sidur – Ein unbequemer Zeitgenosse, in: Katalog zur Sidur – Ausstellung der Galerie Weinand-Bessoth in Saarbrücken, 15.10. – 13.11.1980, S. 6–7.
36. Die Semiotik eine Eulenspiegelerei? Bemerkungen zu P. Marandas «Anthropology, Semiotics and Semiography», in: Zeitschrift für Semiotik, 1981, H. 2/3, S. 241–243.
37. Gedanken zur Bild-Welt und zum Welt-Bild Erich Kellers, in: (Ausstellungskatalog) Erich Keller. Galerie Edith Rieder. Gauting bei München 1981, S. 9–13.
38. Некоторые общие замечания относительно культурных концепций литературных группировок первой половины 20-х годов, in: Umjetnost riječi, Izvanredni svezak, XXV, 1981, S. 101–107.
39. Sta je ostalo od Jula Soostera? In: Književna reč, 25.9.1981.
40. Zur Entstehungsgeschichte einer deskriptiven Semiotik in der Sowjetunion, in: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 4, 1982, H.1/2, S. 1–34. – Eine Variante dieses Beitrags erschien unter dem Titel «Sowjetische Semiotik – Genese und Probleme» in: Handbuch des Russisten. Hg. von H. Jachnow. Wiesbaden 1984, S. 881–910. Überarbeitet und erweitert in: Semiotica sovietica. Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962 bis 1973). Aachen 1986, S. 11–67.
41. Sowjetische Kunst in der Nachkriegszeit, in: Osteuropa-Info, 1984, H. 4, S. 29–23.
42. Mehanizmi komunikacije u području književnosti, in: Mehanizmi književne komunikacije (= Institut za književnost i umjetnost. Godišnjak V. Serija C: Teorijska istraživanja, 2). Beograd 1983, S. 120–143.
43. Überlegungen zu einer Geschichte der russischen Nachkriegsliteratur, in: Text. Symbol. Weltmodell. Johannes Holthusen zum 60. Geburtstag. Hg. von Joh. R. Döring-Smirnov, P. Rehder, W. Schmid. München 1984 (= Sagners Slavistische Sammlung, Bd. 6), S. 99–109.
44. Werkverzeichnis des Moskauer Bildhauers Vadim Sidur sowie Gesamtbibliographie zu seinem Schaffen, in: Vadim Sidur. Skulpturen. Bochum 1984, S. 237–250 und 308–317.
45. Zur Werkentwicklung Alexander Danovs, in: Alexander Danov (Katalog zur Ausstellung in der Stadthalle Neuss, 16.1. – 31.1.1985), S. 6–9.
46. Moskauer Keller-Kunst. Sidurs Beitrag zur europäischen Kultur, in: Osteuropa, 1986, S. 1046–1047.
47. Bibliographie zur sowjetischen Semiotik (1975 bis 1985), in: Semiotica sovietica, II, Aachen 1986, S. 931–956.
47. Aspekte des literarischen Märchens in Rußland, in: (Hg.) K.-D. Seemann. Beiträge zur russischen Volksdichtung. Wiesbaden 1987, S. 92–111.

48. Zur Textstruktur und Aussage von Turgenevs «Zapiski ochotnika». Beispiel: «Burmistr» («Der Gutsvogt»), in: Zeitschrift für Slawistik, Jg. 32, 1987, H. 3, S. 369–384.
49. Aus den Kellerlöchern ins Rampenlicht. Die sowjetische bildende Kunst unter Gorbatschow, in: Wiener Zeitung, Literaturmagazin Nr. 28, 4.Jg., 1987, S. 16–17; in erweiterter Form unter dem Titel « der sowjetischen Kunst unter Gorbatschow?» erschienen in: Beeld. Tijdschrift voor Kunst, Kunsttheorie en kunstgeschiedenes. Amsterdam, Juni 1988, S. 12–17.
- 50.\* Cultural Semiotics in the Soviet Union, in: (Hg. A. Eschbach, W.A. Koch) A Plea for Cultural Semiotics (Bochum Publications in Evolutionary Cultural Semiotics, Bd. 2). Bochum 1987, S. 23–35.
51. Von der Einheit zur Vielfalt. Sozio-kulturelle Aspekte der sowjetischen Kunst zwischen 1945 und 1988 in Moskau, in: (Hsg.) H. Ch. von Tavel, M. Landart, Ich lebe – ich sehe. Künstler achtziger Jahre in Moskau. Bern 'Kunstmuseum' 1988, S.171–204.
52. Jankilevskij in Bochum, in: Guten Tag (russisch), 1988, H.12, S. 20–21.
53. Quo vadis? Überlegungen zum Stand der literaturwissenschaftlichen Diskussion, in: (Hg. zusammen mit P. Grzybek, G. Witte) Issues in Slavic Literary and Cultural Theory/Studien zur Literatur- und Kulturtheorie in Osteuropa. Bochum 1989, S. XIII–XXIII.
54. Neizvestnyj als Künstler und Rebell. Die Kunst als Provokation und Mission (1989), in: *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 539–546.
55. Das Leben als Kunst – Die Kunst als Leben. Anmerkungen zum Werk Anatolij Zverevs, in: Zverev-Katalog. München 1989, S. 13–17.
56. (zusammen mit G. Riff), Sidurs «Köpfe von Zeitgenossen». Versuch einer Analyse, in: Primi sobran'e pestrych glav. Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag (Slavica Helvetica, Bd. 33). Bern, Frankfurt, New York, Paris 1989, S. 637–654 + VIII Tafeln; russ. Teilveröffentlichung (= Teil II), in: *Iskusstvo*, 1989, H.12, S. 24–28.
57. 'Semiotik der Analyse' und 'Semiotik des Textes' – Fortsetzung eines Dauergesprächs, in: Wiener slavistischer Almanach, Bd. 23, 1990 (Festschrift für A.M. Pjatigorskij), S. 23–31.
58. Wladimir Nemuchin: Kunst als Vision – Vision als Leben, in: (Hg. K. und J. Bar-Gera) Wladimir Nemuchin. Köln 1990, S.21–26 (dt.); 112–116 (engl.); 147–151 (russ.), in: *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 559–566.

59. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Die inoffizielle Kunst zwischen Verweigerung und Selbstfindung, in: Kopfbahnhof 2. Almanach: Das falsche Dasein. Sowjetische Kultur im Umbruch). Leipzig 1990, S. 169–192 (23 Abb.).
60. Michail Švarcman: Die Zukunft der Kunst liegt in ihren Wurzeln (1990), in: *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995., S. 591–592.
61. Profile der Abweichung: Beobachtungen zu einigen nonkonformen Künstlern (1990), *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 643–652.
62. Semiotik und Literaturwissenschaft, in: (Ed. W.A. Koch) *Semiotik und Wissenschaftstheorie*. Bochum 1990, S. 92 / 102.
63. Aspekte der inoffiziellen Moskauer Kunst der Nachkriegszeit, in: Europäische Kunst unter besonderer Berücksichtigung der Kunst in osteuropäischen Ländern. Vorträge und Diskussionen eines Colloquiums im Wallraf-Richartz-Museum/Museum Ludwig der Stadt Köln am 28. und 29. November 1988. Köln 1990, S. 59–78.
64. «Der Meister und Margarita.“ Sieben Graphiken von Vadim Sidur, in: Kopfbahnhof. Almanach 4. Leipzig 1991, S. 241–247.
65. Anmerkungen zum russischen Underground der Nachkriegszeit (Gedanken aus Anlaß des Gubajdulina-Festivals in Bochum am 18.1.1991 (1991), in *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S.727–732.
66. Zeitung und Wort im Werk von Alexander Danov, in: /Katalog/Bielefeld «Sennestadthaus» 1991, S. 6–25, in: *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 573–582.
67. Zur Frage der Rekonstruktion kultureller Formationen, in: (Hg.) H. Lemberg, Sowjetsystem und nationale Prägung. Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Marburg a. L. 1991, S.336–343. (Serie: Historische und landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien, Bd.7, *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 95–106.
68. Funktionswandel in der sowjetischen Nachkriegskunst, in: (Hg.) H.-J. Drengenberg, Bildende Kunst in Osteuropa im XX. Jahrhundert. Berlin 1991, S. 105–152; unvollständiger Vorabdruck, in: *Language and Literary Theory*. In Honor of Ladislav Matejka (Ed.) B.S. Scholz, I.R. Titunik, L. Dolezel. Ann Arbor 1984, S. 285–305.
69. Sechs Jahre Perestrojka im Bereich der Kultur. Vorgeschichte und Verlauf, in: Osteuropa, 1991, Nr. 11, S. 1077–1988.

70. Anmerkungen zum wissenschaftlichen Werk von Vja. Vs. Ivanov und V.N. Toporov, in: (Hg. zusammen mit P. Grzybek) Sprache – Text – Kultur. Bochum 1991, S. 1–11.
71. (zusammen mit P. Grzybek) Gesamtbibliographie zum wissenschaftlichen Werk von Vja . Vs. Ivanov und V.N. Toporov, in: (Hg. zusammen mit P. Grzybek) Sprache – Text – Kultur. Bochum 1991, S. 283–413.
72. Nochmals zur Frage einer wissenschaftlichen Metasprache, in: (Hg. zusammen mit P. Grzybek) Sprache – Text – Kultur. Bochum 1991, S. 43–52.
73. Cultural Exchange with a Difference, in: Vestnik (Moskau), Zero Issue, Dec. 1991, S. 62–64.
74. Oleg Prokofev: Von der erzählten Welt zum astralen Raum (1991), in: *Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet. Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur*. Bochum 1995, S. 567–572.
75. Lew Kopelev – ein Zeitgenosse. Laudatio aus Anlaß der Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises der Stadt Osnabrück, in: Erich Maria Remarque. Friedenspreis der Stadt Osnabrück 1991. Osnabrück 1992, S. 17–21.
76. Im Spannungsfeld der Welten, in: (Hg. zusammen mit G. Riff), Vadim Sidur. Kunst im Zeitalter des Schreckens. Bremen 1992, S. 10–20.
77. V tiskach ideologii. Antologija literaturno-politi eskich dokumentov, 1917–1927. – M., 1992, 511 c.
78. Zwischen Reformwillen und Faustrecht. Kulturwissenschaftliche Zusammenarbeit mit Hochschulen Rußlands: Voraussetzungen, Möglichkeiten, Perspektiven [1991–1993], in: Wirtschaft und Wissenschaft (Hg. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft), H. 2 (Mai), 1993, S. 10–19.
79. Vadim Sidur zum Siebzigsten, in: Vadim Sidur. Federleicht. Bochum 1994, S. 7–14.
80. Wie grell, wie bunt, wie ungeordnet..., in: K. E., Modelltheoretisches Nachdenken über die russische Kultur. Bochum 1995, (Serie: Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur, Bd. 6), S. 3–16.
81. Die Formierung eines neuen Kulturbegriffs in der russischen Nachkriegskunst (1945 bis 1963) [Teil 1], in: (Hg. Chr. Ebert) *Kulturauffassungen in der literarischen Welt Rußland. Kontinuitäten und Wandlungen im 20. Jahrhundert*. Berlin 1995, S. 207–236.
82. Цензура и власть в системе советской культуры, in: (Hg.) Т.М. Горяева, *Исключить всякие упоминания... Очерки истории советской цензуры*. Минск, Москва, 1995, S. 3–5.



83. (zusammen mit G. Riff) In diesem Hell bleiben, als wär' man daheim... Zur Welt des Moskauer Malers Vladimir Jakovlev, in: Vladimir Jakovlev. Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen 1995, S. 11–42.
84. Jakovlev als Künstler, in: Vladimir Jakovlev. Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen 1995, S. 42–69.
85. Vorbemerkung zu (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Russische Hochschulen heute. Situationsberichte und Analysen 1995. Bochum 1995, S. 3–4.
86. (zusammen mit A. Hartmann) Memorandum zu den Hochschulbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland und Rußland bzw. den europäischen Staaten der GUS (1993), in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Russische Hochschulen heute. Situationsberichte und Analysen 1995. Bochum 1995, S. 117–120.
87. Vorbemerkung zu: (Hg. zusammen mit D. Kretzschmar, K. Waschik) Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Dortmund 1996 (Serie: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur, Bd. 5 /T. 1, S. IX – XI.
88. Zwischen Kontinuität und Neuanfang. Rußlands Kultur im Umbruch (1985–1995), in: (Hg. zusammen mit D. Kretzschmar, K. Waschik) Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Dortmund 1996, 886 S. (Serie: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur, Bd. 5 /T. 1 und 2), S. 3–25.
89. (zusammen mit E. Barabanov) Die sowjetische bildende Kunst vor und während der Perestrojka, in: (Hg. zusammen mit D. Kretzschmar, K. Waschik) Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Dortmund 1996, 886 S. (Serie: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur, Bd. 5 /T. 1 und 2), S. 495–554.
90. Zur Lage der geisteswissenschaftlichen Fächer und zur Umstrukturierung der Hochschulen in Rußland, in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Russische Hochschulen heute. Situationsberichte und Analysen 1995. Bochum 1995, S. 11 -31.
91. Zur Frage der Evolution von Kunst und Kunstbetrieb während der Perestrojka (1985 bis 1991) in Moskau, in: (Hg.) J. – U. Peters und G. Ritz, Enttabuisierung. Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur. Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien 1996, S. 45- 70.
92. Kulturmodelle literarischer Gruppen in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre, in: (Hg. K. Städtke) Dichterbild und Epochenwandel in der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bochum 1996, S. 168–176.
93. Vorbemerkung zu: (Hg.) K. Eimermacher, A. Hartmann. Der gegenwärtige russische Wissenschaftsbetrieb – Innenansichten. Bochum 1996, S. 3–4.

94. Späte Rechnungen für frühe Sünden: Bewegung, Stillstand und Reformversuche im russischen Hochschul- und Wissenschaftssystem, in: (Hg.) K. Eimermacher, A. Hartmann. Der gegenwärtige Wissenschaftsbetrieb – Innenansichten. Bochum 1996, S. 11–22.
95. Kreativität in Wissenschaft und Kunst. Zur Frage von Zeichen in unterschiedlichen semiotischen Systemen, in: (Hg.) W.A. Koch, Mechanismen kultureller Entwicklungen. Skizzen zur Evolution von Sprache und Kultur. Bochum 1996 (BBS, Bd. 46), S. 15–22.
96. Ein neuer Eiserner Vorhang? In: Informationen zu aktuellen Entwicklungen (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen), Dezember 1996, S. 1–5.
97. Vorbemerkung zu: (Hg. zusammen mit A. Hartmann, Deutsch-russische Hochschulkooperation: Erfahrungsberichte. Bochum 1996, S. 3–4.
98. Bedingungen eines Strukturwandels des Hochschul- und Wissenschaftssystems in Rußland, in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann, Deutsch-russische Hochschulkooperation: Erfahrungsberichte. Bochum 1996, S. 5–12.
99. Rußlands Wissenschafts- und Hochschulsystem: Reformwille, Selbstblockaden, Perspektiven, in: (Hg) K. Eimermacher, K. Laß, Transformationen von Hochschulen und Wissenschaftsbetrieb: Westliche Sichtweisen auf den Umbruch in Rußland. Bochum 1997, S. 6–19.
100. Unbeschwerte deutsche-russische Dialoge jenseits der offiziellen Kulturpolitik, in: (Hg.) K. Eimermacher), Verdeckte Dialoge im Kalten Krieg. Materialien zur Rezeption des Moskauer Bildhauers Vadim Sidur im Westen. Bochum 1997, S. XX – XXII.
101. Paradigmenwechsel in der russischen Kultur. Umorientierungen zwischen Auflösung und Neuformierung (1987–1997), in: Sprache – Text – Geschichte. Festschrift für Klaus-Dieter Seemann. München 1997 (Specimina philologiae slavicae, Supplementband 56), S. 30–46.
102. (zusammen mit A. Hartmann) Vorwort zu «Deutsch-russische Hochschulkooperationen am Beispiel der Ruhr-Universität Bochum». Bochum 1997, S. 3–5.
103. Vorwort zu: (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Innovative Ausbildung – neue Eliten? Bildungsprozesse in Rußland (= Materialien der letzten RB-Tagung in Bochum am 16./17. Okt. 1997). Bochum 1997, I–IV.
104. (zusammen mit Ju. Nel'skaja-Sidur) Gesamtbibliographie zum Werk des Moskauer Bildhauers Vadim Sidur. Bochum 1997, 74 S.
105. Kultur in der Krise? Zum Umbruch in Rußland in den Jahren 1987 bis 1997, in: (Hg. E. Cheauré) Kultur und Krise. Rußland 1987–1997. Berlin 1997, S. 9–16 (Osteuropaforschung. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Bd. 39).

106. *Politika i kul'tura pri Lenine i Staline, 1917–1932*, Moskau 1998, 204 S. (Serija 'Pervaja publikacija v Rossii).
107. Знак. Текст. Культура. Москва, 1997, 242 S., 2. Auflage 1998, 259 S.; 3. zweite, verbesserte Auflage, Moskva 2000 (Anashvili); 3. Auflage, Moskau 2001 (Серия: Труды Института европейских культур), 4. Auflage 2001 (mit einem Vorwort von V.N. Toporov).
108. Московское искусство из подвала. Вклад Сидура в европейскую культуру, in: Э. Гладков, И создал Гроб-арт. Вадим Сидур. Жизнь и творчество. – М., 1998. С. 5–6.
109. Probleme und Perspektiven des russischen Hochschulsystems und der wissenschaftlichen Ost-West-Kooperation, in: (Hg. G. Gorzka) *Auf der Suche nach einer neuen Identität. Rußland an der Schwelle zum 21. Jahrhundert*. Bremen 1998, S. 238–250. Russisch: Vzgljad so storony: Polo enija, trudnosti i perspektivy vysšego obrazovanija i nauki v Rossii, in: *Vestnik Chakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova*, vyp. 5. Serija 5: Romano-germanskaja filologija i didaktika. – Абакан, 1998. С. 95–99.
110. Носки, на этот раз красные. Две попытки толкования, in: *Творчество (Российский-германский выпуск)*. – М., 1998. С. 50–51.
111. Zwischen Umstrukturierung, Krise und Aufbruch. Anmerkungen zu den gegenwärtigen Entwicklungsproblemen russischer Wissenschaftsinstitutionen, in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann, S. Schönfelder) *Visionen, Revisionen, Realitäten – die Transformation von Wissenschaft und Hochschulen im Spiegel der Zeitschrift «Poisk»*. Beiträge, Analysen. Dokumente aus den Jahren 1996 und 1997. Bochum 1998, S. XIII–XVIII.
112. Parameterverschiebungen im kulturellen Bewußtsein Rußlands zwischen 1985/1987 und 1997: Identitätskrisen als Form gesellschaftlicher Selbstreflexion, in: *Kultur im Umbruch. Transformationsprozesse und Systemwandel in Rußland und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert*. Hg. von I. Guntermann, U. Justus, S. Wawrzinek. Bochum 1998, S. 1–18.
113. Resümée [Von der verwalteten zur unverwalteten Kultur: Umbrüche in der sowjetischen Nachkriegskunst], in: [Katalog der Galerie Sandmann] *Die Suche nach der Freiheit. Moskauer Künstler der 50er – 70er Jahre*. Berlin, Lauenburg 1998, S. 88–914.
114. From Unity to Diversity: Sociocultural Aspects of the Moscow Art Scene, 1945–1988. In: *Forbidden Art. The Postwar Russian Avantgarde* [Katalog der Sammlung Traisman]. New York 1998, S. 83–128.
115. Trapped between the ideals of Humboldt and the formation of human capital – reflections on the current function of higher education. In: *Friedrich-Naumann-Stiftung (Hg.), The Future of University and Further Education in the Baltic Area*. Lauenburg/Elbe 1998, S. 7–20.

- 115a. Партийное управление культурой и формы ее самоорганизации (1953–1964/67) (Предисловие к серии документальных сборников), in: *Культура и власть. От Сталина до Горбачева: Идеологические комиссии ЦК КПСС, 1958–1964. Документы.* – М., 1998. С. 5–22.
116. Untersuchungen zum Verhältnis von Kultur und Macht, in: Karel Vondrašek, *Sowjetisches Kulturmodell und das tschechische Theater, 1945–1968. Zum Spannungsverhältnis zwischen tschechoslowakischer Kulturpolitik und tschechischem Theater.* Dortmund 1999, S. I – V. (Serie: *Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur*, Bd. 14/1).
117. Aktuelle Veränderungstendenzen im deutschen Hochschulsystem vor dem Jahrtausendwechsel. In: Kissel, W.S. (Hg.), *Kultur als Übersetzung. Festschrift für Klaus Städtke zum 65. Geburtstag.* Würzburg 1999, S. 293–306.
118. Transformationshemmnisse im russischen Hochschul- und Wissenschaftsbereich, in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann, *Reform in der Krise. Bildungsdiskussion und Transformation des Wissenschaftsbereichs in Rußland/der GUS.* Bochum 1999, S. 5–11; russisch: Препятствия на пути трансформации в российской системе высшего образования и науки, in: *Politfkonom*, 1999, Nr. 3 (10), С. 173–175.
119. Vorbemerkung zu: Bljum, A.V., *Zensur in der UdSSR. Hinter den Kulissen des «Wahrheitsministeriums», 1917–1929.* Bochum 1999, Teil I, S. I – IV (Serie: *Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur*, Bd. 13/I).
120. Vorbemerkung zu Bljum, A.V. (Hg.), *Zensur in der UdSSR – Цензура в СССР. Archivdokumente 1917 bis 1991.* Bochum 1999, S. IX ((Serie: *Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur*, Bd. 13/II).
121. *Deutschland und Rußland in wechselseitiger Sicht*, in: Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek. *Kleine Schriften*, 3. Herne 1999, S. 16–30.
122. (zusammen mit Anne Hartmann) *Vorbemerkung, zu: Das historische Gedächtnis Rußlands.* Archive, Bibliotheken, Geschichtswissenschaft. Bochum 1999, S. 7–8.
123. (zusammen mit G. Bordjugov) *«Свое» и «чужое» в прошлое. Введение*, in: *Национальные истории в советском и постсоветских государствах.* – М., 1999. С. 13–17.
124. *Predislovie k russkomu izdaniju «Legkim perom».* – М., 1999. С. 5–7.
125. (zusammen mit David Riff), *Vadim Sidur in Deutschland*, in: *Pina-koteka*, Nr. 10–11. – М., 2000. С. 156–159.

126. Zum Stand der hochschul- und wissenschaftspolitischen Situation in Rußland, in: (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Fluchtlinien. Topographie der Bildungslandschaft Rußlands. Bochum 2000, S. 11–17.
127. Nochmals zum Paradigmenwechsel in der russischen Kultur: Zum Verhältnis von Krisenbewußtsein und kulturellem Selbstverständnis. In: Slavische Literaturen im Dialog. Festschrift für Reinhard Lauer zum 65. Geburtstag. Hg. von U. Jekutsch und W. Kroll. Wiesbaden 2000, S. 365–374.
128. Slawistik und Kulturwissenschaft in Geschichte und Gegenwart. Konsequenzen für Lehre und Forschung, in: (Hgg.) W. Eismann, P. Deutschmann, Kultur-Wissenschaft-Rußland. Beiträge zum Verhältnis von Kultur und Wissenschaft aus slawistischer Sicht. Frankfurt/Berlin 2000, S. 39–59.
129. (Hg. zusammen mit F. Bomsdorf und G. Bordjugov) Мифы и мифология в современной России. Москва, 2000, 5–8.
130. Смена парадигмы в российской культуре. Переориентация между распадом и новым формированием (1987–1997), in: Russian Culture on the Threshold of a New Century. Sapporo, 2001, P. 3–19.
131. Zur Situation: Ein Ausblick, in: Rußland im Umbruch – Jugend im Aufbruch?. Bochum 2001, S. 9–13.
132. [Вступительное слово] in: (Hg. zusammen mit G. Bordjugov, A. Ushakov) Новые концепции российских учебников по истории. – М., 2001. С. 5–7.
133. (zusammen mit G. Bordjugov, F. Bomsdorf) Цвет или бесцветность. по поводу немецко-германской конференции «Россия – Германия: Пути преодоления прошлого», in: Независимая газета. 2001, 15 мая. С. 8.
134. (zusammen mit G. Bordjugov) Беспощадная правда о беспощадной войне, in: Независимая газета (Приложение: Хранить вечно. Война без ретуши ), 2001, 15 мая. С. 9.
135. (Предисловие) Аппарат ЦК КПСС и культура, 1953–1957. Документы (Серия: Культура и власть от Сталина до Горбачева. Документы. – М., 2001. С. 5–8.
136. Deutsche und Russen im zwanzigsten Jahrhundert – Немцы и русские в двадцатом столетии, in: Geschichte der Deutschen in St. Petersburg – История немцев в Санкт Петербурге. – Петербург, 2001. С. 46–51.
137. Знак. Текст. Культура. – М., 2001. 394 с.
138. (совместно с Г. Бордюговым ) История с учебником истории, in: Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы. – М., 2002. С. 7–10.
139. (Вступительное слово), in: Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. – М., 2002. С. 15–16.

140. (Stichwort) Moskau-Tartu-Schule, in: (Hg.) Norbert Franz, Lexikon der russischen Kultur. Darmstadt 2002, S. 304–306.
141. (совместно с Г. Бордюговым) Культура и власть, in: Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских исследователей. Под редакцией К. Аймермахера, Геннадия Бордюгова и Инго Грабовского. – М., 2002. С. 9–13.
142. (совместно с Ф. Бомсдорф, Г. Бордюгов) Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. – М., 2002. – 150 с.
143. (совместно с Г. Бордюговым) Принимая ответственность за прошлое, in: Родина. 2002. № 10. С. 2.
144. Беспощадная правда. Что общего у искусства и истории и что разделяет их? In: Родина. 2002. № 10. С. 126–131.
145. (совместно с Г. Бордюговым) Россия и Германия: XX век. О новом этапе Вуппертальского проекта Льва Копелева, in: Копелевские чтения 2002. Россия и Германия: Диалог культур. – Липецк, 2002. С. 38–42.
146. Von Geldern und Menschen: Einsätze, Gewinne und Verluste bei der Förderung von Hochschulen und Wissenschaft in Rußland, in: (Hg. mit U. Justus) Vom Sinn und Unsinn westlicher Förderung in Rußland. Bochum 2002, S. 7–32; russisch: О деньгах и людях. Вклады, выигрыши и потери финансовой поддержки высшей школы и научных исследований в России, in: Вестник актуальных прогнозов. Россия. Третье тысячелетие. 2003. № 8. С. 24–26.
147. Памятник без постамента. Германский взгляд на российское искусство, in: Новая модель. 2002. № 6. С. 65–67.
148. Историческое мышление и доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, in: Культура и власть от Сталина до Горбачева (Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы). – М., 2002. С. 5–16.
149. Eine sonderbare Beziehung [Deutsch-russische Beziehungen], in: Zeitschrift für Kulturaustausch. Im Banne der Vergangenheit. Deutsch-russische Begegnungen, 53. Jg., 2003, Nr. 3, S. 37–39.
150. Вадим Сидур – Карл Аймермахер «О деталях поговорим при свидании...» Переписка. – М., 2004. 1152 с.
151. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого искусства» 1959-х – 1980-х годов. – М., 2004. 374 с.
152. Vom Sinn und Unsinn der Globalisierung der Hochschulen, in: Der Kampf um die besten Köpfe. Zur Situation der russischen Hochschulen im internationalen Wettbewerb. Bochum 2004, S. 5–14.
153. Вступительное слово, in: (Изд.) Арлен Блюм, Цензура в Советском Союзе, 1917–1991. М., 2004.

154. Zu den deutsch-russischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart, in: Verführungen der Gewalt. Russen und Deutsche im Ersten und Zweiten Weltkrieg. München 2005, S. 11–19.
155. Interkulturelle Perspektiven ohne Geschichte? Slawistische Erkundigungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, in: Zeit – Ort – Erinnerung. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser und Christine Engel. Innsbruck 2006, 57–75.
156. (zusammen mit Astrid Volpert) Zum Hintergrund der deutsch-sowjetischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit, in: Stürmische Aufbrüche und enttäuschte Hoffnungen. Russen und Deutsche in der Zwischenkriegszeit. München 2006, S. 11–14.
157. (zusammen mit Astrid Volpert) Deutsch-sowjetische Beziehungen in der Zeit des Kalten Krieges, in: Tauwetter, Eiszeit und gelenkte Dialoge. Russen und Deutsche nach 1945. München 2006, S. 11–13.
158. Lew Kopelews «West-östliche Spiegelungen». Ein Rückblick, in: Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 19./20. Jahrhundert: Von den Reformen Alexanders II. bis zum Ersten Weltkrieg (West-östliche Spiegelungen. Deutschland und Deutsche aus russischer Sicht, Bd. 4). München 2006, S. 1229–1242; russ.: Проект Льва Копелева «Запад и Восток», in: Историк и художник. 2008. № 3. С. 164–173.
159. (zusammen mit Valerij Gretchko) Aspekte einer interdisziplinären Untersuchungsstrategie im Bereich kultureller Evolution und Kreativität (Projektkonzept für ein künftiges Forschungszentrum), in: Kritik und Phrase. Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag. Hg. von Peter Deutschmann unter Mitwirkung von Peter Grzybek, Ludwig Karnicar und Heinrich Pfandl. Wien 2007, S. 405–422.
160. Ужасы войны в искусстве, in: Историк и художник. 2008. № 4(18). С. 38–46.
161. Вместо предисловия, in: Л.М. Кресина, Е.А. Динерштейн. Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг. Путеводитель по фонду Госиздата. – М., 2009. (Серия: Культура и власть от Сталина до Горбачева). С. 5–7.
162. Semiotik und Philologie, in: Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов, т. VI. Москва, 2009, стр. 77–85.
163. Rezeptionsmechanismen russischer Prosa-Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, in: Russische Literatur als deutsch-deutscher Brückenschlag (1945–1990). Jena 2010, S. 30–60.
164. Jurij Striedters akademische Momente. In: Jurij Striedter, Momente. Erinnerung an Kindheit und Jugend (1926–1945). Von Stalins Sowjetrussland zu Hitlers «Großdeutschem Reich». Mit einem Nachwort von Karl Eimermacher. Bochum 2010, S. 361–372.

165. Modelle kultureller Wahrnehmung und ihre Funktionalisierung. Hg. Chr. Engel, B. Menzel, Kultur als/und Übersetzung. Russisch-deutsche Beziehungen im 20. Und 21. Jahrhundert. Berlin 2011, S. 21–38.
166. Jurij Striedter zum 85. Geburtstag, in: Bulletin der deutschen Slavistik, 2011, S. 31–32.
167. Берлин, август 1961-го, in: Родина. 2011. № 8. С. 70–71.
168. Das Verhältnis von Kunst und Politik einmal anders, in: (Hg. Frank Hoffmann) «Die Erfahrung der Freiheit». Beiträge zu einer Kulturgeschichte der Europäischen Revolution 1989/1991. Münster 2012, S.141–150 (mit 8 Abbildungen aus der Serie /Karl Eimermacher/ «Aus dem Land der Roten Socken»).
169. Krieg, Völkermord, Gulag aus der Perspektive von Evidenz und Zeugenschaft, in: Evidenz und Zeugenschaft. Für Renate Lachmann. Hg. von Susanne Frank und Schamma Schahadat (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 69, München 2012, S. 549–562).
170. Одновременность неодновременности, in: Родина. 2012. № 11. С. 106–107.
171. Копелев как пример взаимоотношений в области культуры, in: Альманах германской истории. К 100-летию со дня рождения Льва Копелева. – М., 2013. С. 106–110.
172. (совместно с В. Гречко) Культурная эволюция и креативность: Междисциплинарный подход, in: Системные исследования культуры. Гос. Инст. Искусствознания. – М., 2013. С. 96–112.
173. Vadim Sidur, in: Facing the Future. Art in Europe 1945–1968. Centre for Fine Arts, Brussels, Center for Art and Media, Karlsruhe. 2016 (Lannoo Publishers, Tielt), S. 130–1935.
174. От русского языка к диалогу с Россией, in: Мир без насилия. Творческий вызов Карла Аймермахера. Каталог к выставке в Музее Истории Гулага. – М., 2017. С. 11–40.
175. Hans Mommsen und der zeitgeschichtliche Paradigmenwechsel in der deutschen Historiographie (= Vorwort zur russischen Ausgabe von Hans Mommsens *Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa*. Wallstein Verlag, 2014).

## Film

- 1978 (zusammen mit E. Peschler) Künstler im Untergrund, in: Schweizer Fernsehen. Studio Zürich, 12. 1. 1978 (auch WDR, III. Programm, 17. Juni 1979, 20.15–20.45).



## Издания, КОММЕНТИРОВАНИЕ

1. Литературные манифесты. От символизма к Октябрю, т. 1. Москва 1929. Reprint. München 1969, (Reihe: Slavische Propyläen, Bd. 64, I).
2. V.M. irmunskij. Композиция лирических стихотворений. Санкт-Петербург 1921. Reprint. München 1970 (Reihe: Slavische Propyläen, Bd. 73).
3. ЛЕФ (1923–1925) и НОВЫЙ ЛЕФ (1927–1928) с полным реестром. München 1970 (Reihe: Slavische Propyläen, Bd. 91, I–IV).
4. НА ПОСТУ (1923–1925). Reprint с послесловием. München 1971 (Reihe: Centrifuga, Bd. 1).
5. Тексты советского литературоведческого структурализма / Texte des sowjetischen literaturwissenschaftlichen Strukturalismus/. München 1971 (Reihe: Centrifuga, Bd. 5), 648 S.
6. Ju. M. Lotman. Vorlesungen zu einer strukturalen Poetik. Einführung. Theorie des Verses. München 1972 (Reihe: Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste, Bd. 14), 208 S.
7. V. Propp. Morphologie des Märchens. München 1972 (Reihe: Literatur als Kunst). 214 S.; 2., und um «Transformationen von Zaubermärchen» erweiterte Auflage. Frankfurt 1975, 295 S.
8. Dokumente zur sowjetischen Literaturpolitik. Kommentiert und mit einer Einleitung. Stuttgart 1972, 457 S.; 2. durchgesehene und erweiterte Auflage: Die sowjetische Literaturpolitik, 1917–1932. Von der Vielfalt zur Bolschewisierung der russischen Literatur. Bochum 1994, 937 S. (Reihe: Bochumer Studien zur Kultur Rußlands, Bd. 1).
9. Ju. M. Lotman. Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur. Kronberg/Ts. 1974, 451 S.
10. B.A. Uspenskij. Poetik der Komposition. Die Struktur des künstlerischen Textes und die Typologie der Kompositionsform. /Hg. nach einer revidierten handschriftlichen Fassung/. Frankfurt 1975, 219 S.
11. (Hg. zusammen mit G. Riff) Vadim Sidur. Skulpturen. Bochum 1984, 322 S. (= Veröffentlichungen zur osteuropäischen Kultur. Reihe: Dokumente und Beiträge zur russischen bildenden Kunst und Literatur, Bd.1).
12. Semiotica sovietica. Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973). Aachen 1986. 2 Bände, 956 S.

13. (Hg. zusammen mit P. Grzybek und G. Witte) Issues in Slavic Literary and Cultural Theory/Studien zur Literatur- und Kulturtheorie in Osteuropa. Bochum 1989, 600 S.
14. (Hg. zusammen mit L. Suchanek), Tartusko-moskiewska szkola semiotyki. Krakau 1991, 253 S. (Serie: Dzieje semiotyki radzieckiej, in: Wspolczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badan literackich, cz. II).
15. (Hg. zusammen mit P. Grzybek) Sprache – Text – Kultur. Studien zu den sprach- und kultursemiotischen Arbeiten von Vja . Vs. Ivanov und V.N. Toporov. Bochum 1991, 550 S.
16. (Hg. zusammen mit G. Riff) Vadim Sidur. Kunst im Zeitalter des Schreckens. Bremen 1992, 120 S.
17. Vadim Sidur. Federleicht. Bochum 1994, 184 S.; russische Ausgabe: Вадим Сидур. Легким пером. – М., 1999. 137 с.
18. Vladimir Jakovlev. Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen 1995, 224 S.
19. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Russische Hochschulen heute. Situationsberichte und Analysen 1995. Bochum 1995, 120 S.
20. (Hg. zusammen mit D. Kretzschmar und K. Waschik) Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Dortmund 1996, 886 S. (Serie: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur, Bd. 5 /T. 1 und 2).
21. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Der gegenwärtige russische Wissenschaftsbetrieb. Innenansichten. Bochum 1996, 131 S.
22. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Deutsch-russische Hochschulkooperation: Erfahrungsberichte. Bochum 1996, 156 S.
23. (Hg. zusammen mit K. Laß) Transformationen von Hochschulen und Wissenschaftsbetrieb: Westliche Sichtweisen auf den Umbruch in Rußland. Bochum 1997, 139 S.
24. Verdeckte Dialoge im Kalten Krieg. Materialien zur Rezeption des Moskauer Bildhauers Vadim Sidur im Westen. Bochum 1997, 637 S.
25. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Deutsch-russische Hochschulkooperationen am Beispiel der Ruhr-Universität Bochum. Bochum 1997, 259 S.
26. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Innovative Ausbildung – neue Eliten? Bildungsprozesse in Rußland (= Materialien der letzten RB-Tagung in Bochum am 16./17. Okt. 1997). Bochum 1997, 147 S.
27. «Человек и одинок в этом мире, художник же одинок же вдвое...» Из переписки Вадима Сидура и Карла Аймермахера, in: Октябрь. 1998. № 7. С. 107–147.
28. (Hg. zusammen mit A. Hartmann, S. Schönfelder) Visionen, Revisionen, Realitäten – die Transformation von Wissenschaft und Hochschulen im Spiegel der Zeitschrift «Поиск». Beiträge, Analysen, Dokumente aus den Jahren 1966 und 1997. Bochum 1998, 278 S.

29. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Das historische Gedächtnis Rußlands. Bochum 1999, 121 S.
30. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Reform in der Krise. Bildungsdiskussion und Transformation des Wissenschaftsbereichs in Rußland/der GUS. Bochum 1999, 151 S.
31. (Hg. zusammen mit A. Hartmann) Fluchtlinien. Topographie der Bildungslandschaft Rußlands. Bochum 2000, 234 S.
32. (совместно с Г. Бордюговым, К. Вашиком) «Свое» и «Чужое» прошлое или поиск новых идентичностей в постсоветских государствах. Материалы обсуждения на Международной научной конференции «Создание национальной истории» (15–16 сентября 1998 г.). – М., 1999. 54 с.
33. (совместно с Г. Бордюговым) «Свое» и «Чужое» прошлое. Введение, in: Национальные истории в советском и постсоветских государствах. – М., 1999.
34. (совместно с Г. Бордюговым) Национальные истории в советском и постсоветских государствах. – М., 1999.
35. (Hg. zusammen mit Karen Laß), Jung, dynamisch – erfolgreich?! Studentischer Alltag in Rußland. Bochum 2000, 129 S.
36. (zus. mit Anne Hartmann) Fluchtlinien. Topographie der Beildungslandschaft Rußlands. Bochum 2000, 230 S.
37. (изд. совместно с Ф. Бомсдорфом и Г. Бордюговым) Мифы и мифология в современной России. – М., 2001 и 2003.
38. (Hg. zusammen mit Anne Hartmann) Rußland im Umbruch – Jugend im Aufbruch? Bochum 2001, 237 S.
39. (совместно Г. Бордюговым, А. Ушаковым) Новые концепции российских учебников по истории. – М., 2001.
40. (совместно с Г. Бордюговым) История с учебником истории, in: Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы. – М., 2002.
41. (совместно с Ф. Бомсдорфом и Г. Бордюговым), Пределение прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. – М., 2002.
42. (совместно с Г. Бордюговым, И. Грабовским): Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских исследователей. – М., 2002.
43. (совместно с Г. Бордюговым) Специальный выпуск журнала «Родина»: Россия и Германия). № 10. 2002. 144 с.
44. (zusammen mit U. Justus) Vom Sinn und Unsinn westlicher Förderung in Rußland. Bochum 2002, 228 S.
45. (Изд. Совместно с А. Галушкиным, В. Кудрявцевым, К. Поливановым, М. Шруба) М. Шруба, Энциклопедия литературных групп

- пировок и организаций в России, 1890–1917. Т. I. – М., 2003. 700 с.
46. (zusammen mit Ursula Justus) Der Kampf um die besten Köpfe. Zur Situation der russischen Hochschulen im internationalen Wettbewerb. Bochum 2004, 145 S.
47. (zusammen mit Astrid Volpert) Verführungen der Gewalt. Russen und Deutsche im Ersten und Zweiten Weltkrieg. München 2005, 1394 S.; russische Ausgabe Москва 2010 (изд. АИРО-XXI).
48. (zusammen mit Astrid Volpert) Stürmische Aufbrüche und enttäuschte Hoffnungen. Russen und Deutsche in der Zwischenkriegszeit. München 2006, 1394 S.; russische Ausgabe Moskva 2010 (изд. АИРО-XXI).
49. (zusammen mit Astrid Volpert) Tauwetter, Eiszeit und gelenkte Dialoge. Russen und Deutsche nach 1945. München 2006; russ. Ausgabe 2010 (изд. АИРО-XXI).

## Со-издатель

- «Scriptor-Literaturwissenschaft» (im Wissenschaftl. Beirat zusammen mit Jäger, Kimpel, Mattenklott, Scherpe, mega ).
- Veröffentlichungen zur osteuropäischen Kultur. Reihe: Dokumente und Beiträge zur russischen bildenden Kunst und Literatur). Bochum 'Museum Bochum' 1984 ff (Hg. zusammen mit Eichwede, Spielmann).
- Forschungen zu Osteuropa. Bremen 1987ff (im Wissenschaftl. Beirat zusammen mit Beyrau, Eichwede).
- Znakolog. An International Yearbook of Slavic Semiotics, Bochum 1989ff (im Beirat mit P. Grzybek, M. Fleischer).
- Essays in Poetics. Keele 1982ff (im Intern. Advisory Board).
- Publications in Evolutionary Cultural Semiotics, Bochum 1984ff (Hg. zusammen mit W.A. Koch und A. Eschbach).
- Bochumer Beiträge zur Semiotik, 1985ff (im Beirat zusammen mit Bichakjan, Eschbach, Figge, Harweg, Holenstein, Hüllen, Koch, Rodi, Städtke)).
- Slavia orientalis. Krakau 1992ff (im Intern. Beirat).
- (Hg. zusammen mit Klaus Waschik) Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur. Bochum 1994ff.
- Издание серии «Культура и власть от Сталина до Горбачева. Исследования (Совместно с: В. Афиани, Б. Бонвеч, Д. Байрау, Н. Томилиа).

- Идеологические комиссии ЦК КПСС, 1958–1961. Документы. – М., 1998. 551 с.
- Аппарат ЦК КПСС и культура, 1953–1957. Документы. – М., 2001. 807 с.
- Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. – М., 2002. 911 с.
- Аппарат ЦК КПСС и культура, 1965–1972. Документы. – М., 2009. 1248 с.
- Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920–1930-х годах. Документированная история. – М., 2000.
- Горяева Т.М. Политическая цензура, 1917–1991. М., 2002. 400 с.
- Справочно-информационные материалы по документам Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ). Путеводитель, выпуск 1. Изд. Н.Г. Томилиной. – М., 2004, 240 с.
- Блюм А. Цензура в СССР, 1917–1991. Документы. – М., 2004. 575 с.
- Горяева Т. и др., Институты управления культурой в период становления, 1917–1930е гг. Партийное руководство, государственные органы управления культурой в период становления. Схемы. – М., 2004. 311 с.
- Прокуменчиков М. Большая политика и большой спорт. – М., 2004, 466 с.
- Динерштейн Е. Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг. – М., 2009.
- Максименков Л. и др. Кремлевский кинотеатр, 1928–1953. Документы. – М., 2005. 1120 с.

## Научные конференции, симпозиумы

1973.

(zusammen mit R. Grathhoff und W. Sprondel) Organisation eines interdisziplinären Kolloquiums zum Strukturbegriff in den Sozialwissenschaften in Konstanz/Gottlieben (Förderung durch die Stiftung Volkswagen).

1974.

Organisation und Durchführung des Symposiums «Von der Revolution zum Schriftstellerkongreß. Entwicklungsstrukturen und Funktionsbestimmung der Literatur und der Kunst nach der Oktoberrevolution in Rußland» (gefördert durch die Stiftung Volkswagen).

1977.

(zusammen mit R. Grimm) Organisation eines interdisziplinären Kolloquiums zur «Entstehung und Auflösung der MODERNE» in Konstanz (unter Beteiligung vor allem von Literaturwissenschaftlern aus Konstanz /Jauß, Smuda, Gumbrecht u. a./ und Zagreb /Zagreber Schule: Flaker, Škreb, mega/) (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft).

1978.

(zusammen mit R. Kloepfer) Organisation der Sektion «Ästhetische Zeichen» auf dem 2. Semiotischen Kolloquium in Regensburg.

1979.

Organisation des Symposiums «Der Funktionsbegriff in Linguistik und Literaturwissenschaft» in Bochum (unter Beteiligung niederländischer Sprach- und Literaturwissenschaftler) (gefördert aus Mitteln des Wissenschaftsministerium des Landes NRW).

Oktober 1981.

(zus. mit R. Kloepfer) Organisation der Sektion «Literaturwissenschaft» auf dem 3. Semiotischen Kolloquium in Hamburg.

1983 ff.

Dreijähriges Forschungsprojekt zum «Soziokulturellen Normenwandel in der Sowjetunion der 70er Jahre» (gefördert durch die Stiftung Volkswagen; durchgeführt in Zusammenarbeit mit S. Hänsgen, P. Rühl, K. Waschik und G. Witte sowie mit Mitarbeitern und Studenten des Seminars für Slavistik).

1984.

Organisation und Durchführung des Internationalen Symposiums «Analyseprobleme der sowjetischen nonkonformen Nachkriegskunst» (gefördert durch die Stiftung Volkswagen) in Bochum.

(Teilnahme) Organisation einer Internationalen Konferenz «Literaturtheorien in slavischen Ländern und Geschichte der Literaturtheorie» (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft) in Bochum.

Juni 1986.

(Teilnahme) Konferenz des Bochumer Semiotischen Colloquiums (mit Vortrag).

Oktober 1986.

Konferenz des Bochumer Semiotischen Colloquiums.

1987.

Organisation und Durchführung einer Konferenz zum wissenschaftlichen Werk von Vja . Vs. Ivanov und V.N. Toporov in Bochum.

1990.

6. Juli und 9. – 11. November 1990 Organisation und Durchführung einer Fachtagung mit DDR-Slavisten aus Berlin und Leipzig über Forschungstraditionen und –perspektiven der Slavistik in Deutschland

(Erforschung der russischen und sowjetischen Kultur der letzten einhundert Jahre) (gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft).

Oktober 1992.

Organisation und Durchführung einer Konferenz zu den soziokulturellen Transformationsprozessen während der Perestrojka in Rußland (1985 bis 1991) (gefördert durch das NRW-Wissenschaftsministerium) in Bochum.

Dezember 1992.

(Tagung im Rahmen der Rußlandbeauftragung) »Formen und Perspektiven der Zusammenarbeit deutscher und russischer Hochschulen und des Kulturaustauschs«.

Ende Oktober 1993.

Organisation und Durchführung einer Tagung zu Grundproblemen der deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen (vor allen Dingen im Rahmen von Hochschulkooperationen) sowie von Fördermaßnahmen und – bedingungen durch deutsche Stiftungen/DAAD/DFG (gefördert durch das NRW-Wissenschaftsministerium) («Die Situation der Hochschulen in Rußland: Ihre Reform- und Wandlungsfähigkeit»).

September 1994.

Organisation und Durchführung einer Tagung zu Problemen der Angleichung von Curricula und der wechselseitigen Anerkennung von Studienleistungen mit Rektoren russischer Universitäten und Vertretern deutscher Bildungseinrichtungen in Bochum (gefördert durch das NRW-Wissenschaftsministerium).

Oktober 1994.

Organisation und Durchführung einer Tagung in Bochum mit Lehr- und Führungskräften russischer Universitäten zu Fragen einer Um- und Neustrukturierung im russischen Hochschulsystem (gefördert durch das NRW-Wissenschaftsministerium).

Oktober 1994.

Durchführung einer Tagung mit Leitern von wissenschaftlichen Projekten deutscher und GU-Hochschulen sowie Vertretern von Wissenschaftsförderorganisationen in Deutschland in Bochum («Hochschulbeziehungen aus deutscher und russischer Sicht: Koordinierungsfragen, Förderkonzepte») (gefördert durch das NRW-Wissenschaftsministerium).

26.1.1996.

Organisation und Durchführung einer Internationalen Tagung mit Leitern von Hochschulprojekten aus Deutschland in Rußland und Vertretern verschiedener deutscher Stiftungen zu Fragen der Wissenschaftsförderung in Rußland und Hochschulkooperationen mit Deutschland.

24. Juni 1996.

Tagung zur rußlandbezogenen Forschungs- und Ausbildungs- Nachwuchssituation (Anweiler, Bonwetsch, Bremer, Brunner, Dilger, Eichwede, Höhmann, Kuebart, Mommsen, Steininger u.a.) in Bochum.

17.–18. Oktober 1996.

Arbeitsbesprechung über Hochschulkontakte zwischen Nordrhein-Westfalen und Rußland/der GUS in Bochum «Der gegenwärtige Wissenschaftsbetrieb in Rußland (Zustandsanalyse – Entwicklungsperspektiven)» (gefördert durch das Wissenschaftsministerium NRW).

15.–20. Februar.

Dt. Leitung der Konferenz des Goethe-Instituts (Moskau) zum Thema «Kultur und Gesellschaft» (Krise der russischen Kultur heute, Finanzierung, Interessengruppen, Trends).

9.–11. Oktober 1997.

Konferenz im Rahmen des Graduiertenkollegs: Kulturelles Bewußtsein und sozialer Wandel in der russischen und sowjetischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts.

16.–17. Oktober 1997.

RB-Tagung «Innovative Ausbildung – neue Eliten».

29.–30. November 1997.

Organisation und Durchführung der Tagung «Methodologische Grundlagenprobleme der Literatur- und Kulturwissenschaft».

Juni 1998.

Konferenz des Graduiertenkollegs in Verbindung mit auswärtigen Rußland orientieren Wissenschaftlern «Das 'Eigene» und «Das Fremde».

September 1998 (Moskau).

(zus. mit Gennadij Bordjugov Organisation der) Konferenz «Создание национальных историй в России и СНГ».

17.–18. Oktober 1998.

Konferenz «Bildungsdiskussion und Transformation des Wissenschaftsbereichs in Rußland».

1999 Sept. (zusammen mit AIRO XX und Naumann-Stiftung) Konferenz «Мифы и мифология в современной России».

1999 Nov. (zusammen mit AIRO XX) Konferenz: Новые концепции российских учебников по истории.

15. Mai 2001.

(zus. mit F. Bomsdorf, G. Bordjugov ) Organisation der deutsch-russischen Tagung «Россия – Германия: Пути преодоления прошлого» (Библиотека иностранной литературы, Москва).

3.–6. Okt. 2001 (zusammen mit AIRO XX und IEK RGGU) «Культура и власть в условиях коммуникационной революции. Форум нового поколения культурологов Германии и России».



5.–6. Nov. 2001.

9. Arbeitsbesprechung: Vom Sinn und Unsinn westlicher Förderung. Bilanz der Zusammenarbeit mit Rußland/GUS.

17.–18. Oktober 2002.

RB-Tagung = 10. Arbeitstagung über Hochschulkontakte zwischen NRW und Rußland/GUS «Der Kampf um die ‚besten Köpfe‘: Zur Situation der russischen Hochschulen im internationalen Wettbewerb».

12.–13. November 2003 (zusammen mit AIRO XX und Naumann-Stiftung) «Россия и страны Центральной и Восточной Европы, Балтии, Южного Кавказа, Центральной Азии: Старые и новые образы в современных учебниках истории».

## Научные проекты

1968–1970. Die sowjetische Literatur, Literaturwissenschaft und kritik im Rußland der zwanziger Jahre.

1975–1979. Die Manifeste literarischer Gruppen zwischen 1895 und 1932 in Rußland.

1983–1986. Soziokultureller Normenwandel in der Sowjetunion der 70er Jahre.

1986–1988. Die sowjetische Literaturpolitik zwischen 1953 und den 70er Jahren.

1987–1993. (zusammen mit P.-G. Klussmann) Das sowjetische Kulturmodell und das literarische Leben in der DDR. Die Geschichte und Struktur eines Spannungsverhältnisses (durchgeführt von W. Egge-ling und Anne Hartmann).

1989–1991. Analysen und Dokumentation der sowjetischen Kulturpolitik zwischen 1970 und 1985 (durchgeführt von D. Kretzschmar).

1993–1996. Nationalbewußtsein und Identität. Zur Frage der Entstehung und Transformation nationalorientierter und wertkonservativer Konzeptionen in der russischen Literatur seit den sechziger Jahren bis heute (neunziger Jahre) (durchgeführt von E. Barabanov und Bettina Sieber).

1994–1997. Das sowjetische Kulturmodell und das tschechische Theater (durchgeführt von K. Vondrašek).

1996–2001. Kulturelles Bewußtsein und soziale Entwicklungsschübe in der russischen und sowjetischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts.

1996–2001. Kulturpolitische Lenkungsmechanismen zwischen 1917 und den sechziger Jahren.

- 1997–2001. Die Entwicklung der russischen Kunst zwischen 1945 und 1995 (durchgeführt von E. Barabanov).
- 1998–2004. Weiterführung des von Lev Kopelev initiierten Wuppertaler Projekts über die deutsch-russischen Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert.
- 2000–2002. Transformationsprozesse in der tschechischen Kultur der neunziger Jahre (Theater und Film) (durchgeführt von Karel Vondrašek).
- 2002–2004. «Die Methode» S. Ejzenštejns (durchgeführt von Oksana Bulgakova).

## ВЫСТАВКИ

1998 bis 2000.

Berlin, große Wohnungs- und Ladenausstellungen (Fasanenstr. 41 und 41a) für geladene Gäste (1998 “Aus dem Land der Roten Socken»; 1999 «Кaa-eeh-zwei-eins»/u. a. Serien «Betonköpfe», «Masken», «Sektgebore», «Variationen des Einfachen»;/ 2000 «5 vor 12»/u. a. «Exkursionen ins XX. Jh», «Visionen des XXI. Jh's»/.

2001.

Москва, Библиотека иностранной литературы. Овальный зал.

Kötzing, Waldschmidthaus «Waldfrieden» / Museum – Galerie – Künstlercafé.

2002.

Калининград, Городская Галерея.

Санкт-Петербург, Галерея журнала «Номи».

2008.

Berlin, mehrmals wechselnde Werkschau in der «Besenwirtschaft» (Umlandstraße 159) und in der Weinhandlung «Entrépot du vin» (Fasanenstr. 44).

Самара, Художественный музей Самарской области.

Bochum: Zeichnungen und Skulpturen aus den Serien «Aus dem Land der Roten Socken» in der Universitätsbibliothek und im Gebäude der Geisteswissenschaftlichen Institute der Ruhr-Universität aus Anlass der zwanzigsten Wiederkehr der Maueröffnung in Berlin.

2008/2009.

Санкт-Петербург, Галерея ресторана «Палкин» (Невский проспект).

2012

Berlin, Galerie Christian Glass.

Fotoausstellung *Panta rhei – Alles fließt* (Eröffnung 22. 11. 2012 in der Universitätsbibliothek Bochum).

2013

Москва, Музей истории ГУЛАГа «Под защитой – Без защиты», 26.11. bis 26. 1. 2014.

2014

Куратор выставки «Вадим Сидур», 28. 5. – 4. 8. 2014 (Музей Истории ГУЛАГа).

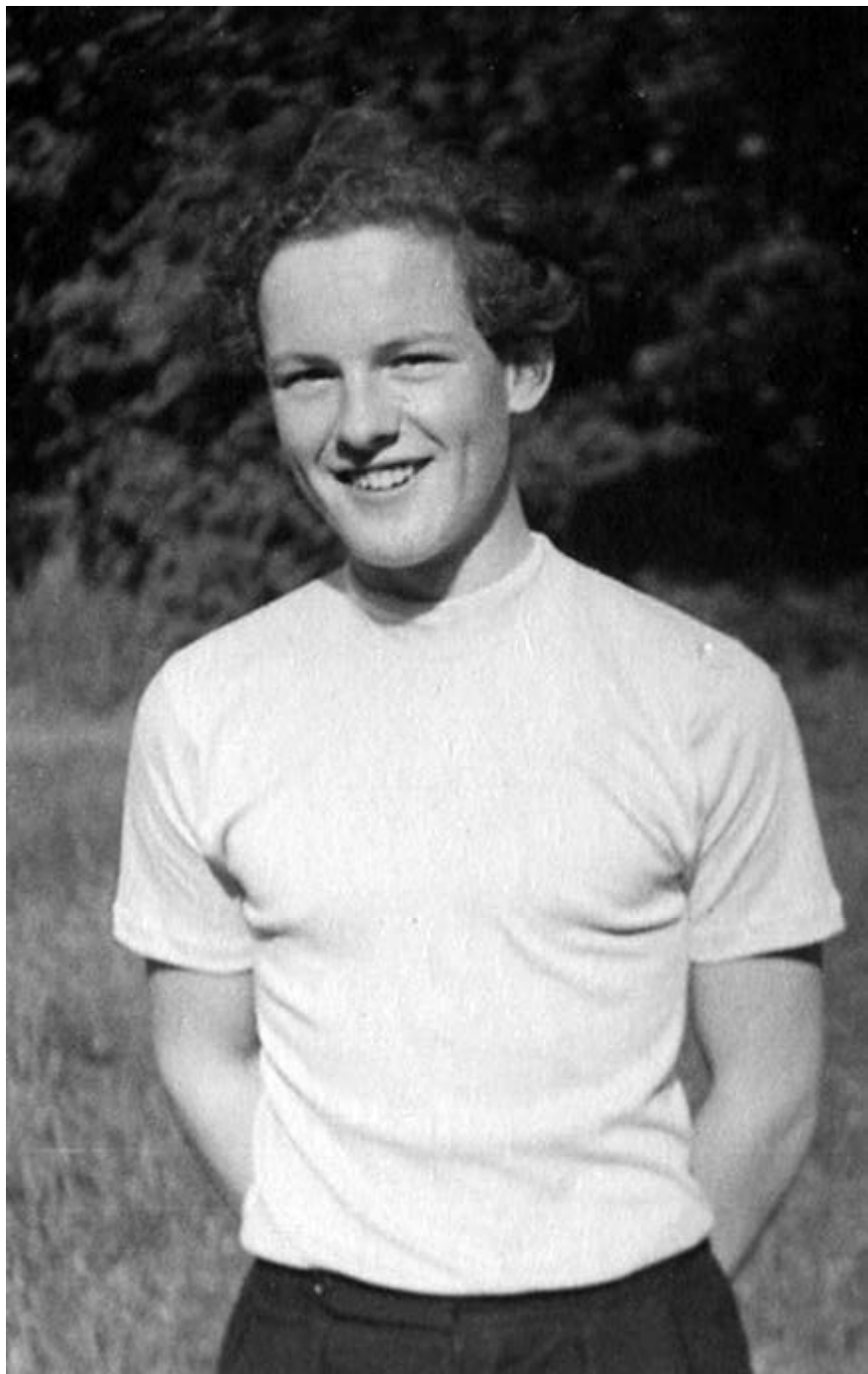
2015

16.4. – Октябрь. Куратор выставки Сидура в Музее Сидура.

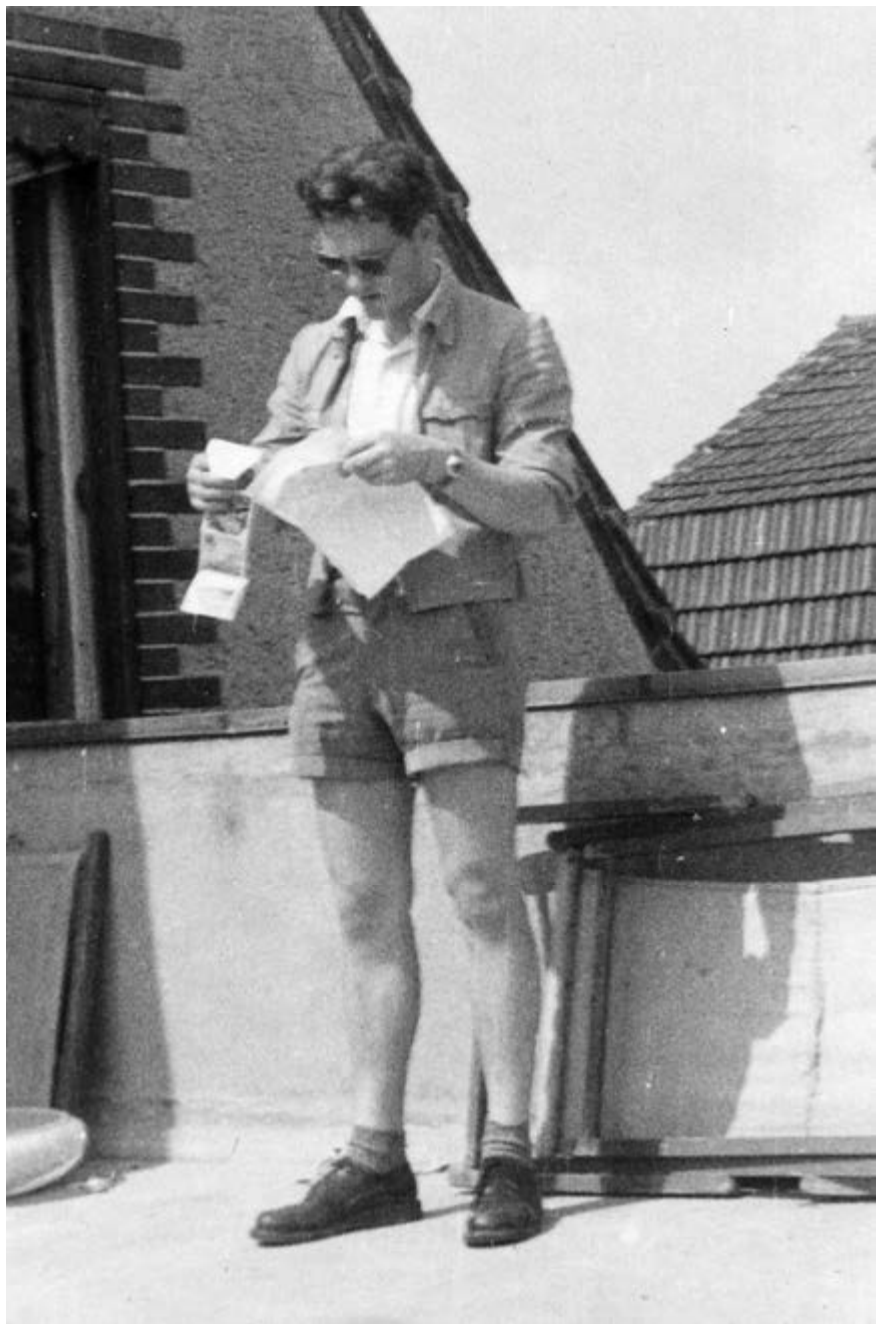
12. Mai bis 31. August. Kabinett-Ausstellung «Vadim Sidur» (Kuratierung zus. mit Christhard Neubert) im Evangelischen Zentrum in Berlin.

2017

Москва. Музей Истории ГУЛАГа «Мир без насилия. Творческий вызов Карла Аймермахера».



Берлин, 1952 г.



На балконе дома, в котором я родился в 1938 году, 1954 г.



Перед нашим домом на окраине (Восточного) Берлина, 1952 г.



В день свадьбы в доме родителей моей тогдашней жены Ренате, 1961 г.



Научный ассистент в Констанцском университете, 1970 г.



В мастерской Вадима Сидура с его женой Юлией Нельской-Сидур, 1975 г.



С Вадимом Сидуром и его женой Юлией. Едем проверить Памятник родителям, который позже будет установлен в Переделкино. Москва, 1977 г.





Среди собственных научных публикаций в Институте славистики Бохумского университета. Середина 70-х годов



Открытие скульптуры Сидура в гражданском парке города Оффенбург, 1984 г.



Экскурсия по выставке Сидура в Бохумском городском музее в день ее открытия.  
Справа – Лев Копелев, 1984 г.



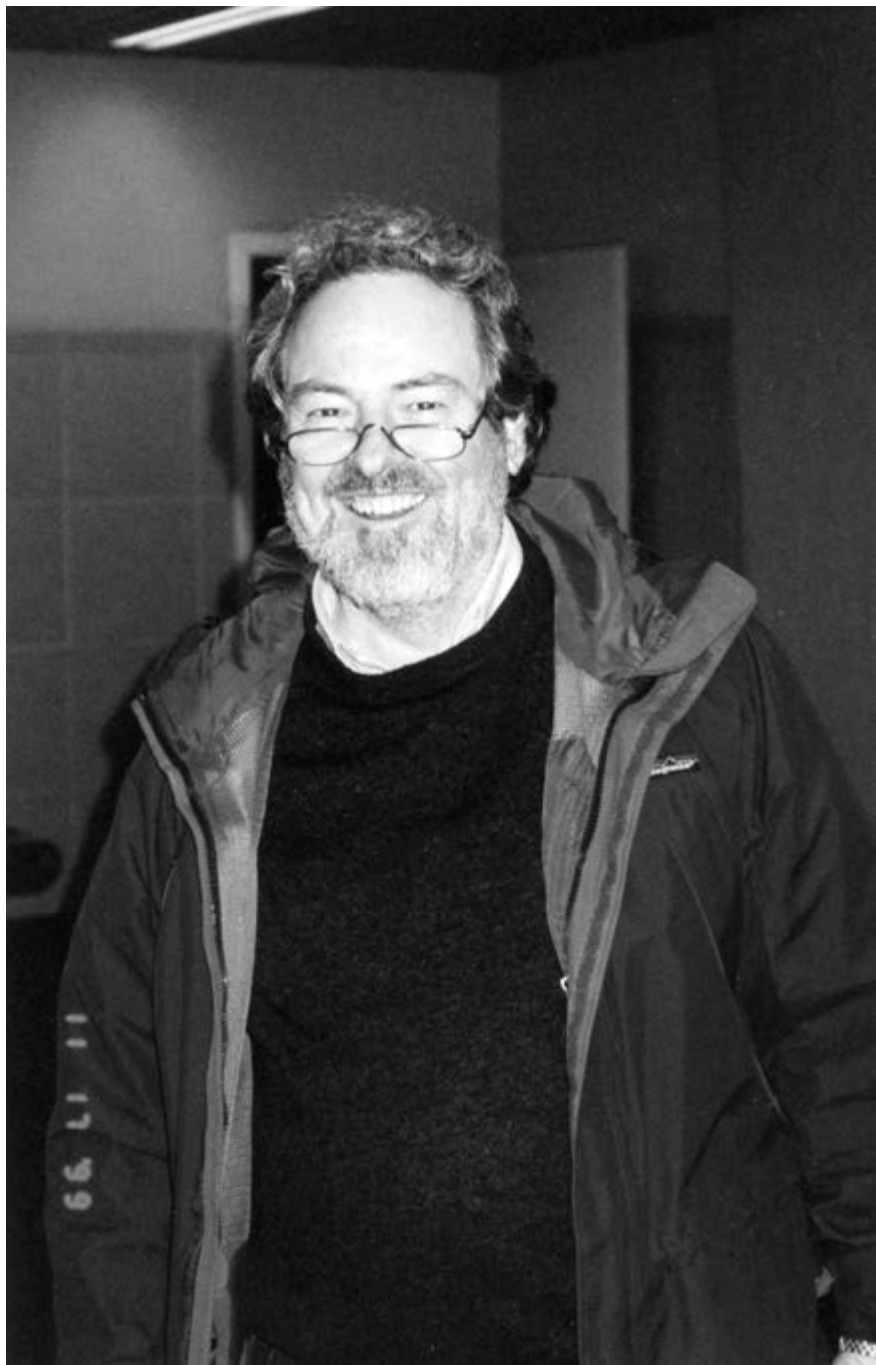
Открытие первой официальной выставки Сидура в Комитете защиты мира. Слева направо: Михаил Сидур, Юлия Нельская-Сидур, Карл Аймермахер, Генрик Боровик, 1987 г.



В Бохумской квартире во время дискуссии о современном искусстве в России, 2000 г.



Получение степени почетного доктора РГГУ, Москва, 1998 г.



В квартире Сидура. Москва, 1999 г.



С Евгением Барабановым на конференции по современной философии в России, Москва (РГГУ), 2005 г.



Стоят (слева направо): Карл Аймермахер, Клаус Штедке, Юрий Лотман, Евальд Ланг, Георг Витте. Сидят: Руслана Штедке, Гизела Рифф, Зара Минц (жена Лотмана), 1983 г.



На конференции «Россия – Германия». Москва, Овальный зал Библиотеки иностранной литературы. 3 декабря 2008 г.



На презентации трёхтомника «Россия и Германия в XX веке». Москва, Овальный зал Библиотеки иностранной литературы. 17 мая 2010 г.



С Геннадием Бордюговым, 2010 г.





Счастливые моменты после удачной химиотерапии у Гизелы, 2012 г.





Открытие выставки «Под защитой – без защиты» в музее истории ГУЛАГа. Слева – директор музея Роман Романов. 28 ноября 2013 г.



С Геннадием Бордюговым, Берлин, 2014 г.



Интервью для Первого Московского Канала перед скульптурой Сидура «Треблинка» (установлена в 1979 г.), 2014 г.



На презентации книги «Юлия Сидур – Карл Аймермахер. "Время новых надежд..."». Переписка 1986–1992». Москва, музей истории ГУЛАГа, 29 мая 2014 г.



На открытии выставки «Между мирами. Вадим Сидур и его творчество». Москва, музей истории ГУЛАГа, 27 мая 2014 г.



С Вениамином Смаховым на выставке «Между мирами. Вадим Сидур и его творчество». Москва, музей истории ГУЛАГа, 27 мая 2014 г.



Открытие новой выставки в Музее Сидура в Москве, 2015 г.



Портрет работы Бориса Жутовского

# Издания АИРО в 2014–2017 гг.

## 2014

- М.Н. Мосейкина.* У истоков формирования Русского мира. XIX – начало XX века. Том 1 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 392 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-236-0.
- З.С. Бочарова.* Феномен зарубежной России 1920-х годов. Том 2 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 408 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-238-4.
- З.С. Бочарова.* Русский мир 1930-х годов: от расцвета к увяданию зарубежной России. Том 3 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 336 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-240-7.
- А.В. Антошин.* На фронтах Второй мировой и «холодной» войн: русские эмигранты в 1939 – начале 1950-х гг. Том 4 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-242-1.
- А.В. Антошин.* От Русского Монмартра – к Брайтон-Бич: эволюция Русского мира в 1950-е – начале 1980-х гг. Том 5 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-244-5.
- Г.А. Бордюгов, А.Ч. Касаев.* Русский мир и Россия: формирование нового типа отношений. 1986–2000 гг. Том 6 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-246-9.
- В.В. Агеносов* Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 736 с.; илл. – ISBN 978-5-91022-230-8. – ISBN 978-5-90670-527-3.
- Л.В. Совинский.* В зеркале времени. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 592 с. + 32 с. илл.
- Война и мир в новой и новейшей истории России. (К 100-летию начала Первой мировой войны). Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 252 с.
- Всё остается людям. Анатолий Котеленец: к 100-летию со дня рождения / Составители: Е.А. Котеленец, Т.А. Котеленец, О.Б. Беляков. М.: АИРО-XXI, 2014. – 112 с. + 28 с. илл.



- В.Я. Гросул.* Труды по теории истории. – М.: АИРО–XXI, 2014. – 548 с.
- Татьяна Филиппова, Пётр Баратов.* «Враги России». Образы и риторика вражды в русской журнальной сатире Первой мировой войны. – (Серия «АИРО – монография») – М.: АИРО-XXI, 2014. – 272 с. + 88 с. илл.
- Юлия Сидур – Карл Аймермахер.* «Время новых надежд...». Переписка 1986–1992 / Обработка текста Владимира Воловникова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 512 с., илл. – (Серия «АИРО – первая публикация в России» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
- Торгово-промышленные палаты и биржевые комитеты России в годы Первой мировой войны / Предисл. С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2014. – 432 с. (с иллюстрациями).
- Владимир Александрович Невежин.* Биобиблиографический указатель. Сост.: Е.С. и М.С. Сапрыкины. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 128 с.
- И.Б. Белова.* Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914–1925 гг. – (Серия «АИРО – монография») – М.: АИРО-XXI, 2014. – 432 с. + 16 с. илл.
- Н.Г. Смирнов.* Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг. / Рукопись подготовлена к печати С.Н. Смирновым. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 368 с. + 12 с. ил. – (Серия «АИРО – первая публикация» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
- Г.А. Бордюгов. Биобиблиография. Сост. А. Макаров, О. Пруцкова, С. Щербина. Предисл. Дм. Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 192 с. + 16 с. ил.
- Юрий Штридтер.* Плутовской роман в России: к истории русского романа до Гоголя. Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового и Даниила Бордюгова – (Серия «АИРО – первая публикация в России» под ред. Г.А. Бордюгова) – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 416 с.
- Политическая полиция Российской империи между реформами. От В.К. Плеве до В.Ф. Джунковского. Сборник документов / Вступительная статья, составление и комментарии – Е.И. Щербакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с. – (Серия «АИРО – первая публикация» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
- Япония 2014. Ежегодник. – М.: «АИРО–XXI», 2014. – 340 с.
- Японское общество: изменяющееся и неизменное / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-XXI. 2014. – 300 с.
- «Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы Семинара 22 октября 2014 г. / Под редакцией Карла Аймермахера и Геннадия Бордюгова – М.: АИРО-XXI, 2014. – 128 с., илл.
- От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожakov русской смуты. Сборник статей и материалов / Под ред. А. В. Посадского. – М.: АИРО–XXI. 2014. – 624 с. + 44 с. илл.

## 2015

Русский мир и русское образование в условиях глобализации культуры. Перечитывая философско-педагогическую антропологию Е.П. Белозерцева.

- К 75-летию профессора Е.П. Белозерцева. Монография / Под ред. И.Е. Булатникова, А.В. Репринцева. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 368 с. + 40 с. ил.
- Фрезинский Борис.* Троицкий. Каменев. Бухарин. Избранные страницы жизни, работы и судьбы. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 384 с.
- Национальный вопрос в истории России. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 320 с.
- А.А. Баев.* Отлучение от науки. Академик Александр Александрович Баев. Архивно-следственные документы 1937–1954 гг. и многое другое. (Серия «АИРО – Первая публикация» под редакцией Г.А. Бордюгова). – М.: АИРО-XXI, 2015. – 352 с. : ил.
- Юлия Нельская-Сидур.* «Время, когда не пишут дневников и писем...» Хроника одного подвала. Дневники 1968–1973 / Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Владимира Воловникова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2015. – 1080 с.
- Г.А. Куренков.* От конспирации к секретности. Защита партийно-государственной тайны в РКП (б)–ВКП (б). 1918–1941 гг. (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО-XXI, 2015. – 252 с.
- Весоюзная торговая палата. 1939–1945 гг. / Под редакцией Президента ТПП РФ С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2015. – 504 с. (с иллюстрациями).
- Великой Победе – 70 лет. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI. 2015. – 320 с.
- А.В. Долгопятов.* Эти тихие уездные города. О социально-экономическом развитии малых городов Московской губернии во второй половине XIX – начале XX века. (Серия «АИРО – Первая монография»). – М.: АИРО-XXI, 2015. – 232 с.
- Любите край Кумылженский, что нам судьбою дан. Книга вторая. Серия «АИРО – Российская провинция». – М.: АИРО-XXI, 2015. – 528 с.
- В.А. Сомов.* Первое советское поколение: испытание войной. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 176 с. + илл. – (АИРО – Монография»).
- В.В. Барабаш, Г.А. Бордюгов, Е.А. Котеленец.* Государственная пропаганда и информационные войны. Учебное пособие. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 400 с.: ил.
- О.Ю. Голечкова.* Бюрократ его величества в отставке: А.А. Половцов и его круг в конце XIX – начале XX века / Послесловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 192 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
- Победа-70: реконструкция юбилея; под ред. Геннадия Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 624 с. с иллюстрациями.
- Б.В. Соколов.* Моя книга о Владимире Сорокине. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 336 с.
- И.Н. Гребенкин.* Долг и выбор: русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–1918 гг. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 528 с. + илл. – (АИРО – Монография»).
- Н.А. Четырина.* «Для науки кукольного мастерства»: художественные промыслы в документах ратуши Сергиевского посада (1796–1864 гг.). (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО-XXI, 2015. – 304 с.

- Е.В. Суровцева.* Баден под Веной и его окрестности. Историко-культурологический путеводитель с приложением воспоминаний барона Ф.Ф. Торнау. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 248 с.
- Олег Каннес.* «Воинственная» наука: проработка прошлого диктатур в германской и российской историографиях второй половины XX века – (Серия «АИРО – первая публикация в России» под ред. Г.А. Бордюгова) – М.: АИРО-XXI, 2015. – 352 с.
- Марк Юнге.* Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 640 с.
- Большевистский порядок в Грузии. В 2-х томах. Том 1: Большой террор в маленькой кавказской республике; составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 640 с.
- Большевистский порядок в Грузии. В 2-х томах. Том 2: Документы и статистика; составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 656 с.
- О.Г. Герасимова.* «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета / Послесловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 608 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
- Япония 2015. Ежегодник. – М.: «АИРО-XXI», 2015. – 352 с.
- Япония: консервативный поворот. / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-XXI. 2015. – 288 с.
- Современное российское японоведение: оглядываясь на путь длиною в четверть века / под редакцией проф. Д.В. Стрельцова. – М., АИРО-XXI. 2015 – 448 с.
- Федор Крюков.* На Дону. В родных местах. М.: «АИРО-XXI». 2016 г. – 384 с.
- От «Кровавого воскресенья» к третьей июньской монархии. Материалы научно-практической конференции. – М.: АИРО-XXI. 2015. – 220 с.
- «Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры. Сборник статей и материалов / Под ред. А.В. Посадского. – М.: АИРО-XXI. 2015. – 856 с. + 20 с. илл.

## 2016

- Научно-педагогические школы России в контексте Русского мира и образования. Коллективная монография / Под ред. Е.П. Белозерцева. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 592 с. – ISBN 978-5-91022-342-8.
- Неизвестный Примаков. Документы. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета»; АИРО-XXI, 2016. – 560 с.
- Неизвестный Примаков. Воспоминания. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета»; АИРО-XXI, 2016. – 488 с.; цв. илл.
- The unknown Primakov. Memoirs. – Moscow: Publishing house TPP RF; Publishing house Rossiyskaya gazeta; АИРО-XXI, 2016. – 464 p.; with ill., in color.

- Н.И. Дедков, Г.А. Бордюгов, Е.И. Щербакова и др.* История для экономистов. Интегрированный учебный комплекс для студентов экономических специальностей вузов Российской Федерации / Под общей редакцией А.Д. Некипелова и С.Н. Катырина. Том первый. М.: АИРО-XXI, 2016, – 928 с.
- Ю.Е. Бычков.* Ощущение своего времени. Страницы одной не рядовой биографии. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 304 с. Илл.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 1: Анатомия ближневосточного конфликта. Восток после краха колониальной системы. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 656 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 2: История одного сговора: ближневосточная политика США в 70-е – начале 80-х годов. Война, которой могло не быть. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 608 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 3: Годы в большой политике. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 592 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 4: Восемь месяцев плюс... Мир после 11 сентября. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 544 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 5: Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 608 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 6: Минное поле политики. Мир без России? – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 800 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 7: Мысли вслух. Россия: надежды и тревоги. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 416 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 8: Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль России. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 320 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 9: Избранные доклады, выступления, интервью и эссе. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 592 с.
- Е.М. Примаков.* Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 10: Биобиблиография Е.М. Примакова. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 336 с.; цв. илл.
- А.В. Венков.* «Дело Сенина» или операция «Трест» на Верхнем Дону. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 196 с.
- А.Д. Цыганок.* Война в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии: русский взгляд. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 400 с.

- Нечаев И.А.* «Я знаю, что время не ждет у порога...». Стихи. Письма. Воспоминания / Серия «АИРО – первая публикация» под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО–XXI, 2016, – 184 с.
- Время декана. К 80-летию Тамары Ивановны Карповой. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 320 с.
- О.А. Чагадаева.* «Сухой закон» в Российской империи в годы Первой мировой войны (по материалам Петрограда и Москвы) / Послесловие – Александр Шевырев. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 256 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
- С.С. Войтиков.* Узда для Троцкого. Красные вожди в годы Гражданской войны. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 432 с.
- В.Л. Кириллов.* Революционный терроризм, которого не было: Тайное общество «Сморгонская академия» в русском революционном движении 1860-х гг. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 240 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
- Пётр Черёмушкин.* Ярузельский: испытание Россией. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 288 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
- А.Д. Цыганок.* Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014–2016): русский взгляд – М.: АИРО –XXI, 2016. – 680 с.
- Идеология и политика в истории России. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI. 2016. – 192 с.
- Япония 2016. Ежегодник. – М.: «АИРО–XXI», 2016. – 404 с.

## 2017

- В.Я. Гросул.* Общественное движение в России первой половины XIX века. – М.: АИРО–XXI, 2017. – 832 с.
- Япония 2017. Ежегодник. – М.: «АИРО–XXI», 2017. – 432 с.
- В.В. Выжutowич.* Другой разговор: диалоги с умными людьми / Предисловие А. Архангельского. М.: АИРО-XXI, 2018. – 476 с.
- Революция-100: реконструкция юбилея; под ред. Геннадия Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 1088 с. с иллюстрациями.
- Б.В. Соколов.* Цена войны. Людские потери России/СССР в XX–XXI вв. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 576 с.
- А.М. Рыбаков.* Искусство принятия экономических решений. Доклады, статьи и интервью / Сост. и ред. Г.А. Бордюгов. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 424 с.
- Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края. Коллективная монография / Под ред. Е.П. Белозерцева. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 352 с.
- Е.Н. Шталь.* Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835–2015. – М.: «АИРО-XXI». 2017. – 1056 с.
- Е.А. Котеленец.* Битва за Ленина. Новейшие исследования и дискуссии. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 256 с. – (АИРО – Монография).

- Международный форум «Примаковские чтения». Сборник материалов. 2016. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 176 с. + 12 с. илл.
- Грузия в пути. Тени сталинизма; составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч, Даниель Мюллер. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 512 с.
- Вожаки и лидеры Смуты. 1918–1922 гг. Биографические материалы / Под ред. А. В. Посадского. – М.: АИРО-XXI. 2017. – 584 с.
- Октябрьской революции – 100 лет. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI. 2017. – 304 с.
- Михаил Соловьев.* Когда боги молчат. Малая война (Записки советского военного корреспондента). Публикация и комментарии В.В. Агеносова. – М.: АИРО-XX, 2017. – 336 с.
- В.Г. Тимофеев.* Снежно-метеорологическая служба Хибин. История. – М.: АИРО-XXI – 352 с.
- В.А. Потто.* Русские на Кавказе. XIX век. – М.: АИРО-XXI. 2017. – 464 с.
- Ф.Ф. Торнау.* Воспоминания русского офицера / [Ф.Ф. Торнау]. – М.: АИРО-XXI, 2017 г. – 448 с.
- Ф.Ф. Торнау.* Воспоминания кавказского офицера / [Ф.Ф. Торнау]. – М.: АИРО-XXI, 2017 г. – 448 с.
- Чой Чжун-Хюн.* Проповедь как жанр литературы Древней Руси. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 320 с.
- Марк Юнге.* Чекисты Сталина: мощь и бессилие. «Бериевская оттепель» в Николаевской области Украины. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 352 с.

С этими и другими изданиями  
вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте  
[www.airo-xxi.ru](http://www.airo-xxi.ru)

---

Карл АЙМЕРМАХЕР  
**ВОЗЗРЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ**  
Попытки понять аспекты русской культуры умом

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование – С.П. Щербина.



Налоговая льгота –  
Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2;  
953000 – книги, брошюры

Научно-исследовательский центр АИРО-XXI  
E-mail: [andmak@airo-xxi.ru](mailto:andmak@airo-xxi.ru)  
[www.airo-xxi.ru](http://www.airo-xxi.ru)

Подписано в печать с оригинал-макета 31.01.2018  
Формат 60×90/16. Усл. изд. л. 19.25  
Тираж 500 экз. Зак.